



СЛАВА РОССИИ

АО «СЛОВО ТЮМЕНИ»
1993

СЛАВА РОССИИ

СОБРАНИЕ РОМАНОВ

АО «СЛОВО ТЮМЕНИ»

В. ИВАНОВ

РУСЬ
ВЕЛИКАЯ

Роман
Книга первая



ББК 84 Р7
И 20

Иванов В. Д.

И 20 Русь великая: Роман в 2 кн. Книга первая. —
Тюмень: АО «Слово Тюмени», 1993.—288 с.

Время действия романа — XI век, период активного выхода восточного славянства и его государственного объединения — Киевской Руси на европейскую политическую сцену. В книге представлено множество событий и лиц, исторических и вымышленных, сюжетные повороты позволяют читателю перенестись из княжеского терема в хижину лесоруба, из дворца византийского императора в юрту кочевника и понять глубинную взаимосвязь разрозненных на первый взгляд фактов.

И 4703010600—032 без объявл.

ББК 84 Р7



ГЛАВА ПЕРВАЯ



ГРОМЧЕ ЗВЕНЯЩЕЙ БРОНЗЫ

Много ли, мало ли места на земле, коль измерить от востока до запада? И сколько всего места лежит между полночью и полуднем? Кто отгадает? Некогда в Элладе у горной дороги над пропастью сидел страшный человекозверь Сфинкс и задавал прохожим загадку: какое животное утром ходит на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех? Недогадливых Сфинкс убивал. Нашелся прохожий с ответом: это животное — человек, и Сфинксу пришлось самому броситься в пропасть, и дорога стала свободной. Не на счастье отгадчику, лучше было бы ему быть растерзану Сфинксом. Древние боги с него взыскали побожески, бесчеловечно, и ужаснулся он собственной муд-

рости. Ни к чему человеку знать слишком много, незнание лучше знания.

В сфинксовой пропасти вечно темно. В эллинских долинах лежат густые тени от эллинских гор. Солнце, не так долго помедлив после полудня, падает за возвышенья, даря вместо дня длинные сумерки и раннюю ночь. Там не загадаешь, сколько будет от востока до запада, сколько от полудня до полуночи. И так видно: от горы до горы либо от горы до берега моря. Тесно.

Русская земля другая. Для нее та загадка и годится. Недостижимый купол небес солнце обходит за день да за ночь. Вот тебе мера, вот тебе и отгадка.

Ключи, ручейки, ручьи, речки, реки. Озера проточные или закрытые для выхода воды — будто глаза земли. Болота, болотца. Одни сухим летом прячутся, другие — терпят. Разве только в болотах бывает вода дурной на вкус, но все же не горькой, поит человека, растение, зверя. Повсюду богатство сладкой воды, и близка она. Нет реки или ручья — легко вырыть колодезь. У нас воду не ценят: не с чем сравнить.

Реки указывают, где верх земле, где низ. Наверху — начало. Глазок. Росточек живой и будто бы слабый, как почка. Из глуби земли трепещет струечка в чашке песка. Мелко. Живой воды едва в горсть наберешь, можно горстью всю выплескать. Однако ж чаша быстро наполнится. Замутит — дай отстояться, увидишь, как на дне, раздвигая песчинки, бьется ключик-живчик, выталкиваясь наружу. Мелкие песчинки кружатся в легкой струе, как толкунцы летним вечером. Те, что крупнее, лежат. Тяжелы, не поднять. Слабосильный ключик, пустяк, нитка иль паутинка.

Однако же любо русскому потрудиться у такого вот малого ключика. Кто-то свалил дерево, измерил бревно, рассек на коротыши по размеру, зарубил концы в лапу, чтобы держались, и врыл в землю малый сруб, верхний венец подняв над землею. Сделался ключик заключенным.

Пока случайный прохожий-проезжий мастерил из бересты ковшик, ключик, наполнив четырехгранную чашу своего деревянного кресля, перелился через край и потек дальше по старому ложу, будто так и было от века. Напившись, прохожий ковшик не бросил. Вбил кол, на сучок повесил берестянку. Ладно так, издали видно.

Говорил, воду не ценят? Да, не ценят воду, чем попало черпают, бросают что придется, топчут, пададь мечут — большое все терпит. Берегут детскую нежность ключей. Реки, озера сотворены ключами. Иссякнут они, забившись

грязью, не станет ни рек, ни озер, земляная вода уйдет стороною. Потому-то и берегут ключи: в них сила, в них начало вод русской земли. В других землях, где реки начинаются от льдов снежных гор, все может быть по-иному. Каждому своя часть, свой закон, от рожденья. В беззаконии только нет закона.

Камня мало, зато леса много. Где посуше, там сосновое красное. В борах почва тонкая, меньше штыка лопаты, под ней пески. Ель любит жить по глинам. Лиственное дерево, предпочитая жирные почвы, приживается всюду. Леса заступают русскую землю, леса заставляют ее стенами, реки текут в лесах, и ключи поднимаются по древесным корням. По рекам открыты пути, по рекам — легкие дороги, русские общаются реками, волоком перетаскивают лодьи от истока к истоку. Так вяжется русская общность от ледовых морей и до теплых.

Думают, будто бы реки, как торные дороги, породили Русь. Без рек будто бы ничего-то и не было. Сидели бы люди в лесу, держась каждый за свою поляну.

Для каждого деревца, для каждой травинки, цветка — слово. Нашли сочетанья звуков для всего, слышимого ухом, видимого глазом, осязаемого, обоняемого, ощущаемого на вкус. Все сущее собрано словом и словом же разведено на мельчайшие части. Дерево — это и корень, и ствол, и ветки, и листья, и черенок листа, и жилки его, и цвет, и плод, и кора, и чешуйки ее, и сердцевина, и заболонь, и свиль, и наплыв, и сучок, и вершинка, и семя, и росток, и почка, и много еще другого, и все в дереве, и для каждого дерева, для каждой его части — слово. Для самой простой вещи есть и общее слово-название, и для каждой части свое слово-название. Чего проще — нож? Нет, вот — клинок, вот — черенок. В клинке — обух, лезвие, острие; черенок — сплошной либо щелками, отличается по материалу — костяной, деревянный, какой кости, какого дерева, цвета, выделки...

Твореньем множества слов добились выразить и не видимое глазом, не осязаемое ни одним из внешних чувств. сумели понять внутренний мир и о нем рассказать, поняли гнев, любовь, жалость, жадность, зависть, тоску, и для этого безграничного мира, от которого все идет, создали из звуков слова, открыли возможность поиска главного и стали понятней себе и другим.

Достигли широких слов, кто-то первым сравнил течение реки с течением непостижимого времени, и был понят, и само слово назвали глаголом, то есть делом, ибо в

слове уже есть дело — начало; и произносящий слово есть творец и работник, ибо слово рождается необходимостью души и ума, и, будучи делом, требует дела же, и живет, расширяясь само, расширяя творца, вызывая его искать новых слов, находить их, и дает радость, так как создание новых слов есть творчество мысли, воплощаемой в словесное тело.

Не речные дороги, а общее слово-глагол сотворило единство славянского племени. Повторим же еще: не Днепр, не Ильмень были русской отчиной. Русская отчина — Слово-Глагол.

Пусть в одной части земли иначе звучало окончание слова, пусть в другой по-своему ударяли на слог, пусть один цокал, другой цокал. И родные братья бывают разноволосы. В русских словах — общая кровь. Одинок человек, от одиночества он бежит в дружбу и любовь, создавая богатство слов ценнейших, неоплатимых — потому-то они и раздаются бесплатно да с радостью.

Нет чудней, бескорыстней, добрей привязанности к местам, познанным в детстве. Отроческая родина мила больше, чем красоты самых щедрых на роскошь знаменитых мест. Кусок пыльной в сушь и черной в ненастье дороги, лесная опушка, неладно скроенное и кое-как собранное отцовским топором крыльцо в три-четыре ступеньки под шатром, крытым дранью, завалинка, плетеный забор, тихая речка с заводью, плоские плавучие листья ароматных кувшинок. Такое было у всех. Сшитое из нехитрых кусков, оно недоступно для постиженья чужим, проходим, и не нужно им, и само не нуждается в прославлении. Как с любовью: ты сам находишь прелесть в лице, в голосе, в повадках, и любишься, и любишь, будто сам ты творец-создатель. Ты им и есть.

Любовь не ревнива, а требует верности. Так и родное место: твое, пока звучит родная речь. Наводнение чужой речи, даже ее прикосновение гасит чувство: ты здесь родился, а ныне сам ты — прохожий. Тут уж поступай, как знаешь, как смеешь, как сумсешь, извне тебе никто не поможет. Но пока с тобой Слово-Глагол, ты не пропал, ты еще не безродный бродяга.

До верха Днепра, до верха днепровских притоков, через верховые ключи, озера, болота к верховьям других рек, текущих на север, на запад и на восток, — вот родина Руси, сотворенная Словом-Глаголом.

В своей вольности русский не чуждался чужой речи, охотно, легко обучал себя иноречью, охотно, без стеснения

брал себе понравившееся слово, и, глядишь, оно уже обрусело. Придя в новое место, не старался назвать его по-своему, если оно уже было обозначено кем-то, и делал название своим, щегольски переименовая на свой лад, если оно выговаривалось с запинкой. Русская речь вольная — как хочу, так и расставлю слова, и слова обязаны быть легче пуха: мысль станет уродом, если слова тяжелы, если на речь надето заранее изготовленное ярмо непреложного закона.

Чтобы сделать народ странным и странствующим между другими народами, нужно попытаться лишить его права на слово — и народ, прицепившись к неизменно старым словам, в них замрет.

Переводчики слов, подобно монетным менялам, извечно предатели. Переводчики смысла, переводчики мысли — друзья. Русский глагол разрастался, менялся, как все живущее, был и землей, и охраной границы, и народом.

Бесспорно, можно играть словами, выдавая их за мысли. О таких игроках сказано: они были...

Великий князь Руси Ярослав Владимирич, которого титуловали на римско-греческий лад кесарем-царем и великим каганом на степной лад, скончался вблизи Киева, в крепком городе Вышгороде, летом 1054 года. В тот год на западном краю хорошо известного мира, близ западного моря, которое называли и Оксаном, и Морем Мрака, и Неизвестным Морем, нормандский герцог Гийом жадно приглядывался к острову Англии, или Британии. Там, на острове, слабый волей и духом король Эдвард, родственник Гийома, проводил дни и ночи в молитвах, а его подданные — в беспечных ссорах-усобицах.

В тот год на восточном краю того же хорошо известного мира высокоученые сановники управляли самым большим государством мира, плотным, как сыр, называвшимся Срединным государством или Поднебесной страной. Управляли будто бы с успехом, но удача сопутствовала скорее в писанных докладах высшим людям, чем на деле. За Великой стеной, ограждавшей Поднебесную с севера, жили малочисленные степные и лесные племена. Поднебесная называла их дикарями или, более значительно, беглыми рабами. Один удар дикари уже нанесли, овладев северной частью Поднебесной, собирались нанести и второй. С востока готовился удар третий, самый страшный из всех.

В тот год на юге от Руси, в Константинополе — Византии, до которой было рукой подать, заканчивал не слишком славное время своего правления Вторым Римом, Восточной империей, последний муж — муж только по имени — престарелой базилисы Феодоры Константин Девятый Мономах. Единая христианская Церковь уже колосась на Западную и Восточную. В арабах угасал наступательный дух. На смену им пришли турки, которые выдавливали Восточную империю из Малой Азии. На юге не восвал лишь тот, кто не мог. Такой, копя силы, прикрывался словами миролюбия до первого дня вторженья в пределы соседа. Внутренние войны между арабами, между турками и между теми и другими бывали еще злее, чем между ними и христианами.

На севере от Руси небо было чисто.

Князь Ярослав, сын Владимира и Святославов внук, был среди своих братьев по рождению четвертым, после Вышеслава, Изяслава и Святополка.

Вышеслав сидел в Новгороде, Изяслав — в Полоцке, Святополк — в Турове, Ярослав — в Ростове. Мстислав держал дальнюю Тмуторокань, Святослав — Смоленск, Судислав — Псков. Все сыновья были отцовы подручники. Кроме Изяслава. Он, будучи по матери Рогнеде из рода коренных кривских князей, был кривской землей и принят как родовой князь, свой, отчинный.

Новгород почитался наилучшим после Кисва княжением. После смерти Вышеслава туда Владимиром мог быть послан следующий по старшинству сын — Святополк. Но Святополк был у отца в немилости за необузданный нрав. Поэтому в Новгород Владимир послал Ярослава, в Ростов, на свободное место, — Бориса, а Муром дал Глебу. Этих двух сыновей, самых младших. Владимир и отличал, и любил. Они родились от последней жены Владимира, дочери греческого базилевса. Ростов и Муром были у восточного края, там и среди русских очень замечались люди, придерживавшиеся старой веры, инородные же были христианством почти не затронуты. Требовались тут и мягкость, и терпенье, нужен пример, ибо понужденье привело бы к обратному: поскользнувшись на крови, край мог и совсем отскочить. Слабая рука будет сильнее сильной, как порешил князь Владимир. Сам он стал стар, слаб телом — устал. Без страха говорил, что пора ему и в домовину укладываться. Кисвские лекари, свои с иноземными, покоили

Владиминову дряхлость, как умели, но от смерти лекарства-то нет.

Ярослав усаживался в Новгороде, ласкался к новгородцам, новгородцы к нему ласкались, ценя быстрый Ярослав ум. В задушевных беседах давались взаимные обещанья. Ярослав сулился поставить Новгород выше других городов: освободить от платежа ежегодной дани в две тысячи серебряных гривен, как платили новгородцы, начиная со Святослава. По новгородскому богатству дань не тяжела. Освобожденье от нее льстило известной всему миру новгородской гордости. Для вольного человека гордость дороже набитой сумы.

Поговаривали, что собирается старый Владимир отдать по себе великокняженье Борису. Поговаривали, ссылаясь на слова, будто бы сказанные самим старым князем. За старших был обычай, однако же закона о престолонаследии не существовало. Владимир Святославич сам землю собрал, и слово его могло явиться законом. Ярославу мнилась печальная участь оказаться под рукой младшего брата, человека юного, неопытного, мягкого. Добрые его черты, за которые отец дал Борису Ростов, обернутся на киевском столе злыми. Коль мягок, — значит, будут совестики. Что скажет последний, то на душу и ляжет, а дальние всегда окажутся виноваты. Поразмыслив, Ярослав решил сам первым шагнуть и послал сказать отцу, что Новгород больше не будет платить Киеву дани, а будет от дани навсегда свободен. И в том дал новгородцам от себя грамоту.

Ярослав не собирался откалывать Новгород от Руси, такого не захотят сами новгородцы. Ожидая со дня на день отцовской смерти, Ярослав заранее освобождал себя от подчиненья Борису, буде тот сядет на киевский стол. Легче и проще будет ему договариваться с младшим.

Вышло же совсем по-иному. Дело лишний раз подтвердило, что не заглянешь и в завтрашний день, не то что на годы.

Владимир Святославич показал вид большого гнева на сыновье непокорство, велел мостить мосты, чинить дороги и собирать войско для смиренья непокорных. Однако же княжьей дружины в Кисве в те поры не было. Владимир послал дружину с войском под началом Бориса в Дикое поле для укрощенья печенежских набегов. Для воинской беседы с Ярославом и с Новгородом нужно было б вернуть Бориса, дружину, войско из киевлян и днепровского левого бережья. Приказов младшему сыну Вла-

димир не послал. Так ли, иначе ли, но оставил работать время.

Время распорядилось по-своему. Очень часто смерть медлит к больному. Но и там, где ее ожидают, она все же является внезапно. Владимир Святославич не встал с постели, чтобы вздеть в перевязь меч на непокорного Ярослава, а принял жданно-нежданную гостью. Его княженье завершилось смертью летом 1015 года.

Умер он в подгородном княжьем селе Берестове. Святополк Владимирович был в Киеве на положенном опального, не в подвале, но под наблюдением, чтоб никуда не бежал.

Владимировы приближенные тайно перенесли тело своего князя в Киев, заботясь о том, чтобы киевляне успели заранее узнать о смерти князя и сговориться, что делать им, пока весть не дойдет до Святополка. Были известия, что войско с Борисом возвращается, хотелось оттянуть хоть несколько дней.

Киевлянам не удалось ничего порешить. Распоряженный князь Владимир не оставил, при жизни пресмником себе никого не объявлял. Обычай был за Святополка, и он времени не терял. Он тут же сел в отцовском дворе в Кисве, открыл двери в кладовые и щедро одаривал киевлян, обещаясь быть добрым князем и во всем блюсти отцовский обычай. Дают — бери. Киевляне не отказывались от золота с серебром, от дорогой одежды, мехов, изделий из драгоценных металлов с самоцветными камешками. Благодарили, но были хмуры: если войско захочет поставить Бориса киевским князем, Святополк потребует от киевлян помощи против Бориса. А там, в войске, и братья, и сыновья, и друзья киевлян.

Борис не нашел печенгов: легконогие кочевники, узнав о приближении русских, бежали за Донец и за Дон, к Волге. По совету дружины решили возвращаться домой. Остановились на левом берегу Днепра, около крепости Лыто, или Альта, верстах в тридцати от киевской переправы. О смерти Владимира Святославича узнали еще в Переяславле, в Альте же ожидали свои — посланные из Киева, которым нужно было знать, что решит и войско, и князь Борис, чтобы понять, чего держаться оставшимся в Кисве.

Бояре из старшей отцовской дружины советовали молодому князю идти всем войском в Киев: «Завтра переправимся, днем посадим тебя на княжеский стол!» Оказалось, что старый князь не с одним человеком беседовал, делаясь желаньем своим, чтобы после него посадили Бориса. Успокаивали — дружина у Святополка молодая и слабая, вчера

набранная, киевляне ему не помощь окажут — вид один. Святополк многих успел закупить, в Кисве всяких людей хватит, но купленный воин плохой: чем на поле голову подставлять, он домой побежит платой тешиться.

Ярослав верно ценил слабость Бориса. Но Борис показал себя еще более слабым и робким. Не решаясь шагу ступить, медлил, искал совета у духовенства, молился. Прибыли люди от Святополка с красноречивыми убеждениями не вносить меч между братьями, не губить свою душу и русские души в междоусобной войне. Святополк устами посланных клялся в братской любви, обещал прирезать к Ростовскому князю новые волости; тем доказывая любовь не словесную, а деятельную, истинно христианскую. Борис же, легко склоняясь к бездействию, объявил войску, чтобы каждый шел к своему месту, он же принимает волю старшего брата.

Дружина Владимира Святославича тут же разъехалась, не ожидая отпуска от Бориса. Пошли против печенегов — не нашли печенегов. Думали князя найти — и того не нашлось. Как бы не потерять себя самих. Мало у кого лежала душа к Святополку. Дружинники, и старшие и младшие, были люди вольные. Они держатся князя, но и князю без них ступить нельзя. Переход от князя к князю — дело любовное, хорошо послужил одному, будет хорош и другому. Старшие дружинники — бояре, имевшие оседлость в Кисве, — собирались имущество продать или дать на хранение, самим же отъехать. Никто явно не сказал, что предложит свой меч Святополку. Этот князь казался темн.

И не зря худое думали о Святополке. За дурные дела отец его лишил княжества. Был Святополк озлоблен. В злобе редкий человек умеет держать язык за зубами. Святополк грозился выместить злобу на братьях, на отцовских подручниках.

К брату Глебу в Муром Святополк послал письмо и гонцов с приглашением — не медля дня схать в Кисву. Отец умер, а он, Святополк, сел на отцовский стол и сделался братьям вместо отца. Но болен тяжело и не надеется остаться в живых. К Борису на Альту Святополк отправил не послов, а убийц. Легко расправившись с беззащитным князем, они зашили тело в кожу и привезли в Вышгород хоронить. Подобные дела не хранят в тайне, но находят оправдания в примерах.

Примеров кругом было много. Недавно король чехов Болеслав Рыжий, взойдя на престол, тут же приказал ли-

шить одного брата мужественности, второй брат едва унес ноги. Болеслав Польский, прозвищем Храбрый, изгнал братьев и ослепил нескольких родичей. Правящие дома франков, сначала потомки Меровея, за ними потомки Карла, наполнили преданье нескончаемым самоистреблением. Люто резались греки за трон базилевсов, злое соперничество властвовало между хозарскими и печенежскими ханами.

Святополк повернул Русь на протоптанную другими дорогу. Весть об убийстве Бориса с удивившей всех скоростью дошла до Новгорода. Прodelав длинный путь, она вновь пустилась к югу: Ярослав послал сказать брату Глебу, чтоб остерегся он, держался бы подальше от Киева.

Князь Глеб, получив приказ Святополка, поспешил к умирающему будто бы брату. Только на Днепре он случайно узнал о страшной судьбе Бориса, о Святополковом обмане. Тут же и повернуть бы ему, бежать хотя б в Новгород. Глеб растерялся, не зная, что делать, молился, подавленный бедой. Прав был Владимир Святославич: сидеть бы Глебу в Муроме не мутя воды да ласково уговаривать приверженцев старой веры, насколько новая лучше и правильней. К месту случайной пристани Глеба подошли против течения лодьи с убийцами, посланными Святополком. По их приказанию и за обещанную мзду повар князя Глеба, по рождению торк, мясницким ножом зарезал юного хозяина. Новгородские посланные, возможные спасители, опоздали всего на один день. В жизни, как в сказке, день, минута даже много весят: направо счастье, налево гибель, между ними и руку не просунешь. Вся разница — в сказке конец обычно счастливый, иначе не любо слушать.

Третий брат Святополка, Святослав, бежал из Смоленска в Венгрию, но убийцы настигли его на дороге. Теперь кругом Киева стало свободно для Святополка. Страшен был ему только Ярослав. От Мстислава Святополк тут же защитился Степью, завязав союз с печенегами, через которых пришлось бы идти тмутороканцам.

Незадолго до событий, которые поставили судьбу Руси на лезвие бритвы¹, по выражению старых книжников, несколько варягов из дружины князя Ярослава обидели скольких-то новгородцев. Обиженные побили варягов. Князь Ярослав ответил кровью на кровь.

¹ И в VI и в XI веках византийские писатели часто употребляли выражение «быть на лезвии бритвы», как образ опасного поворота событий. *Здесь и далее примечания автора.*

Получив известия из Киева, Ярослав собрал новгородцев на вече, и взаимные обиды были забыты перед лицом общей опасности: возьми Святополк верх — и Новгород потеряет полученное от Ярослава право свободы от киевской дани. Поэтому даже люди дельные и холодные дали себе увлечься чувством отвращения к Святополку, так же как ранее поддержали Ярослава оказать непослушание родному отцу. Охочих идти нашлось до сорока тысяч. Вместе с дружинниками князя, которых было до трех тысяч, составилось сильное войско, свидетельство того, что не зря Новгород называл себя Господином Великим.

Несколько тысяч людей переплыли Ильмень, поднялись по Ловати и через волоки свалились в Днепр. Перед городом Любечем пристали к правому берегу. На левом ждал Святополк.

Рассказ краток, дело медленно. Великий князь Владимир умер 15 июля, в начале августа были убиты Борис и Глеб. К Любечу же добрался князь Ярослав осенью, и не ранней — уже лист опадает. Князь Святополк успел, развязав туго набитую отцовскую мошну, набрать достаточно русских охотников. Успел прельстить киевскими гривнами печенегов, и к Любечу подошла орда наездников и стрелков, перед которыми в те годы содрогалась и Восточная империя.

Против Любеча Днепр не широк. Многоводную Припять он принимает верстах в шестидесяти ниже, а Десну — над самым Киевом, еще верст на сорок ниже.

Противники, встав один против другого, начали жить на виду. Дни катились с мочливыми осенними дождями. Пошли заморозки-утренники, вечерние лужи на рассвете пучились ледком, под которым стыл белопузырчатый воздух. Днепр спадал, вода светлела, как ей положено к зиме.

Вытащив лодьи на берег, новгородцы ждали. Князь Ярослав не решался на переправу. Не решался и князь Святополк, а решился бы — не смог. И лодий у него не было, и переправляться своим обычаем, вплавь, печенежская конница не соглашалась на виду у врага.

Считали не дни, а недели. Воздух и вода охлаждались, утренники сменились морозцами до полудня. Днепр мелел — верховья прихватывало, мороз сушил лесные ручьи. Вода потемнела по-зимнему, то ли от холода, то ли мертвые листья, истлевая на дне, красили воду, не отнимая прозрачности.

В новгородском лагере сыто — новгородцы люди запасливые. В новгородском лагере беспокойно — такой народ.

По привычке шапки перед князем Ярославом не ломая,* а только подальше заламывая на затылки, шумят. От дома, вишь ты, далеко, сидим, хлеб сдим — не даром ли? Пора быть бою, а нам домой пора. По хозяйкам соскучились, а хозяйки без нас гуляют!

Ждет князь Ярослав, а крикуны сами куда же решатся. Крикун, он себя криком облегчает. Ты бойся молчуна. Молчун калится без слов, жара незаметно, а плюнь — зашипит.

С берега на берег идет пересылка. О чем? Не знают. Но мирного конца не жди — это знают.

Летом тяжело доспехи носить. Божье наказание. За грехи. Жмет, давит. Тело пресет, идет красными пятнами, зудит — не почешешься. В холодное время подколючужные рубахи и шубы согревают. Новгородцы толпятся на своем берегу, сидят на лодьях, как на торгу, и сражаются со святополковскими всей бранью, какая лезет из горла.

Новгородцы горячи и обидчивы, сгоряча острого слова не придумаешь, твердят все одно. Верх остается за левым берегом.

— Вы, новгородские серые плотники, из доски сделаны, доской укрываетесь, с доской, как с женой, спите. Идите к нам, мы вас заставим хоромы рубить с вашим князем-хоромцем!

Одни кричат — хоромец, плотник. Другие — хромец: князь Ярослав припадал на одну ногу.

Брань на вороту будто бы не виснет. Обиженные новгородцы насаждают на Ярослава:

— Давай бой, иль без тебя на тот берег полезем!

С той стороны Ярослав получил всточку. Кусочек беленькой бересты. Нацарапано: «Меда с вином запасно много».

В середине долгой морозной ночи Ярославовы дружинники тихо будили спящих. Задолго до рассвета правый берег опустел. Многие новгородцы, высадившись на левый берег, от соблазна толкали опустевшие лодьи на днепровскую волю: победим, так лодьи найдутся, побьют нас — не нужна ты мне будешь.

Повязав головы белыми платками, чтоб отличить своего от чужого, новгородская пехота навалилась на врага со своим страшным оружием — топором на длинном топорище. Равный по силе удара франциске франков или саксонской секире, новгородский топор превосходил меткостью. Кто знаком с плотницким ремеслом — новгородцев не зря дразнили плотниками, — поймет с одного слова, тому, кто

не видел своими глазами игру плотницкого топора в русской руке, не объяснишь и сотней слов. Конечно, не такое уж счастье пятнать человеческой кровью честную сталь. Вздохнешь и скажешь: не нами началось, не нами и кончится...

Святополк заложил свой стан между двумя озерами. Печенеги стояли поодаль и не могли прийти на помощь своему наемщику. Князь Ярослав отделил часть для нападения на печенегов, и те, пешие поневоле, разбуженные топорами, потерпели страшный урон в бегстве к своим коням, а добравшись до конской спины, думали лишь о бегстве. Русские полки Святополка бились лучше, и с ними покончили уже при свете. Бедствие побежденных завершилось на озерах: молодой лед не сдержал ни отступивших на него, ни беглецов. Но князь Святополк успел вырваться.

В Кисве князь Ярослав оделил новгородцев щедро, по силе отцовской казны, которую Святополк не успел дотрясти. Новгородцы-домохозяева получили каждый по десять гривен серебра на себя, племянников, сыновей, захребетников. Ратники из прочего людства, новгородцы — горожане или из волостей, получили по гривне на голову.

Новгородцы поспешили домой, пока реки не станут, гордясь и победой, и утвержденьем князя Ярослава новгородской рукой. С тех пор завязывается дружба между Ярославичами и Господином Великим Новгородом. Так и бывает: кому помог, того полюбил.

Киев принял князя Ярослава тепло. Страшный и кровавый год окончился будто бы хорошо. Но кровь не сразу смывается, остается от нее, как от железа, ржавые стойкие пятна. Над Русью висел Святополк, готовясь те пятна пообновить свежей кровью.

Бежал этот князь к королю ляхов Болеславу Храброму, уже помянутому за гоненья на своих кровных родичей — возможных соперников. Болеслав был женат на одной из дочерей Владимира Святославича, доводясь зятем и Святополку, и Ярославу. Он принял Святополка, обнял, как родного, слезно сочувствовал, чтобы руки нагреть на русском неустройстве.

Болеслав заслал к печенегам послов, те мало дарили, но обещали много, и Степь поднялась против Руси. В который раз? В бессчетный. Не для красного словца, а потому, что действительно никому не удалось сосчитать. Пройдя правобережьем, печенеги сумели появиться неожиданно под самым Киевом. Бой был тяжелый, затяжной, с утра до ночи, подобный страшному сну, от которого не удастся

проснуться, в котором от усталости бойцы и жизнью не дорожат: хоть бы убили, только бы лечь. В сумерках русские сломили печенегов. Гнались — откуда силы берутся! Оглянулись — а пленных-то нет, только убитые кучами, негде ступить.

На сколько-то времени Русь погасила печенежью силу. Князь Ярослав заключил союз против Польши с Генрихом Вторым, императором Священной Римской империи германской нации. Император обязался идти на Польшу с запада, князь Ярослав пошел мериться силами к польскому Эрсту. Оба не добились успеха. Генрих Второй перевернул шапку: предложив мир Болеславу, он толкнул своего опасного соседа на Русь. Игра старая, как война. Удача ли будет опасному союзнику, вчера опасному врагу, или побьет его, войска и силы у него убудут. Такой счет ведут и ведут, утешая себя и забывая примеры.

В 1017 году князь Ярослав встретил короля Болеслава со Святополком на реке Буге, тогдашней границе. После длительной стоянки на виду одни у других поляки внезапно для русских бросились через обмелевшую реку. Ярослав бежал с несколькими спутниками в Новгород. Поляки беспрепятственно пошли в Кисв, хватая по пути разбежавшихся Ярославовых ратников из числа тех, кто потерял голову. В те годы, как и в позднейшие, война ходила полосой верст в десять—пятнадцать, и беглецам следовало просто-напросто брать в сторону.

Посадив в Кисве князем Святополка, король Болеслав захватил как собственную добычу достояние Ярослава, его мачеху, последнюю жену Владимира, и сестер. За одну из них Болеслав ранее сватался, получил отказ и женился на другой. Теперь он взял и эту, силой, без чести.

В Новгород Ярослав явился беглецом, ни на что не надеясь. Стыдно было ему кланяться новгородцам. Только дух перевести и бежать дальше. Чувя погоню убийц за спиной, Ярослав решил бежать в Швецию. Там не достанет Святополкова рука, там можно набрать дружину и с нею попытаться возвращенье.

Новгород решил иначе. Вече постановило: биться за князя Ярослава, не хотим, чтоб в старших князьях сидел Святополк. Никаких Святополковых сторонников в Новгороде не нашлось, не на ком и сердце сорвать. Бросились к пристаням: князь Ярослав, собираясь в дальнее плаванье с небольшим числом новгородских друзей, грузился на два корабля, способных плавать по морю. Порубили корабли, отыгрались на беззащитном дереве: чтоб не смело нашего

князя везти за границу. Мы, Господин Великий Новгород, так решили, тому и быть.

Буйствовать можно с умом, широк человек. Натешившись щепками, новгородцы обложили себя особой данью: на войну со Святополком и ляхами. С бояр — по восемнадцать гривен, со старших домохозяев — по десять, со всех прочих — по четыре куны. Выбрали, кому плыть для найма варягов, и отправили в дорогу.

Текла вода в Ильмень из множества рек, питающих озеро — речной разлив, текла подо льдом, текла под небом, освободившись от льда, собиралась в реку Мутную, будущий Волхов, зимой бурля около моста в незамерзающем месте. Оттуда, говорят, старый Перун, сброшенный в воду Добрыней, дядей Владимира Святославича, погрозил палкой изменникам старой веры: ужо, мол, я вас! И от Перунова пылкого гнева место сделалось теплым.

Текла вода мимо Киева, и многие повторяли ненадоедавшее присловье: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Стало быть, время рассудит. Стало быть, скороспелое скоро и старится. Сказка-складка — по воле рассказчика...

Быль же складывала сама себя, и по-иному, чем рассчитывали Святополк с Болеславом. В Киеве король Болеслав расплатился с нанятыми германцами и венграмми, отослав домой половину своих ляхов. Из оставшихся часть разместил в Киеве, других разослал по ближним городам, чтобы им было легче кормиться, не истощая жителей.

Гуляли по Киеву лихие поляки, очарованные киевлянками. Киевские женщины славились умением красиво одеться, красиво обуться. А уж брови подщипать и подсурмить, ресницы загнуть, глаза некоей тайной сделать неизмерно большими, лицо выбелить да подрумянить щеки и губы — так не умели и в Константинополе. Рим, Майнц, Прага, Александрия и прочие города — захолустье. За Киевом тянулись Чернигов, Переяславль, Смоленск. В малом Любече — и то на гуляньях растеряешься: то ли цветок, то ли женщина!

Нежились ляхи в Киеве, нежились за Киевом — таяли в числе. Как снег. Бывает, в феврале занесет выше окон, а в марте и нет снега, и уж пробиты ногами сухие тропочки. В тот же Любеч послали кормиться восемь десятков, прибежали трос еле живы.

Любеч-то хоть за глазами. Но в самом Киеве, на виду, на глазах Болеслава со Святополком, ляхи убывали, что

цыплята у нерадивой наседки. Минет ночь, и утром там тело, здесь тело. Кто бил, за что? Нет концов.

Страшное своей беззвучностью истребление ляхов казалось особенным мором. Хитрые люди поговаривали, не то подделяваясь к Святополку, не то коварно вредя ему, что князь-то сам этой тихо проливаемой ляшской кровью намекает своему дружку Болеславу: засиделся ты в гостях на Руси, скучают по тебе поляки.

Храбрый король, собрав остатки своих, ушел в Польшу. Угнал пленников, взятых после победы на Буге, увез казну Ярослава, двух его сестер. Союзника своего Святополка король оставил на попечение Святополковой же дружины.

Князь Ярослав не успел проводить Болеслава. Святополкова дружина и выставленные им ратники были разбиты, как глиняный горшок, не столько мечом, сколько грозным видом Ярославова войска. Святополк, заранее подготовившись, сумел опять и бежать с поля, и уйти от погони.

Он бросился к печенегам, в Дикое поле, так как ляхов он исчерпал. От хана к хану, от рода к роду Святополк объездил кочевья на Донце, на Дону, на Волге.

Святополк пробудил у печенегов замыслы более обширные, чем удачный грабеж во время набега. Князь Ярослав встретил печенежское войско у Альты, близ места, где был убит князь Борис.

Сражение при Альте в своей неумолимой ярости, в стойкости далеко превзошло тяжелую битву с печенегими под Киевом. Начав тоже ранним утром, стороны трижды прерывали бой, изнемогая от усталости, и трижды сходились опять. Печенеги много раз пополняли колчаны, пока не израсходовали все запасы своих легких, но жгучих стрел, и на поле стрелы трещали под ногами и копытами, как сухой тростник. Не образно, но въявь человеческая кровь текла, скопляясь во впадинах, ибо строй был плотен, раны наносились глубокие, и сильная жизнь сильных людей не угасала до последней капли крови рассеченного тела.

Печенеги пришли, как завоеватели, бились стойко, как завоеватели, дабы посадить своего князя Святополка, и стать его дружиной, и поработить Русь себе на потребу. К вечеру русские пересилили, и оставшиеся в седле печенеги ударились в бегство. С той поры они ослабели душой. Русь перестала казаться обетованной для Степи страной грабежа, легкой наживы. Они потянулись берегом моря по старому пути других кочевников: к Дунаю и в империю.

Святополк не ушел в Дикое поле к своим битым союзникам. Такое небезопасно при неудачах замыслов, во имя которых заключают союзы. Союз разрушился.

Один из насмных варягов по имени Эймунд говорил, что он срубил Святополка в посадке на поле сраженья. В указанных им местах не нашли тела. Эймунд не мог показать ни одной вещи, принадлежавшей Святополку. Ему не поверили. Варяги чрезмерно увлекаются собственным красноречием. Так увлекаются, что верят сами: кто же не слышал их саг-сказаний!

Вскоре стали говорить, что Святополк умер, забежав в пустыню где-то между ляхами и чехами. Действительно, он исчез, он умер, ибо был он слишком замечен, слишком хощь и худо, но прославлен, чтоб где-либо остаться в неизвестности. Затем книжники расцвели всенародное убеждение красивыми словами.

Напрасно! Достаточно и того, что к имени Святополка прилипло прозвище — Окаянный. В нашей речи это слово явилось недавно, с распространением христианства, происходя от ветхозаветной повести об убийстве Авеля братом Каином. Кратко, точно: окаинился, окаянный.

Так, в краткости народного известия полнота поэтического выражения сама по себе стала свидетельством его достоверности.

В пустыне кончил дни Святополк. На Руси не было пустынь. Стало быть, мать сыра земля отказалась от окаинившего себя князя. Казнила его одинокой гибелью в сухом месте, где ни деревца, ни кустика, ни травы, ни ручья, где не греет русское солнышко, а льет пламень злос светило.

Но все же это известие, зря превращенное в устрашающее сказание усердными книжниками, вполне человечно не отказывает Святополку ни в страхе, ни в отчаянии. Страх и отчаянье суть дороги раскаяния. Раскаяние тоже было новеньким словом, по-русски отчеканенным из Каина: широта русской мысли не могла ограничить себя одним направлением — окаиниться. Требовалось второе, обратное, — раскаиниться, раскаяться. Значит, мог Святополк Окаянный понять зло, причиненное людям. Бежал он не гонимый Судьбой-Фатумом, предначертанной ему несчастья еще до рожденья и в непознаваемых целях. За ним не гнались некие божественные мстители, его не преследовал новый Ангел с огненным мечом. По исконным собственным русским воззрениям на внутренний мир человека и на обязанности к другим людям, Святополк

бежал от собственной совести. Да разве от нас убежишь!

Свое сочувствие к князю Ярославу и его сподвижникам Русь выразила таким замечанием: «После победы на Альте Ярослав, сев в Киеве с дружиной своей, отер пот».

Вновь встречаем выражение крепкое, краткое. Такими словами не привечали случайных удачников в малозначащих для Руси столкновениях.

Старшинство по рождению давало преимущественное право и на обычное наследование родительского имущества, и на княжение. Корень славяно-русского обычая, как и обычая многих других народов, уходит во времена настолько удаленные, что нечего искать давно истлевшее семечко, от которого пошел и корень, и само дерево. Смысл же сохранялся по своей человеческой естественности. Право старшего идет от необходимой для отцов с матерью заботы о детях, от обязанности старшего в семье занять место отца, ушедшего из жизни.

Будучи принят в Киеве по естественному праву старшинства, по очевидной для киевлян способности Ярослава княжить, он не выполнил обязанности к младшим братьям. Мстиславу Тмутороканскому старший предложил Муром еще до своей победы над Святополком. Судиславу, сидевшему во Пскове, пришлось там и остаться. Судислав, человек слабый волей и умом, выражал свое недовольство в неразумных словах. Мстислав мог принять Муром, но Мурома было маловато для Тмуторокани.

Тмутороканское княжество лежало в устье, через которое Сурожское море выливает излишек своих пресноватых вод в соленое Русское море.

Греки, а за ними римляне называли Сурожское море Меотийским болотом. Не случайно — оно мелководно, вода его в иные годы бывала почти пресной и к осени зацветала. Впадающие в Сурожское море реки еще совсем недавно были богаче водой, на большей части своего протяжения были закрыты лесами, сток воды обладал постоянством, пища для рыбы сносилась в изобилии, а лучших нерестилищ, чем сурожские реки-притоки, не бывало нигде.

Болото болотом, но берега Сурожского моря, изобильного отличной рыбой, были подобьем земли, которую бог обещал иудеям, чтобы вывести их из Египта.

Пусть солнце выжжет степь, пусть засуха и мор покончат с домашним скотом, птицей, диким зверем — Сурож-

ское море прокормит. Без всякой снасти с берега шестилетний ребенок на один крючок за утро наловит рыбы, которой хватит на большую семью.

Пролив назывался Боспором — Босфором Киммерийским. В узком месте его ширина была меньше трех верст, к Русскому морю он расширялся верст до пятнадцати—двадцати. Скалы и подводные камни слеplены из древних раковин и облеплены живыми вкусными мидиями. Мидии висят, удерживаясь волокнами, из которых некогда делали ткань, знаменитый виссон; они неимоверно плодильны: не соберешь, не выберешь. Сбор легок, старик со старухой наполняют мешок за мешком, только успевай увозить.

Дон и Кубань вступают в Сурожское море медленным током через разветвленные рукава, с низкими намывными островками, с мелями. Здесь тростниковые чащи, в которых неосторожному легко заблудиться и погибнуть, пешком ли, на лодке ли рискнув забраться поглубже, не зная дороги и не оставив примет для возвращения. Круглый год камыши кишат водолюбивой дикой птицей, которая при всем своем множестве не в силах выесть бесчисленные личинки насекомых и повредить водяным растениям.

Ядовитых или вредных рыб нет, но здешние жители в рыбе разборчивы. Настоящей добычей считают белугу, осетра, однобокую камбалу с колючими шипами, крупного белотелого лобана. Прочих называют: бель, разнорыбца. Названий наберется больше двух сотен, ценят десятка три. Для местных рыбаков, вопреки пословице, поиск лучшего не вредит хорошему. Впрок рыбу вялят, солят, коптят. Соль своя, под рукой.

Ниже узкого горла пролив сразу расширяется, течение слабея, отходит то к правому берегу, то к левому, размешивая мутные пресноватые сурожские воды с горькими прозрачными водами Русского моря. Здесь берега на большей части своей крутообрывисты и высоки на несколько сажен. Внизу залег узкий бережок. Чуть разыграется море, и волны бьют в самую кручу, рушат ее, унося избитые и мелочь обломки. Год от года стена отступает, но остается стеной. Но подслоях из рыхлого камня-ракушечника лежит слой толщиной в два-три человеческих роста плодороднейшей почвы. Все растет, что ни посади. Деревья обильны плодами, не жалуются люди и на поля. Лето засушливое, сеять спешат, урожай готов в первой половине лета. Изредка бьет засуха — не собирают и семян. Но голода не бывает. Море кормит, дает товар для продажи, и в са-

мый худой год у жителей есть на что купить привозного зерна.

Сеют овес, ячмень — без них нет силы у лошади. Тмуторокань молится на коня — такая здесь жизнь. В старыс времена, говорят, были здесь храмы, посвященные богу в образе лошади. Ныне такого не положено. Иначе русские тмутороканцы выразили бы свою любовь и в тесаном камне. Благо здешний камень красив и мягок, тешется легко, как дерево.

Сеют просо, оно дает большой приплод даже в сушь. Еще сеют сурожь. Приставка «су» по-русски означает смесь. Суглинок — смесь глины и песка, в которой больше глины. Супесь — такая же смесь с преобладанием песка. Сурожь — рожь с пшеницей. Рожь крепче, неприхотливее, ржаная солома выше пшеничной. Поднявшись от смеси семян выше пшеницы, рожь защищает сестру от засушливых ветров, от чрезмерности зноя, и пшеница просит меньше влаги для своей соломы, лучше наливает зерно.

Кто придумал смесь хлебов и слово? Кто скажет? Однако «сурожь» — слово чисто русское. Есть два города, называющиеся Сурожем. Один — в Таврии, на берегу Русского моря, не так далеко от пролива, другой — на Руси. Почему Меотийское болото перекрестили на Сурожское море? Что от чего? Море назвали из-за того, что на его берегах начали сеять сурожь? Либо сурожь окрещена от моря? Круг замкнулся: не приходится искать, где начало обода, где конец: старые кузнецы гладко сварили полосу.

Сев на проливе, Тмутороканское русское княжество взяло клещами Сурожское горло. На восточном берегу — крепкий город Тмуторокань, на западном, таврическом, — Корчев.

Темной ночью с верховым ветром на гребном судне можно выскочить из Сурожского моря в Русское. Высокому кораблю лучше не искушать и море, и бога. В темноте волны и ветер бросят тебя на длинные мели и потащат к крутым берегам либо к соленому озеру. Сам погибнешь, потопишь товар. Из Русского моря в Сурожское тоже не прокрадешься темной ночью, и низовой морской ветер не в помощь будет.

Плыть нужно днем. Тмутороканцы пускают всех, кто платит пошлину, считая таких друзьями. А недруга возьмут в узости с двух сторон и раздавят, как орех: ядрышко себе, скорлупку на дно. Тмуторокань — место удивительно удобное. Выдумать нужно было б ее, коль бы сам бог не изготовил.

Одно плохо — мало сладкой воды. Колодцы редки, приезжие бранят колодезную воду — горька. Верно, привычка нужна. Тмутороканцы и корчевцы умеют копить в подземных хранилищах дождевую воду, и у них она за все бездождное лето не портится, свежа и чиста, как роса. Здесь в большом ходу кузнечное и оружейное дело — свое железо копают под Корчевом. Много работают с бронзой, золотом, серебром, медью, льют и чеканят украшения, простые и с эмалью, из цветного стекла плавят бусы, браслеты. Сбыт обеспечен, ибо место торговое, по Дону, Кубани, по всем степным рекам и речкам пути, а Тмуторокани не миншь.

Гончары обжигают посуду простую, цветную, с поливой, по заказу и в торговый запас, от корчаг ведер на сто до крохотной мисочки с крышкой для румян, для притираний и детских игрушек — свистулек, куколок, зверушек.

Места обжитые, насиженные людьми уж очень давно... Идя по своему делу в тихую погоду бережком под кручей, замечает тмутороканец: из срезанного недавним обвалом берега торчат черепки. Кое-как дотянувшись, он вытащил три обломка. Концы, которые торчали, обветрило, они стали светлы. Что было в земле, черно, как земля. Обмыл в море — и цвет сравнялся. Куски от большого горшка, работа, как нынешняя. Тот же вымес глины, тот же излом. Да и цвет тот же. Значит, глина была взята там же, где и ныне берут. Море в проливе постоянно выметывает черепки, это привычно. А в земле? Задрав голову, тмутороканец меряет взглядом. Сажени две землиросло над тем местом, где когда-то разбили горшок. Когда ж это было? Как видно, еще до потопа, в дальние века. Бог, смутившись дерзновеньем строителей вавилонской башни, смешал речь, тем разогнав людей в разные страны. А после потопа люди, опять размножившись, сюда обязательно явились. Бросив черепки в сумку, которая висела на пояске, тмутороканец пошел дальше, размышляя над находкой. Встречались ему и раньше следы старины под лопатой, но особенных мыслей не приходило: откуда, да что, да когда. Но эти черепки говорили будто голосом: сама земля на нас выросла, нас никто не прятал.

Море, пролив, бережок, круча над бережком, за кручей — тмутороканские земляные валы с каменными стенами по валам, с башнями, с площадками для боевых машин. К востоку степь с увалами, с холмами, с черневыми лесами в низких местах. Собственная тмутороканская земля идет на восток на сорок верст до болотистого кубанского

устья. За ним вдали видны заросшие лесом горы. В предгорьях реки, речки, по речным долинам хватает на всех и лесов, и полян. Земля считается касожской, за касогами — аланы. На деле же кого-кого там нет. Все — как обрывки, остатки. Найдутся хозары, как и в Таврии. Среди хозаров есть признающие закон Моисея, хотя от иудействующих хозаров истые иудеи отмахиваются пуще, чем от людей, поклоняющихся самодельным божкам. Есть роды, объявляющие себя гуннами, готами, уграми, обрами, торками. И еще какие-то, с трудными названиями племена. По веревке встречаются христиане разных толков, обращенные некогда проповедниками-греками, изгнанными из империи за ереси. Последователи Магомета распространяют свой закон медленно, но верно. Воинственные заветы пророка и блаженства рая, обещанные храбрым, приходятся по душе многим. Мешает разноязычие, родовая вражда и стеснительность правил ислама.

Тмуторокань устроена к югу от долины, выход которой к морю понижает берег и делает удобной высадку. Здесь тмутороканские пристани.

Матерой тмутороканец со своими черепками — находкой брел и брел под кручей по желтопесчаному берегу, по черному, где тлела выбитая волной морская трава, пока ноги не вынесли его обогащенную думой головушку за мысочек, пока шум на пристанях не вернул его из неизвестного прошлого в сегодняшний день.

Опомнился — черепки-то мозги вышибли! Он ведь сюда и шел, проводить князь Мстислава-то Владимирича!

Ветер низовой, с моря, тянет слабо, к вечеру стихнет, наутро повест опять. Быть хорошей погоде до нового месяца! Сурожское море по мелкости своей злобно. Волна бьет о дно, гребни ломаются круто, буря на Сурожском море вдвое опаснее, чем на Русском. Ныне доплывут спокойно. Мы, тмутороканские, знаем, когда гнать, когда под берестом стоять.

Проталкиваясь в густой толпе, старый тмутороканец кого по плечу хлопнет, с кем, глазами встретившись, поклонится, кому голосом пожелает здоровья, старуху спросит, как ноги-то носят? Носят еще? И ладно нам. Молодую приветит, цветешь, мол, цветиком полевым, нет, ухоженным, стало быть, хороша ты породой да повадкой. Мальчонку привечает шлепком. В трех- либо в четырехтысячной толпе все между собою знакомы, гул идет, как на торге в Корчеве, где встречаются двенадцать на двенадцать языков.

И — смолкли: коней ведут! Попятились, оставив широкую улицу, ценят глазами. По толстым плахам пристанских настилов раскатывается копытный стук. И сюда гляди, и здесь не упусти, что ты скажешь, беда!

Тмутороканские кони ведут свою породу от отборных жеребцов, от известных маток. Кони крупны, но не тяжелы. Конская сила в крепости кости, в жилах. Избочившись, выкатывая кровавый глаз, идет вороной жеребец в руках княжого стремянного. За ним ведут коня самого стремянного. Княжой стремянный — большой человек, у него свои стремянные.

Подыгрывают кони. Не кони — дружинники коней горячат, красуясь перед товарищами, перед молодцами, перед бойкими девицами, перед красными вдовами. Здешние киевлянкам ни в чем не уступят.

На Русь уплывают, да... По перекидным мосткам свели коней в корабли. На весь залив заржал княжой вороной; как петухи, ответили другие; из крепости, прощаясь, нежным голосом высоко пропела молодая кобыла. Будто бы грустно становится, други, а?

Разгружают возы. Несут длинные укладки с оружием, несут мешки, тюки с едой. Споро, быстро, без спешки, ничего не забудут, не в первый раз, давай бог, не в последний.

Вот и князь! Желая удачи, каждый в толпе свое заорал, слов не понять и семи мудрецам. Мстислав Владимирович, прозвищем Красный — Красивый, в широкой рубахе, в широких штанах с напуском на мягкий касожский сапог, приветствуя своих высоко поднятыми руками, шагал саженьями — так убирают восемь верст в час. Богатырь! Летит — сама земля его вверх толкает. С пристани прыгнул на корму своего корабля, взяв с места сажени две, и все тут. Во всем подражая князю, дружина спешила, едва не наступая друг другу на пятки, а жены бежали бегом.

Жен было мало. Мстислав не любил длинных проводов и оставил княгиню дома лить слезы, проклиная злую разлуку. Живет князь нараспашку, ему таить нечего, и вся Тмуторокань знает, когда ему доведется поспорить с любимой, а когда у них мир: оба горячи. На войне у Мстислава лед в голове, дома иное — не враги же, свои.

Случалось же иной раз и такое, что возьмет княгиня своих девушек и нарочно перед баней пройдет по улицам, а баня у себя, на княжом дворе. Нет же, все знайте. обижена я вашим князем и в баню его не взяла, отлучила его от себя, как пса от причастия. Наберет встречных дев-

чонок-замарашек к себе в баню и вымоет. Сместся Тмуторокань, а ей любо. Да и людям, правду сказать, любя княжя простота: нами не брезгуют, и мы не побрезгуем.

Лошадей насчитали больше сотни, дружины — до семисот. Что Мстиславу! Пойдут степью от Донца, купят, наловят либо так возьмут печенежских коней. Киевский князь Ярослав сломал печенежью спину у Альты. Совсем ли — время покажет, но ныне печенеги присмирели, где им путаться под ногами у Мстислава.

Смотри-ка! Уже отплывают! Замелькали багры, толкаются в пристани. На мачтах паруса поползли вверх и надуваются, поймав ветер, и серая парусина под солнечной лаской становится белой: привычное чудо, а все ж красота!

— Расступись, расступись!

К пристани скакала княгиня. Не послушалась, не усидела дома. У края причала, откуда отошел княжой корабль, остановила коня, кричит. Что? Слов не слышно тебе, да к чему слушать-то! Что добрая жена скажет мужу на прощанье: люблю, возвращайся...

Князь замахал руками, а причалы и берег утикли. Донеслось с моря:

— У-уу... Уууу-у...

Первое слово — люблю. Княгине послано? Всем. Как и обещанье вернуться...

— Заметил? — спросил бывалый тмутороканец товарища. — Взял он наших, русских, немного, и все-то из старших, бояр, для распоряженья, совета. А так все касоги, хозары, варяги, греки, торки, печенеги.

— Как сказал, так он и сделал, — отозвался товарищ. — На нас, стариков, оставил Тмуторокань да на русскую дружину. Разумник князь-то.

И пошли они в крепость-город, толкуя о деле, решать которое пустился князь Мстислав. Брат его Ярослав и воин знатный, и князь мудрый. Окаянного сбил, печенегов смирил, устроил тишину на Руси. В одном плох — несправедлив к брату. Не наделил его из выморочных волостей, даст Муром и говорит, что Тмуторокань богаче Киева. Что нам в золоте! И дальний Муром, право же, в насмешку предложен. Нам в Тмуторокани люди нужны, нам нужны южные волости, чтобы из них Тмуторокань пополнялась русскими людьми. Иначе зачахнет русский дух и здесь, и в Таврии.

Обсудили. Тмутороканец вспомнил черепки, брснчавшие в сумке. Обсудили и их, но не сошлись в счете лет давности. Находчик черепков жил в каменном доме, строенном отцом его тому назад лет шестьдесят. Стали мерить,

насколько земля поднялась от пыли. Спорили, ссорились, лутались, и пришлось отдохнуть. Засев в садовую тень, вспомнили свой последний поход на касогов, после которого касоги, присмирев, с Тмуроканью примирились.

Редея, касожский князь, а по-гречески Редедос-кесарь, взамен общего боя предложил Мстиславу божий суд — поединок.

Сердце изныло глядеть, как князья шлемы исскли, щиты расщепили, латы помяли, оружие поломали и сошлись бороться руками. Почему легче самому делать, чем смотреть на тяготы другого?

Редея — Редедос был богатырь телом, крупнее Мстислава, и все ж Мстислав пересилил, хватил оземь через колено и довершил его жизнь ножом. Касоги сказали — помиловал: по-ихнему, для победленного нет солнца.

По условию касоги отдали Мстиславу семью Редеди, казну, лошадей и скотину, и еще Мстислав наложил на них дань. Семью Редеди Мстислав там же отдал касогам за выкуп, и много они заплатили, чтоб уйти от бесчестья.

До того времени иные касоги, поссорившись со своими, убегали в Тмурокань. После победы над Редедю многие храбрые витязи — рыцари касожского рода пришли проситься на службу во Мстиславову дружину. Народ они верный, честь чтут до смерти. А все же лучше, чтобы к нам побольше шло своих людей, с Руси...

В память победы Мстислав на выкуп Редедьевой семьи построил храм деве Марии, княгиня у него крещеным именем тоже Мария.

Отдохнув, пошли старики к храму. Чист, как снег, белого тесаного камня, купол сведен банным строением, а не шатром. Откуда ни взгляни, нет красивее ни в Корчеве, ни в Суроже, ни в Киеве.

Попробовали измерить, насколько земля выросла у храмовых стен, поспорили, сколько на год приходится и от каких людей черепки: один кричит — до потопа, другой — после, зато сразу, как земля высохла.

Признав — темное дело судить о прошлых веках, пошли молча, думая каждый о своем. Находчик черепков вспомнил, что нужно завтра плыть к сыну в Корчев, для чего можно уже с вечера погрузить в лодью готовую гончарину: море будет стоять зеркалом. Другой думал, как будет мирить дочь с мужем ее. Молодые-то умны, но не притирчивы друг к дружке, семейная жизнь не проста. Как мирить? За Корчевом на Сурожском берегу, близ межи с греками, сидит брат, дочке дядя. Греческая межа спокойна

всегда, как нынешнее море. Скажу, весть получил — болен брат, и поплыву к нему вместе с дочерью. Там се до времени и оставлю. Есть между ними любовь, опомнятся, сбегутся. Нет любви, лучше смолоду разойтись, чем вк маяться.

Потом думы друзей полились одним руслом, что прав князь Красивый, взяв с собой инокровных дружинников. Таким, если Ярослав со Мстиславом не урядятся, легче будет биться и кровь лить. Перекинулись словами о днях, когда сами они ходили в последний поход. Отяжелели тогда; от скачки, от копья с мечом кости попросили покоя. На тмутороканских стенах, если придется, они покажут себя молодым за пример. На месте. В седле скакать и своими ногами бегать не нужно.

Текли мысли. Черепки прошлых дней колсбались в душе, как ракушки, когда их выносит и тащит прибором назад. Память — зеркало, коль нет в ней ничего, кроме твоего отраженья. На волю бы. Все ты привязан к земле, как бык в стойле.

— Как думаешь, — спросил один, — здесь до нас сколько людей свой век отжило? Сколько звезд в небе? Иль меньше?

— Больше, — ответил второй. — Делали, как мы, такие же были, оттуда же глину копали, так же огонь в печи разводили, так же смеялись, любились.

— На месте живем, но будто бы и движемся куда-то все вместе.

Взглянули на море. Низовой ветерок нес прохладу и надувал паруса кораблям князя Мстислава. А княгиня-то плачет? Нет, и от себя слезы спрячет такая.

Дети, идя из школы, кланялись старшим. Учитесь, учитесь, в Тмуторокани неграмотному — полцены, грамотному — две. Вам жить.

— Да, друг-брат, страх, пока сидишь, как свинья, в своем закутке. А вышел на волю, мысли раскинул — нет страха, не боишься ни боли, ни смерти.

— Да что человек! Как ветка на дереве. Растешь, разветвляешься, плод даешь и... — Не находя слов, матерой тмутороканец раскинул руки.

Спешившая навстречу молодая, поклонившись старшим, спросила нарочито скромным голоском:

— Чтой-то вы размахались, бояре? Аль с солнышком не поладили?

— Да мы так, рассуждаем по-стариковски.

— Старики! — лукаво протянула молодка. — Зелен виноград — не вкусен, млад человек — не искусен. — И вильнула своей дорожкой, запев песенку о князе-вдовце, который вздумал сына женить поскорее, но красавица невеста не сына, отца на себе поженила и подарила ему двенадцать сыновей-богатырей на зависть всему белому свету.

Пошли своим путем и друзья, невольно расправив плечи по-молодому. Успестся еще в землю-то лечь, туда не опоздаешь, как и на тот свет.

Верно. От повестей о поздней любви не пусты русские были и ромейские преданья, а в Священном писании таких примеров не счесть. Бывалому больше нужно, чем молодому. И то сказать, лечь в домовину успеешь, земля в твой час возьмет тебя без укора, что ей! А на том свете божий ангел не спросит, сколько времени ты, душа, жила в русском теле и сколько любила, а спросит, много ль добра совершила и какого наделала зла... Так, что ли, друг? Так, видно.

Гляди: от Донца на запад, на север легла безмерная ровность. За нею черта, будто проведенная по пергаменту свинцовым стилосом. То всхолмленная над невидимыми от реки балками. А дальше — степная ширь, и туманится она, и течет, и струится к земному окосу, но не виден окос, и мгlistая степь свободно восходит к небу, будто бы ты начнешь там подниматься на небесные своды не по лестницам, на ступенях которых тяжело трудились святые, а по глади, манящей полетом.

Здесь, в донецкой излуцине, такое всегда виделось князю Мстиславу, и всегда обманное это виденье напоминало о дороге на небесную твердь, которой, по вере дедов, восходили русские души, и всегда тешился он мыслью — не страшно ему, нет смерти. Он, христианин, уважая веру предков, не знал за собой бесчестья ни в старом, ни в новом законе.

За ивняком, который венчает донецкий бережок, ходят табуны коней, подаренных печенегами посланным князя Мстислава. Дар обойдется дороже, чем купля: отдариваются щедро, чтоб не потерять лица, но таков обычай в Степи. Князевы посланные отобрали пятнадцать сотен коней. От Донца дружина пойдет о двуконь, ветра быстрее. Пока же быть стоянке на три дня, чтобы дружинники разобрали коней и смирили крутой нрав новых своих скакунов.

В княжеском шатре приподняты края, чтоб ветерок, ускользнув от яркого солнца, нес полынный дух, горечь

которого сладка тем, кто хоть день прожил в степи. Да будет вечна вольная степь!

Ковер на полу шатра выткан красной и черной шерстью. В узоре заботливая рука мусульманина-ковровщика скрыла под острыми углами рисунка души растений: бог изрек Магомету запрещенье верным изображать что-либо живое, но таить его в рисунке не запретил. На ковре расставлено тмутороканское угощение. Мстислав чувствует хана Тугена. Тугеново колено пасет свои стада на западных от Донца угодьях. Хан подарил князю живое золото, князь отдалился простым.

Хан благостен, многословен. Цветисты степные речи. Кочевник умеет свои слова сплести такими венками, что глуп будет ищущий в них некую общую правду. Надобно просто понять простое же: искусный плетельщик сам верит плетению, в котором сегодня одно, а завтра другое.

— Ты гость наш, гость, князь, иди, живи, бери все, что хочешь, — приглашал Туген. — Я твой друг, клянусь небом, я хочу любить тебя. Истину говорю — хочу. Любовь женщины зависит от силы подчинившего ее, любовь мужчины — от уважения к другу.

И хан говорит, говорит... Поломал печенежью спину князь Ярослав. Теперь торки, старые соперники печенегов по заволжским кочевьям, собираются к волжским переправам — мало им старого места! Тесно в степи, тесно, степная вольность подобна весне — быстро минует она, и вновь ищи нового, вновь уходи. А! Мир велик!

Сломав печать на глиняной фляге, покрытой гладкой поливой, Мстислав налил серебряную братину, сам отпил и передал хану:

— За дружбу!

Хан сказал:

— Чтоб была между нами любовь, пока не поссоримся, ибо вечного нет! Чтоб любовь между нами не потерялась от случая. А нарушится — так из-за дела, и не стыдно нам будет обоим вспоминать слова этого дня!

Так будет, и что же сказать, и чем же поклясться, чтобы стало иначе между Степью и Русью? Чем? И зачем? Не изменится нрав кочевника, и русский не может иначе, как ответить ударом на удар. Так будем жить сегодня, не думая о завтрашнем дне. Сильный с сильным могут друг друга понять.

Выпили. Еще налил русский, и вновь пили оба. Довольно!

— Теперь мы сыты, и нам хорошо, — сказал Туген. —
Послушай внимательно мой рассказ, русский друг.

И начал:

— Однажды кочевники спросили случайного гостя:

«Ты видел горы?»

«Видел».

«Какие они?»

Рассказывая, он истратил все слова, что знал. И его спросили опять:

«Какие же горы?»

Его вновь терпеливо слушали, кивая головами: да, да. Когда у него сохлось горло и язык стал твердым, они спросили:

«Что же это такое, эти горы, о которых ты говоришь?»

В степи и до края, и за краем неба не нашлось бы ничего выше верблюда. Посмотрев на юрту, гость сказал:

«Поставьте одну юрту на другую. И еще, и еще. Десять раз по десять юрт, и еще десять по десять, и еще десять раз по десять».

«Зачем это делать? — спросили кочевники. — Ветер унесет юрты, и у нас нет столько юрт. И здравомыслящий человек не ставит юрту на юрту, он разбивает их рядом. Мы просили тебя рассказать о горах, ты говоришь о юртах».

Гость возразил:

«Я рассказывал, я не могу рассказывать лучше».

Кочевники, стыдясь за него, опустили глаза.

Его положили спать на почетное место, самое дальнее от входа, и дали женщину, как полагается по обычаю. Утром его накормили, наполнили едой седельные сумы. Его провожали двое — старый и молодой. В середине дня они остановились у источника сладкой воды.

«Здесь мы тебя оставим, — сказал старший, — это граница нашего племени. Ступай дальше без страха. Ты один. Мы в степи ничего не чтим, нам ничто не свято, кроме гостеприимства. Посылай коня туда», — старший указал дорогу.

Степь лежала ровная, как утреннее озеро, и нежная, как щека девушки, ибо это было в начале весны.

Старший, приказав младшему ждать, проводил гостя за границу на два полета стрелы и сказал:

«Теперь для меня ты больше не гость. Я могу спросить тебя — кто ты?»

«Беглец. Я слагал песни, рассказы, притчи. Я поэт. Я неосторожно оскорбил эмира. Там, — гость указал

вдаль, — есть страна, откуда в наш город приезжали купцы. Я подружился с ними. А назад для меня нет пути».

«Может быть, может быть, — согласился кочевник. — Может быть, тебя не забыли друзья. Надейся. И прими мой совет: не рассказывай в степи о горах, а горцам о степях».

«Ты знаешь горы! — воскликнул поэт. — Так почему же...»

Подняв руку, старший кочевник остановил своего бывшего гостя:

«Ты много говоришь. Ты спешишь спрашивать. Думай. Молчи и будь осторожен. Обижаются не только эмиры».

— Благодарю, — сказал Мстислав. — Вспоминается, я слышал подобное. Но те рассказы перед твоим — мул перед конем.

— Да, да, — сказал Туген, — язык часто выталкивает слова для развлечения. Я хотел моим рассказом склонить ухо твоего разума.

— Ты успел в этом.

— Коль так, я рад, — подхватил Туген. — Я не хочу быть неразумным, как беглец из рассказа. Я отдам тебе, князь, нечто значительное. Пойми меня, не оскорбись. Прими же, я возвращаю тебе, князь, ибо это — твое, — значительно закончил Туген. Положив руку на обитый кожей ларец, который он принес с собой, хан поднял вверх глаза, читая немую молитву. Затем, встав, он вручил князю даримое.

Мстислав отстегнул застёжки, приподнял крышку и снял шелковую подушечку, сохранявшую содержимое. Внутри ларца, как в гнезде из пуха, сидел верх человеческого черепа. Черновато-серая кость была обделана серебром по краю. Печенежская застольная чаша! Не прикасаясь, князь поднял глаза и посмотрел на хана. Тот трижды кивнул, отвечая на немой вопрос, и закрыл глаза, чтоб оставить внука наедине со священными для него останками деда.

Смерть — удел каждого. Для того, кто стремится к высокому, чьи мысли летят и чьи желанья жгут, тело бывает на долгие дни подобно свинцовым якорям, которые удерживают галеру. Бояться дедовской кости! Не было страха.

Все глядят вверх, на великих счастливых людей: они, нагружившись армиями, оружием, коронами, крепостями, морями и вершинами гор, и толпами подданных, и звезда-

ми с неба, выбили глубокие колеи, испестрили землю каленным железом своих малсных ног, сделав ее неровной и жесткой. И мы, слепые, слепо кружим и кружим, выходя на их следы. Но есть другие, они тоже оставляют следы, большие следы, которых не видно, так как мы все помещаемся в них.

Внук княжил во следу, оставленном пяткой его деда. Святослав жил, веря, что ему дано обладать землями по праву потомка Даждьбога, по праву рожденного, а не сотворенного, как сотворены бык, дерево, рыба. Поэтому он отказывался стать христианином, поэтому он презирал роскошь в одежде и пище, эту радость рабов. Он постиг искусство управления людьми и тайны войны, не достигнув двадцатилетия.

Как потревоженная раковина неощутимо ослабляет свой костяной створ, чтоб через невидимую щель почуять, ушел ли нарушитель ее покоя, так хан Туген ослабил вски: прикоснулся ли русский к старой кости? Нет.

Более двухсот лет тому назад хан Крум в ночном бою разбил ромесв и сделал чашу из черепа базилевса Никифора Первого. Печенеги потешались над телом Святослава пятьдесят лет тому назад... Но сам Святослав не тешился останками побежденных. Мстиславов дед не мешал себе на войне смрадом ненависти, изжогой зависти. Посылал сказать — иду на вы, и приходил, и побеждал. Ему не исполнилось двадцати четырех лет, когда он отбил у хозар охоту ходить в вятическую землю. Бросился на Дон, сломал хозар в чистом поле, взял Саркел — Белую Вежу, прыгнул на юг, победил ясов и касогов, вырвав из хозарского союза. Тогда-то и была Святославом заложена Тмутороканская крепость — чтоб Русь, держа Сурожское место, взяла в руки второй ход в Русское море.

В следующем году Святослав распорядился на Каме, разорил столицу хозарских союзников — болгаров; смирил буртасов, сплыл по Волге, разметал хозарскую столицу Итиль, вышел в море и разгромил хозарский Семендерсм. С того времени не стало слышно хозарского имени.

Мстислав видел в деде не воина, а великого военачальника. Читая о делах прославленных в книгах полководцев Рима, Греции, о делах вождей готов, франков, внук думал о Святославе как о великом умельце войны. Летописцы пишут красиво — прыгал, как барс. Барс — зверь кошачьей породы, его бег короток. Святослав прыгал на сотни верст сразу, и всегда его люди и кони были сыты, ибо пути он выводывал, и обозы его летели, будто на крыльях,

и вызовы слал не от лихости, а по воинской мудрости. В чистом поле ему не было равных, и воюют не для войны, а для мира, мир берет тот, кто сразу сломит врага.

Великая мудрость жила в Святославе, молнии мыслей полнили дедовскую кость. Злой дар и добрый дар сразу поднес печенежский хан... Мстислав взглянул на Тугена — сидит, как спит, и дышит ровно, и веки не дрогнут...

Вновь забывшись, Мстислав дивился тому, как вселенная вся целиком помещается в малом черепе. Там и небо со звездами, и толпы мыслей, и свитки памяти неизмеримой длины живут вольно, не теснясь, не толкаясь. Там же меры зла и добра, там же совесть — совстники души, без которых ничто невозможно.

Не обманул ли печенег? По их вере, можно чужого как хочешь обмануть. Нет, коль печенег клялся дружбой и сл вместе с тобой, он не солжет — небо накажет его через совесть. У печенега хоть и своя, но есть мера добра, он человек. Нельзя быть лишь с теми, кто меры лишился.

Недавно чаша из русского черепа, пройдя много рук, досталась Тугену в наследство. И дух страшного воина, бродящий в степи без могилы, являлся хану во сне. На что печенегу хвалиться былыми победами — мы живем сегодня, и прошлого нет. Русь нависла над Степью, пусть русское вернется к русскому.

Опустив на кость шелковую подушку, Мстислав затворил ларец, и Туген раскрыл глаза. Русский князь не прикоснулся к родной кости, благородно не осквернив ни предка, ни себя.

Мстислав стянул с пальца перстень, в котором, схваченный чеканными лапками, сиял камень-самоцвет размером в лесной орех, и отдал Тугену — не плату, а знак дружбы.

Мы навязываем врагу долг нашей собственной крови, мстя за тех, кто пал в бою. Мстислав вспоминал слова философа, который назвал такую странную непоследовательность извечной, неизгладимой. Но сам он был свободен от желания мстить. Извечна война, но месть — плохой воин. Это кость, о которую ломают и зубы, и меч, это соблазн и призрак. Брат Ярослав горько обидел его по разделу. У Мстислава не было злобы на брата. По Мстиславу, брат, озлобленный борьбой со Святополком, забыл меру добра. А насколько забыл — дело покажет.

Как снимались с донцовского берега, князь Мстислав повестил, чтоб все брали дерево, — будет большой костер. Сложили его верстах в пятидесяти от реки. Забравшись на ершистую гору, Мстислав спрятал наверху нечто малое, закутанное в шелковый плащ. Князь ночевал у костра и перед рассветом сам запалил его.

Базилевс Никифор Второй прислал князю Святославу полторы тысячи фунтов золота в дар и просил помочь против задунайских болгар. Посол нашел русского князя в дни свободы после хозарской войны и не золотом его соблазнил, но мыслью о завоевании земель. Святослав пошел в Болгарию, и взял ее, и оставил себе, пожелав в городе Переяславце на Дунае сделать середину своих владений. Кто знает, думалось Мстиславу, что получилось бы, если б империя сумела, примирившись со Святославом, сделать из него союзника? Но ромеи подкупили печенегов, те подошли к Киеву, и Святослав вернулся, чтоб разбить степняков.

Когда дед вернулся на Дунай, Никифора Второго не стало. Его предшественник был отравлен женой, гречанкой Феофано, которая, как утверждали, превосходила красотой Елену Троянскую. Став сама базилиссой, Феофано, по расчету, взяла в мужа-соправителя полководца Никифора, бывшего на двадцать лет старше ее. Но вместо слуги нашла господина для себя и империи. Никифор укрощал знатных, отобрал лишние земли у духовенства. Их он смирил бы, но Феофано обещала родственнику Никифора Иоанну Цимисхию свою любовь и диадему базилевса за избавление и от этого супруга. Темной декабрьской ночью в снежную бурю Цимисхий в лодке подплыл к стене, ограждавшей Палатий с моря. Заговорщиков подняли вверх в корзинах, они прокрались в покои Феофано, ведомые евнухами, ворвались оттуда в спальню Никифора, у которого заранее выкрали оружие, и выместили на нем свой страх.

Наутро палатийская охрана и ближние сановники признали Цимисхия базилевсом, но, нечаянно для Феофано, столичное духовенство восстало под водительством патриарха. Цимисхию отказали в венчании на престол, пока он не очистится от подозрения в убийстве Никифора, пока не покарает убийц. Помощники Цимисхия отправились в вечное заточение, Феофано вместо нового мужа получила тесную келью в глухом армянском монастырьке, где монахини, не ведая и слова по-гречески, ужасались преступной затворнице. Цимисхий же дал клятву, что и в мыслях не пил крови Никифора, что Феофано обманом заманила его в страшную ночь, чтоб запутать в преступлении, и все свое

немалое достояние, до последнего обола, отдал на благие дела. Таков был второй соперник Мстиславова деда.

Святослав не только побил печенегов под Киевом, но взял многих в войско. Вернувшись на Дунай, он заключил союз с мадьярами. Овладев всей придунайской Болгарией, Святослав перевалил через горы, взял в плен болгарского владыку Петра, но под Аркадиополем многоплеменное войско русского князя потерпело поражение. Вытесненный из Болгарии, Святослав был осажден в придунайском городе Доростоле, заключил с Цимисхием мир и ушел за Дунай с двадцатью тысячами войска. А потом с дружиной в несколько десятков мечей, поднимаясь по Днепру, был он застигнут у порогов печенегами, подкупленными Цимисхием. Святославу исполнилось тридцать лет, таким он и остался в земном образе — ровесник своему внуку Мстиславу.

Буйствовало пламя, разрушая собственную свою опору, и твердое превращалось в летучее, видимое — в невидимое, и черными каплями скользило серебро, источаясь в огненные уголья. Иноплеменные дружинники, думая, что их князь приносит особую жертву, мысленно молились своим святыням: Немногочисленные русские шептали заклинания, так как в Тматорокани больше, чем где бы то ни было на Руси, жило разных древних обычаев.

Никто не знал, чьи тени являлись Мстиславу, никто не знал, что сожигается. Пепел костра напомнил князю о Цимисхии. На четыре года этот базилевс пережил Святослава. Богатырь и удачливый полководец, Цимисхий, воюя в Азии, выражал недовольство евнухом Василием, которому доверил управление на время отсутствия. И собственный лекарь Цимисхия угостил своего господина тайным зельем. Оно, не имея вкуса и запаха, убивает верно, но медленно: не угадаешь, когда тебя отравили.

Мстислав знал, что греки боятся его, как бы не отнял он Таврию, и был осторожен с дарами таврийцев. Он не собирался ни завоевывать греков, ни мстить им. Не за что мстить-то, по совести. А дела его на Руси.

Кострище засыпали, — по обычаю, каждый старался нарастить новый курган. Хан Туген не делился понятной ему тайной совершенного Мстиславом обряда. По осени печенег послал своих окропить черную землю семенами степных трав, чтоб заросла она поскорее и успокоилась навечно голодная душа Святослава.

Достигнув русских пределов, Мстислав шел строго, за все щедро платил. Под Киевом городская старшина дала

пир прибывшим и браталась со Мстиславовой дружиной. А в город не пустили. Ярослав был на севере, но киевляне оставались крепки верностью старшему сыну Владимира, и Мстислав ушел на левый берег. Черниговцы приняли с честью тмутороканского князя. Младший Владимиров сын был им люб, а Киев черниговцу не указ. Немногим уступая Киеву в древности, немногим Чернигов отстал и в обширности. Едва ли не день пришлось бы потратить пешеходу, чтоб, обойдя Чернигов, полюбоваться им со всех четырех сторон.

Мстислав не препятствовал выезду Ярославовых бояр, не тронул ничьего имения, обычаев ни в чем не нарушал и пришелся черниговцам по душе, как заказная рукавица на руку. Но со старшим братом никак не ладилось. Сколько ни пересылались послами, Ярослав твердил свое: тебе Муром, а из Чернигова уходи. Пока ты в Чернигове, любви между нами не быть. А раз нет любви, то быть войне, а там — как бог решит. Лето пошло на осень, осень на зиму. Ярослав, сидя в Новгороде, без спеха нанимал варягов, чтоб воевать с братом, а Мстислав удержал при себе дружинников-инородцев. Русские же земли жили своими заботами, не было нигде ни волнения, ни шума, ни какой-либо смуты. Русь оставляла князей спорить между собой своими же силами. На левобережье распоряжались Мстиславовы посадники, на правобережье — Ярославовы. Дела, большие и малые, шли своим порядком: киевляне по делам ездили в Чернигов, черниговцы — в Киев по своей полной воле и между собою не ссорились. .

Минул зимний солнцеворот, холода покрепчали и сбавили. День вырос, вот уж и с гор потоки прошли, а там и отсыялись люди. Ярослав с насмной дружиной пошел речной дорогой на юг и в начале лета высадился у слияния Сож-реки с Днепром. Мстислав вышел из Чернигова на божий суд с братом: кто кого одолеет, того и правда будет. Так задолго до этого столкновения решались подобные споры на всем Западе, до берегов Океана, и долго еще предстояло подобное.

Сошлись под крепким городом Лиственном. В разноплеменной дружине Мстислава братались яс и касог с хозарами, с беглым ромсем, с печенегом, с аланом, с абсагом. Было с ним небольшое число своих северских молодцов, охочих до драки. Такое же примерно число новгородских бобылей пополнило варяжскую дружину Ярослава. Русская земля встала стороной, не вмешиваясь, не помогая и не препятствуя, — пусть бог их судит.

Не дожидаясь дневного света, Мстислав послал своих на спор — у правды глаза зоркие, она и в темноте видит. Северских охотников Мстислав поставил в середине. Почув-
яв, что они связали пеших варягов, главную силу Яросла-
ва, Мстислав повел тмутороканскую дружину и сдал вар-
ягов с боков. При свете молний разыгравшейся грозы был
совершен быстрый разгром Ярослава. Бежавших не пресле-
довали.

Наутро Мстислав, объезжая поле, заметил:

— Вот варяг лежит, а вот — северянин, своя же дру-
жина цела.

Летописцы записали слова: впоследствии книжники
долго попрекали ими Мстислава, узрев пренебреженье к
русской крови. Если б книжники сами воевали не за стола-
ми, а в поле, то поняли проще, как было: даже в малом
бою, как под Лиственом, полководец сбержет для рше-
ния битвы сильнейшую часть войска. А этой частью у
Мстислава и была избранная из лучших конная дружина.
Но почему Мстислав не преследовал побежденных? О том
книжники и не подумали.

Ярослав вернулся к устью Сожа, дождался своих бегле-
цов из-под Листвена, погрузился на лодьи и отправился в
Новгород. Спор решился, и Ярослав не сделал и малой по-
пытки остаться на юге.

Мстислав со спокойной совестью мог устраиваться в
Чернигове навсегда. Он, зная Степь, стал заботиться о вос-
точных и южных рубежах Руси. Брату Ярославу он пред-
ложил вечный мир на тех же условиях: тебе — правый бер-
ег Днепра, мне — левый. Ярослав не мирился, выжидал,
Русь же жила, как жила. Ни один из путей не был пре-
рван, никому не чинили препятствий на дорогах, нигде не
было стражи, которая приказывала: не ходите туда, там
земля Ярослава либо Мстислава...

Следующим летом князь Ярослав приплыл прямо в
Киев, ведя сильное ополчение из новгородцев. Киевляне
радостно встретили любимого ими князя. Войны же не по-
лучилось. Новгородцы пошли с Ярославом для чести его,
чтоб не стоять ему перед братом голым, брошенным. Киев-
лянам тоже не было за что класть головы. Много собралось
бойцов, много оружия сверкало над Днепром, но ни одна
стрела не полетела и ни одного панциря не звякнуло под
мечом. Вняв уговорам своих, князь Ярослав переправился
на левый берег Днепра и встретился со Мстиславом в Го-
родце, что против Киева. Мир был заключен на том, с чего

начал Мстислав. Младшему брату досталось левобережье, старшему — правый берег.

Вскоре братья вместе пошли на ляхов. Русские червенские города, захваченные ляхами при Святополке Окаянном, вернулись к Руси. Литовцы, досаждавшие Смоленской земле, были побиты и оттеснены. Князья вернулись с большим числом захваченных пленных. Поделив живую добычу, они сажали их в своих уделах, заботясь о благе их во всем, чтоб стали они русскими. Как дальновидные правители, о новых своих они печаловались больше, чем о коренных.

Печенеги, опасаясь Мстислава, сидели в Степи смиренно, удерживая свою вольницу от набегов и от нападений на водных и сухих путях в Тмуторокань и Таврию.

Будто бы все бог дал Мстиславу — удачу, разум, телесную силу с красотой, храбрость и щедрую душу. Замечали люди — молод еще князь, а становится хмур. Болест? Нет, здоров и силен. Гадали — даровал Мстиславу бог высшую радость: жену прекрасную и добрую, но детьми не пожаловал — давал и брал во младенчестве. Только один сын, Евстахий, прошел через опасный возраст, но и тот умер в раннем отрочестве. Говорили люди: ужель род Мстислава окончится? И вспоминали притчи-сказания о неполноте земного счастья, которое никогда и никому еще не бывало дано без изъяна. Может быть, о том думали и князь с княгиней?

Старшие о младших так говорят: им расти, а нам стариться. Детям подобает, оплакав родителей, чтить могилы, но горя не длить. Что стало бы с человеческим родом, когда смерть старших лишала бы младших желания жить! Благое забвение тупит скорбь сына и дочери. Иное бывает с родителями. Княгиня Мария, смиряя горе молитвой и надеждой найти на небе своих маленьких, удалялась все больше от мирского. Князь Мстислав, добровольный и строгий вдовец при живой жене, стал любителем книг и мудрых бесед, чередуя раздумья с охотой. Замечали люди, что он зачастую отпускал зверя, что предпочитает он тишину черниговских лесов страстной погоне и любимому прежде единоборству с медведем.

На охоте Мстислав заболел огненной лихорадкой и покорно скончался под небом, завещав коснеющим языком:

— Слушайте брата Ярослава. он Русь любит более меня.

Черниговский епископ начал погребальное слово:

— Почему так случилось с тобою, Мстислав? Будто бы некто, отправившись полный силы в путь дальний, сказал не пройдя половины пути: нет, не хочу я больше идти... — Тут, прервав свою речь, владыка закончил: — Умер князь наш, давайте же плакать.

И сам плакал, и плакали люди, и вспоминали люди потом, как слезы лил и сам Ярослав — впервые.

Приняв выморочное наследство, князь Ярослав оставил в левобережных городах братниных посадников, а дружину Мстиславу взял к себе, ибо не было вражды и соперничества между боярами обоих князей.

Печенеги, со смиренной опаской взиравшие на Мстислава, решили, что настал их час, и в следующем, 1036 году пошли на Киев. Ярослав побил Степь в поле. Без задержки и без усталости Русь преследовала степняков долго, настойчиво. Тем и завершился последний прилив печенегов. Прежде уже надломленный в сражении при Альте, печенежский хребет был окончательно сломан. О печенгах забыли.

Русь подавалась на север, на восток, в малолюдные, пустые леса, разыскивая себе волю, которой, сколько ни дай, все мало. Сталкивались с иноязычными, дрались, мிரились, менялись, овладевали. Иноязычных было немного, слабые, разрозненные между собой, из них многие не знали самого простого — железа и хлеба. Зато в реках водилась рыба, будто в садках, зато дикая птица казалась испуганой, дикий зверь удивлялся двуногому гостю, и повсюду ловились пушные зверьки.

На Волге, при устье рски Которосли, князь Ярослав поставил новый город и дал ему свое русское имя. В другом краю, на северо-запад от Пскова, превратил невидное поселенье в крепость, которой дал свое крещеное имя: Юрьев — от Юрия.

Редкий правитель хочет зла людям, но редкий умеет делать добро. Так говорили ближние наблюдатели, которые невольно принимают дело за слово, слово — за дело. Кто подальше, тот об одном просит бога — чтобы ему не мешали.

Говорили, что князь Ярослав строил храмы, будто бы мог он что-то построить без общей воли, и не одних киевлян, но и других русских.

Отесанные камни кажутся одинаковыми. Нет, с каждым ударом меняются усилие руки и сопротивление камня. Прекрасно только разнообразие. Киев строил храмы, как хотел, удивляясь и радуясь. Князь Ярослав не строил для

себя крепкого замка, чтобы в нем засесть со своими. Строили храмы — для всех.

Надуваясь изнутри, Киев лился за стены. Земля дорожала, особенно в городе. Наследники, владельцы обширных усадеб с просторными дворами, с садами, с огородами между плодовых деревьев, уступали новоприезжим кусок другой земли за хорошие деньги. Не жаль. Через год, через два кляли поспешность: выждав, взяли бы вдвое.

С Сожа, с Припяти, с Десны, с верхнего Днепра плыли бревна и доски, готовые срубы домов. Сами расшивы были собраны кое-как, только доплыть, и тут же продавались для поделок, на дрова. Все покупалось.

Друзей князя Ярослава, новгородских плотников, киевляне встречали внизу, у пристаней, на ходу подрывая приезжих. Собрать дом просто. Никто не хотел простоты. Хотели, чтобы легло дерево к дереву, чтобы окна глядели, как очи, не щурясь, чтобы дверь — так уж дверь. На крышах коньки, петухи, звери, которых никто не видал, но живые. Хозяйка голову кое-как не повяжет, оконный наличник — повязка. Резные надворотные крыши, крылечные баясы, калитки.

Не от тесноты — для красоты ставили два яруса, в третьем — светелка. Печи лицевади обливным кирпичом. В домовом строении камень выталкивал дерسو. Равнялись по храмам.

Кроме городской земли и мастерства, все дешевело. Отовсюду, вёря бездонному киевскому чреву, везли всякий товар, от зерна и муки, говядины, дичины, солений, копчений, мочений, кож, мехов до пушинны, до щепного товара ценных древесных пород, до женских безделушек, украшений, забав, до детских игрушек.

Все покупали всё. Цены сбивались, но никто не страдал: рос оборот; получая меньше, каждый больше изготовлял, больше сбывал — отсюда прибыли.

Золото и серебро притекало, растекалось, вновь собиралось. Русская гривна сверкала вместе с монетой всех стран. Простодушному или чрезмерно умному могло показаться, что Киев лежит в середине земли, как гвоздь, зацепив за который петлю шнура, строитель очерчивает круг.

На севере конец киевского шнура ловили шведы, норвежцы. Шведский король Улав, или Олоф, отдал Ярославу свою дочь Ингигерду. Королевна принесла в приданое Корелию, и родственники ее верно служили Ярославу посадниками в северных городах. Другого короля, норвежского, тоже Улава — Олофа, Ярослав кормил в Киеве, когда нор-

вежду пришлось бежать от своих. Он с необдуманной поспешностью принуждал креститься людей, думая, что они его подданные, они же оказались своими собственными. Сын его, будущий норвежский король Магнус, воспитывался добрым правилам на дворе князя Ярослава.

От ляхов князь Ярослав вернул сторицей потерянное ранее Русью. В Польше был беспорядок, на благо соседям. Успокоилась Польша. Новый король породнился с Ярославом, отдав свою сестру в жены Ярославову сыну Изяславу, а сам просил себе в жены сестру Ярослава Доброгневу — Марию и отдал за нее последних русских пленников, увезенных королем Болеславом по попущенью Окаянного Святополка. Гаральд, дядя норвежского королевича Магнуса, долго жаловался стихами на холодность русской красавицы Елизаветы, дочери Ярослава, пока не склонил ее сердце рассказами об удивительных своих похождениях. Скрыв свое звание, Гаральд служил базилевсам, водил полки по Европе и Азии, воевал с арабами и турками на теплых морях. Звенели мечи и ломались копья в его рассказах. Через много лет, став норвежским королем, старый уже, Гаральд был убит в попытке захватить Англию.

Король венгров Андрей добился руки Анастасии, дочери Ярослава. Генрих Первый, французский, — Анны. Этот брак делал честь французам, королю только по имени, за жатому между вассалами более сильными, чем король.

За обиды, причиненные русским купцам, князь Ярослав послал морем сына наказать Восточную империю. Бури помогли грекам: русские разбились на море, но на обратном пути много русских кораблей было выброшено на греческий берег. В залог мира базилевс Константин Десятый Мономах предложил Ярославу породниться. Сыну Всеволоду была дана дочь Мономаха, светловолосая, сероглазая, белокожая. Тогда греки еще не испытали турецкой пяди.

Так жила Русь при князе Ярославе с севером, западом, югом, со странами, хорошо известными. Восток был как открытая дверь в неизвестное.

Ярослав насыпал валы, защищаясь с востока. Продолжая недавний труд отца и давних князей, он заботился о крепких стенах городов. Знал, что сами крепости не спасут, как не спасают они греков. Но крепостями он шел на восток, селил пленных на восточных дорогах. Осаживал на границе берендеев, торков, печенегов и прочих, названья которых переводились по смыслу: потерявшие дорогу, сбившиеся с пути. Никто не приходил с востока с един-

ством обычая и речи, нашествие рассыпалось пестроплеменными осколками.

И будто бы делал, и будто бы трудился князь Ярослав, пока не понял — не трудился, не делал, а жил, как умел, старался — и только.

Пониманье обозначило приход усталой старости. Тогда старый князь поспорил с летописцами, внушая им — не я делал. Не убедил. Книжники писали, как им легче было писать. Подражали ли они старым писаниям, не могли ли иначе, но сколачивали события, как тележник собирает колесо, и сажали собранное на чье-то имя, как сажают колесо на ось.

Что спорить, только устаешь от споров. Ярослав устал, сон не давал силы. Больше он не ездил верхом, забылась охота. Жалели его. Он знал, но не искал сожалений, давно он вырос из тех, кого можно и нужно жалеть.

Помнил разговор двух стариков, услышанный в юности.

«О смерти-то думаешь?» — один спросил.

«Нет, — ответил другой. — А ты думаешь?»

«Думаю...»

«И что же?»

«Страшно».

Много, ох много забылось, а такое запомнилось. Сам Ярослав часто смерти боялся. Сосчитай! Не сосчитать, памяти не хватает.

Закончив беседы с книжниками, которых он не убедил, Ярослав перестал бояться смерти.

Есть время сеять, есть время убирать жатву; есть время жить, есть время умирать. Так писал человек, из-за великой любви к жизни часто думавший о смерти, ибо был он от смерти далек, и боялся ее, и баюкал свой страх. Человек не семя, а жизнь не жатва, из дел человека получается иное, чем он замышлял, и пусть тебя осуждают, и пусть тебя украшают делами, совершившимися при тебе будто бы по твоей воле, — что тебе!

Почти всю жизнь князь Ярослав хромал, не замечая хромоты. Ныне ему не хотелось ходить, мешала хромота нога — пусть мешает.

Надосело говорить, распоряжаться, все он делал через силу, и привык, и делал через силу, про себя усмехаясь: надолго ль тебе будет нужна привычка? Не боялся он умирать, и в этом была его радость. Нет, какая же радость, проще и лучше — покой.

Ему говорил посол императора Германской империи:

— Твое величество совершило единственное в мире и неподражаемое дело. Все в Европе собирали законы былой Римской империи и клали их в основу своих законов. Ты собрал законы твоего народа, не внес и слова чужих законов, поэтому твои законы легче исполнять, чем наши.

Плохая жизнь, когда правда есть лучшая лесть. Германский посол заботился, чтобы Русь не усилила своими союзами чехов и ляхов, и льстил правдой русскому князю.

Стало быть, кто назвал поле — полем, реку — рекой, гору — горой, тот совершил великое дело? В русском законе — в Русской Правде собрана еще раз правда русских обычаев. И это неподражаемо? Германцы мастера на выдумки, Ярослав читал их законы: древнее слито с новым, недавнее со старым сплетено. Но — прочно все, проткнута шильями, шито, как драгвой.

Старый князь смотрел на германского епископа, посла императора. Хватит Ярославу и греческих епископов. Своих нужно ставить, только своих, спасибо послу. Завещал бы это старый князь, будь он еще далек от смерти. Но был близок и знал тщету завещаний.

«Все они почувствуют себя вольными, когда я умру совсем, — думал Ярослав, — такими же вольными, как дерево, которое считает, что само шелестит листьями, а не ветер».

Тогда-то он и полюбил поздней любовью своего брата Мстислава, который, будучи младшим, умер задолго до старшего, хоть и был богатырь. Было время, вскоре после смерти Мстислава, когда возник раздор с греками. Ярослав подумал: хорошо, что нет уже брата. Ярославов посадник, сидя в Тмуторокани, издали попугивал греков, но умеренно. Обмен и торговля не прерывались, Русь не страдала от разрыва с империей, таврийские греки от страха не смели наживаться против обычного. Мстислав же, думал тогда Ярослав, взял бы себе всю Таврию, а она не нужна. Жаль брата, пришел бы он в Киев, принял великос княжение. Ныне же — кому отдать?

Хотел бы — никому. Нельзя так. Может быть, Вселоду? Не будут его слушаться. Заранее князь Ярослав посадил сыновей по старшинству, переделывать не будет. Иначе начнут ссориться, будут толкаться своими дружинами. Надоедят людям, люди их прогонят, земли останутся разделенными, начнут собираться, пока не установят старый порядок: старший наследует старшему, по обычаю, свобода бывает только в обычае, а без свободы нет и жиз-

ни, погибнет Русь, изотрут ее, ибо она без свободы истлест изнутри.

Ярослав не приказал старшему своему Изяславу быть после отца единым князем Руси, хотя мог при себе приказать, мог, собрав всех сыновей, обязать по смерти его взять Изяслава как отца и связать их клятвами. Знал он соблазны и не хотел обречь сыновей на клятвопреступление.

Заранее, еще не познав ощущения смерти, князь Ярослав утвердил Изяслава в Киеве, Святослава — в Чернигове, Всеволода — в Переяславле, Вячеслава — в Смоленске, Игоря — во Владимире-на-Волыни. Сделал так, чтобы все они закрывали Русь с востока и юга от Степи. Новгород будет за Киевом, Тмуторокань и земли к востоку от Днепра — за Черниговом, Ростовская земля, Белоозеро и Приволжье — за Переяславлем. Уходя, изменять не хотел.

Митрополит упрекал старого князя:

— Нет силы в разделении. Установи закон о наследии Руси по примеру других государств. Быть кесарем-царем старшему сыну, когда государь умирает, не оставив распоряжения. Либо другому сыну, избранному отцом по закону. Либо постороннего рода человеку, коего государь укажет, установит, получа благословение Церкви. Не дели Русь. Не будет единогласия между твоими сыновьями, хотя и повелел им слушаться старшего и в очередь старшинства занимать киевский старший стол.

— Не будет, — согласился Ярослав. — Единогласие бывает лишь на кладбищах между могильными камнями: не спорят они. Сыновья же мои живы, но Русь я не делю. Как научить сыновей, чтобы Русь их держалась, не знаю. Не знаешь и ты.

Замолчал, вспоминая, сколько раз сидел в лодьях, которые гребцы из всей мочи гнали вверх по Днепру. Всегда спасался в добрый к нему Новгород. И дивился терпенью людей, что не бросают его, неудачливого. Будто любимая игрушка он. Не двумя тысячами гривен снятой подати купил же он их!..

Последние слова, видно, вслух произнес, так как митрополит переспросил:

— О чем ты? Не понял я...

— Да все о том, все о том, — ответил Ярослав. — Жесткие вы, духовные власти, на догме стоите. От жесткости до жестокости — звук один, буква малая. Писец, не углядев, лишнюю букву напишет либо упустит. А мысль, а

смысл! Вам бы все законы писать, приказывать, требовать. Ваше ли дело? Ваше дело учить, объяснять, добром убеждать, не законом.

— Церковь велит учить, убеждать. Она же велит приказывать и наказывать.

— Какая Церковь? Христова?

— Да, Христова, — утвердил митрополит.

— Нет, — возразил Ярослав, — власть духовно-светская, в греческой империи слитная. Не Христова церковь столько гнала, истребляла. Из-за этого так долго русские от вашей Церкви отворачивались. Веру мы взяли через вас, а законов не взяли. Таинство благодати при посвящении в сан взяли мы; а обычаи греков не взяли.

Митрополит сокрушенно закивал головой в черной скуфье.

— Так и патриарх в Царьграде кивал, когда я, собравши епископов, просил избрать блюстителем русской митрополии достойного из них, они же избрали русского, Илариона. Русь есть часть православной Церкви. Законы на Руси русские, русскими будут. А ты проповедуй, учи доброму в духе. Препятствуют тебе? Нет.

— Восточная империя была и будет во вски единственным и величайшим примером, кладезем мудрости всем государям. Как в лучшем, чему надлежит подражать, так и в плохом — во избежание, — отозвался митрополит. — Ты, кесарь-царь, по себе установи единодержавие, на благо. Держа при себе советников, государь должен один управлять.

Вздыхнул князь Ярослав, пришла его очередь покивать головой. Вспомнилась драгоценная Псалтырь, богато расцвеченная живописцами, подарок базилевса Константина Мономаха. Базилевс Василий, прозванный Болгаробойцем, на рисунке стоял в доспехах, с острым копьем, опираясь на меч. Над кровожадным правителем изобразили Христа, по бокам — херувимов, а внизу — подданных: фигурки крохотные, ползут на четвереньках, как щенки. Кругом головы базилевса сияние, как на иконах. С благим намереньем творили живописцы, молитвенно трудились, а что изобразили? Кошунство над Христом, над святыми, над верой! Не видят греки, собой ослеплены. Еще в Ветхом завете было сказано, что бог не дал Давиду построить храм, ибо Давид много крови пролил... Не захотелось напомнить. Молодые больше уверены в себе, чем старики, ибо молодость, не имея опыта, решает от разума. «Но что разум без опыта?» — в мыслях сам с собой обсуждал Ярослав, и, сидя

рядом со смертью, был еще жив, еще в памяти, и продолжал свою речь. То была исповедь, чего не понял жесткий митрополит, но князь не нуждался в сочувствии.

— Видал ли ты, отец, как золотильщик, построив легкие подмости, лазают по куполу, будто муха? — спросил Ярослав. — Что до золотильщика и храму, и куполу! Ничего он для них, они и без золота простоят. Не так ли и мы, князья? Лазаем поверху, видно нас, и кажется, что в нас все заключено. А купол дрогнет и золотильщика сбросит. Земля нас терпит по вековому обычаю, ибо привыкла иметь в князьях нужду. Не во мне суть, не в Ярославе. Но что я могу защитить и от кого, от чего. Меня ли Новгород не прощал, меня ли не защищал! Пришел Мстислав требовать доли в отцовом наследье. Собирался я против него — Новгород и не глядел на меня. Иди, пусть вам с братом будет божий суд. Я шел под Листвен с наемными варягами. Сколько-то было со мной русских, новгородских, из бобылей, охочих подраться. Но из домовитых ни один не бросил семью, чтобы мне помогать. У Мстислава была дружина из нерусских, да русские такие же, как у меня, кто на драку бежит, едва позовут. Им и досталось, пока Мстислав не сбил своей дружиной моих варягов. Прибежал в Новгород, новгородцы меня утешили: не робей, поможем. Зимой я пересылался со Мстиславом, а летом новгородцы спустились со мной в Киев большим войском. Зачем? Чтобы мне стыдно не было. Они тоже пересылались со Мстиславом, а мне сказали: будем вас добром мирить. Добрый он был князь, и брат добрый. В ссоре я был повинен, не он.

— Ты прощаешь брата как христианин, — одобрил митрополит и предложил: — Написал бы ты через писцов наставление сыновьям, как мне рассказывал о себе. Они бы вынесли себе поучение, как править.

— Знают они, что добро, что зло, — тихо начал Ярослав, — различают черное от белого, от красного... — и не закончил. Губы шевельнулись, желанья не стало. Не нужно. Митрополит упрям. Не понимает, что другие упрямы не менее. Каждый держится за привычное. Пока время не переменит людей, положение их, достатки и все, от чего у человека мысли, желанья...

Дешевый спор — о словах. Духовные больше других грешат словесными спорами из книг, такое их дело. Плотник рубит топором, книжник языком пилит душу. Читал Ярослав духовные и светские книги. Чтение дает знания, но ума никому не прибавит, коль его мало. Вот ученый человек митрополит, а пустяка не поймет: за то Ярослав бра-

га Мстислава при жизни его не любил, что был перед ним виноват. В сторону говорит духовный отец, на ветер...

Слова и дела, дела и слова. Уже не различал князь Ярослав разницы между ними, ибо мысли его чудесно воплощались в видения дела. Он уже встал на порог. Ноги как ледяные. Или кажется? Не хочется пошевелиться, чтоб посмотреть, язык не хочет сказать. Взять легко, любить трудно — терпения много нужно для любви. Не стало у старого князя больше любви ни к чему, остыл он совсем, остались бесполезные знания себя и людей. Хорошо и легко, и пора, пора...

И, глазами позвав митрополита, шепнул коснующим языком:

— Ухожу. Читай отходную...

Книжник заранее знает, что кому делать, зачем делать. Потом обвинит — не так делали, будто бы можно сделать жизнь из заранее сказанных слов?

Духовные указывали и осуждали. Но не было образца, на который указывали, не было единой, благодетельной, самодержавной Империи. Не бывало и людей, кто поступал бы по-писаному, даже когда сам творил писания к общему примеру. Из действительно сущего — из Империи, из людей — с помощью слов творили истинных ангелов: голова, крылья, руки, грудь, а прочего нет, прочее отсекается, как ненужное.

На них указывали, во имя их осуждали. Русь же, молясь по-новому, жила старым обычаем. Думала, что живет, и жила свободно, платя цену, называемую усамицами, беспорядком. В свободе трудно держаться порядка.

Как только не определяли человека в отличие от других животных существ! И двуногое без перьев, и общественное животное, и разумнейшее во всем мире существо среди других... Кем бы ни назвать человека, есть у него одно поистине дивное чувство: уметь видеть то, чего нет, и не видеть того, что есть.

Расписывая стеной живописью киевский храм Софии Премудрости, живописец Алимпий, известный мастер, разговаривал с Никифором, начинающим мастером, недавним своим учеником.

— Ты, Никифор, тайну ищешь в живописи, — говорил Алимпий. — Подумай: собака, лошадь, кошка, как ни умны, но не видят ни нарисованного, ни изваянного. Глаз же у них куда зорче, острее людского. А человек видит. У че-

ловеска глаз добавляет свое к нарисованному. Вот тебе и вся тайна. Мы ко всему прибавляем свое и говорим: знаем истину. Однако же каждый знает истину, но — свою.

— Не богохульство ли? — робко спросил Никифор. — Этак можно дойти до отрицания веры.

— Да я не о вере, о людях, — засмеялся Алимпий. — Лики Христа, богоматери, святых пишут на иконах по-разному. Ты против этого не можешь спорить. Найди, вырази по-своему образ — вот и открыл тайну. Поверят тебе, в нарисованное тобой, люди — ты мастер.

— Я бога силюсь видеть в духе, — сказал Никифор.

— Зри в духе, но пиши в красках земных, коль живописец. А еще ты должен всегда знать, где добро, где зло, иначе не будет в руке силы, — посвящал в тайну Алимпий младшего товарища.

— Зачем это, не пойму? Все знают, где добро.

— Нет, — возразил Алимпий. — И вот тебе пример: для князя добро, когда казну набил, а для людей добро, когда у них деньги, и нет им печали, что княжья казна пуста.

— Князю лучше судить.

— А другой говорит — мне лучше. Я, мол, хлеб рашу, ремесло у меня, деньги мои.

— Отдают же...

— Нельзя иначе, — сказал Алимпий. — А не захотят, не отдадут. Так где тут добро, а где зло?

— Как же мне быть-то? — потерялся Никифор.

— Живи в чистоте, — приказал Алимпий. — Взирая же на иконы древнего письма, молись, прося бога о помощи. И пронидай в образ. Христос, бог наш, описан плотию, а божественностью не описан. И я, человек во плоти, молясь на иконы, не краскам молюсь, но сквозь целостность образа возношу свой дух ввысь. Здесь тайна. Посему не утруждай ум словами, но душу свою зажигай. Истинно тебе говорю: мысли, работая, что телесность есть лишь предлог...

По отцу и сыну честь. Никто не дивился на Русь, которую Ярослав будто бы раздал своим сыновьям. Не было раздачи. Все осталось на своем месте, ни одно вече не собралось, дабы обсудить разделенье открывшегося наследства, — не было наследства. Не щевельнулись беспокойные новгородцы. Еще более беспокойные, но менее дружные киевляне не увидели повода для шума и жалоб. На кня-

жом дворе старший сын заменил отца. Обычай был за него, как привыкли от времени, когда род—большая семья — был и владельцем угодий, и собственным своим судьей.

Каждый мог по-прежнему заниматься своим делом, так, как знал, умел и хотел. Митрополит — грек, с греческой мечтой о возможности на Руси единовластия, будто бы такое единовластие существовало в империи, — не обратился с речью о своей мечте ни к кому, разве что к какому-либо соотечественнику.

Добровольные вестовщики-глашатаи не судили о распоряжениях Ярослава, духовные отцы в храмовых проповедях не вмешивались в светские дела. Ярославова дружина поделилась своей волей между сыновьями, по старине дружинник сам себе голова.

Ярослав умер. События же не было: прах вернулся к праху.

Вскоре, в 1056 году, за отцом последовал Вячеслав Ярославич, который сидел в Смоленской земле. По общему совету между четырьмя князьями Ярославичами, младший из них, Игорь, перешел в Смоленск, а освобожденный им Владимир-на-Волыни был дан Ростиславу Владимировичу, сыну Владимира Ярославича.

Владимир Ярославич скончался при жизни отца. Он не занимал, как понятно, старшего киевского стола, и его дети, по этой причине, выпадали из обычной очереди наследования. К таким применяли название — изгой.

В русскую старину изгоями называли родовичей, которые почему-либо отрезались от рода. По своему ли желанью они уходили из рода, устраиваясь жить своей волей, за свой страх, или изгонялись за проступки, они одинаково уподоблялись птице, лишившейся пера и пуха: гоить — значит, ощипывать птицу.

Изгоями называли людей, честь которым не шла по отцу. Изгоем оказывался холоп, получивший вольную, до времени, пока не устроит себе нового быта. Неграмотный попов сын, не получивший священства, тоже изгой. Научись, дадут тебе сан, будешь как отец.

Изгойство пристало к князьям по мере естественного увеличения их рода. Князьям-изгоям приходилось довольствоваться милостью старших, равноправие сменялось подручничеством. Многие довольствовались положением дружинника, начиная с младшей дружины, но не всем такое приходилось по душе.

Посадив во Владимире Волынском Ростислава, князя-дядя будто бы поставили изгоя в один ряд с собой, и поступили они так не случайно.

Иногда говорят, что вышел сын ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Не в укор матери: людская порода изменчива, в том-то и дело. Всей стáтью Ростислав Владимирич пошел во Мстислава Красивого, брата своего деда Ярослава, того, кто княжил в Тмуторокани, а потом взял себе днепровское левобережье и умер без потомства.

Во Владимир к Ростиславу потянулись известные бояре-дружинники. Князь поглядывал на ляхов, ожидая случая людей посмотреть и себя показать. Смерть Игоря Ярославича в Смоленске изменила виды Ростислава. Он счел себя вправе быть перемещенным в Смоленскую землю, коль, по всей правде, дядя поставили его в один с собою ряд. Но был он оставлен во Владимире и понял, что положенье его не имеет прочного будущего. Придет день, и дядя уведут его из Владимира, чтобы поставить там хотя бы старшего из сыновей Изяслава Киевского. «Кто ж я? — спросил себя Ростислав и ответил: — Подручник-изгой», и оглянулся вместе со своими дружинниками на Тмуторокань.

Малый кусок русской земли, остров за Диким полем, который приторочили к Руси, как всадник торочит суму к передней луке седла, вошел после кончины Мстислава в Черниговское княжество. Святослав Ярославич Черниговский посадил своего сына Глеба держать в Тмуторокани золотое Сурожское горло.

Ростислав появился в Тмуторокани будто бы неожиданно. Благоразумный Глеб Святославич, до которого доходили слухи о персылке между Ростиславом и коренными тмутороканцами, уступил без драки место своему двоюродному брату: у Глеба не было в Тмуторокани ни друзей, ни врагов, а у Ростислава нашлись благоприятели.

Глеб вернулся к отцу в Чернигов, и Святослав пустился сам выгонять племянника-самовольца. Дойди дело до боя — еще неизвестно, за кем осталось бы поле. Память о Святополке Окаянном была еще горяча. Ростислав был и умен, и благоразумен, чтобы опорознить себя усобицей и порвать связь с Русью. Такое Тмуторокань поставила ему в заслугу, а дружина воздала верностью.

Князь Ростислав ушел с дружиной к востоку, за кубанские камышовые заросли — плавни. Святослав застал в Тмуторокани тишь и мир. Чудно! Размахнулся, а бить не-
Говорил Святослав с тмутороканскими боярами. Те

свое: мы в княжеские дела не входим, если нас князь не обижает, так мы по старине привыкли, а князь нам нужен для защиты, ибо мы богаты, на жирный кусок всяк рот разевает. С тем Святослав и ушел домой, оставив Глеба на княжом дворе, будто бы ничего не случилось.

Ничего и дальше не случилось. Едва неделя минула — опять Ростислав в Тмуторокани. Говорили они с Глебом дружески, ели-пили несколько дней, судили о княжеской жизни. Ростислав, будучи старше Глеба, побеседовал младшего в спорах и проводил его с честью в Чернигов. Глеб ушел без злобы, тмутороканцы погордились сноровкой испечь пирог по своей воле, не ломая печь, а Ростислав — умением добраться до меда, не давая пчел по-медвежьи.

Говорят же — дважды одного и того же не бывает. И Святослав Черниговский, которого тмутороканское дело прямо касалось, и старшие князья молчаливо признали за Ростиславом Тмутороканское княжение. Выждать нужно, предоставив решение времени. Излишней поспешностью дело испортишь, пусть же оно само себя разрешит. Для Руси была нужна Тмуторокань сильная и спокойная, и с Тмутороканью и через Тмуторокань шел сильный торг, на Руси много народа кормилось Тмутороканью. Свою семью Ростислав оставил во Владимире-на-Волыни. Обижать ее было не за что. Да и не следовало. Княжение осталось за Ростиславом.

По сурожским степям прошел слух: в Тмуторокани воскрес князь Мстислав Красивый, Мстислав-богатырь. Отозвалось на горах. Ростислав ходил по Кубани, по Тереку, до Каспийского моря. С малой кровью князь наложил старую дань на касогов. Ростислав ходил повсюду, знакомясь с землей, в горных долинах он останавливался не перед людьми, а перед кручами, недоступными для коня.

На песнь красавицы тянет горячую юность, бурное, но краткое кипенье молодой крови. К Ростиславу, как к Мстиславу, потянулись витязи разных племен, но одинаково способных к долгому накалу иной страсти. В Тмуторокани что-то готовилось, бродили новые силы, открывался простор для широких замыслов.

Воинственный будто бы князь и в книгах был начитан, и в жизни ласкался к людям, которых Восточная империя называла пребывающими у бога: к земледельцам, к ремесленникам, к рыбакам. Тмуторокань была еще островом, но нее было все свое: хлеб, скотина, соль, рыба, железная руда. Не было меди, золота, серебра, но достоинства Тмуторокани хватало, чтобы добыть их столько, сколько захочет.

Или — схватить левой рукой, держа в правой — железо. Князь Ростислав и дружина глядели на восток и на свой близкий север, в Дикое поле. А греки глядели на Ростислава с запада.

В сотне верст на запад от Корчева, в узком месте Таврии, лежал невидимый пояс тмутороканской границы: по кос-как приметным холмам, по сухим долинкам, прорытым когда-то речками, что ли. Здесь нет ни рек, ни ручьев, ни ключей. Найти колодезем сладкую воду — редкая удача. Чаще всего вода горьковата, но можно привыкнуть. Тут хозяева боятся обидеть прохожего. Было же: от горького проклятия обиженного посолонел колодезь и пришлось бросить именье. Жалел хозяин: хлеб родился хорошо.

Дальше — греческая Таврия. В ней, как в столице Восточной империи, население разноязычно, многокровоно. Действует старая греко-римско-византийская хватка. Нет былой силы, осталось искусство. Старый певец и без голоса чарует уменьем передать смысл песни — престарелый борец валит соперника ловким приемом, обращая против него его же силу. Так имперские служащие не выпускали Таврию из своих хилых рук. Здесь империя обвивала подданных не беспощадным удавом, а лукавым плющом, который издали кажется милым, а юным поэтам является образом верности. Власть бывает обязана уметь допускать иное, соблюдая приличия. Как старый муж закрывает глаза на шашни молодки-жены. Побесившись, вернется к утру, печь истопит, все изготовит. Где же была? Подруга-де заболела. Кто кого обманул? Пусть смеются соседи!

Говорят, будто Власть имеет высокие задачи: правосудие, благосостояние подданных, сношения с другими государствами, оборона и прочее. Главное главного — собрать деньги подданных, истинный герой тот, кто выдумает новый доход в дополнение к прежним.

В городах греческой Таврии стояли гарнизоны из наемных солдат, и жителям не возбранялось иметь оружие. Войска было недостаточно для наступательных войн, но должно было хватить для обороны с помощью жителей. Несчастье сплачивает, и, вопреки мненьям толпы, в годы войн власти легче держаться. В мирные годы власти империи в Таврии население помогало иным способом — своей разобщенностью. Иудеи не ладили с хозарами, считая, что

хозары искажают закон Моисея: еретик хуже язычника. Потомки готов свысока глядели на всех, кто не гот. Роды угров, торков, печенегов в степной части Таврии владели обособленными летними кочевьями и зимовьями на холодное время года.

По южным склонам гор, в горных долинах и в защищенном стенами юго-западном углу властвовал греческий язык, здесь прочно сидели греки и огреченные земледельцы — садоводы, виноградари — и ремесленники. Производимое ими, а не имперские солдаты, держало за империей степную Таврию. В портах Бухты Символов¹ и в глубоких бухтах севернее ее находились обширнейшие склады, пристани — собственность составлявших сообщества сотен купцов. Отсюда производилась торговля с Русью и со всем побережьем Русского моря.

Греческая Таврия походила на человека, стоящего на берегу моря. Толкните — и она сделает два-три шага, чтоб удержаться на ногах. Лишний шаг — и он упадет в воду. Он здоров, полон сил, но жизнь его зависит от силы толчка.

Узкая засушливая степь Таврии не привлекла к себе главные силы гуннских, угрских, печенежских, болгарских конных толп. Поэтому с ними даже дружили дружбой, основанной на подарках, на неразорительной дани, главное — торговлей, обменом обычного для кочевников на невиданное ими. Таврии был бы опасен оседлый сосед, не завоеватель, а присоединитель.

Мстислава Красивого греки любили, холили. Восхищались удалью, умом, дальновидностью. Дарили князю оружие; княгине — красивые вещи, ароматы, притирания. Узнав, что русский князь строит храм в память победы над касогами, правитель Таврии без намска от Мстислава прислал резчиков по камню — умельцев тесать и полировать мрамор — и сам мрамор, а также живописцев. Княгине — златошвеск по шелку. Приезжали умные собеседники для застольных бесед. Привозили книги.

Да, любили греки Мстислава. На руках висли с поцелуями, на губах его — чуткими ушами. Вдруг охладели, а Мстислав и не заметил. Ему было не до греков. Он в Тмуторокани растил свою славу, думая не о Таврии, а о Руси. Проверив, перепроверив, греки убедились: этот для Таврии не страшен, нечего на него тратить.

¹ Иыне — Балаклава.

Не рано ли отнята ласкающая рука? Слабые беспокойны и подозрительны. Правитель Таврии поздравил себя и начальника войск лишь после верной и не первой вести о том, что, взяв левобережье Днепра, князь Мстислав остается на Руси.

Мстиславовы посадники и посадники князя Ярослава, назначаемые для наряда людям и для порядка, не тревожили трепещущие души таврийских правителей. Побояиваясь самих тмутороканцев, греки наблюдали, чтобы в постоянных торговых приездах никого из соседей не обидели. Стало страшно, когда империя задела князя Ярослава. Обошлось.

После смерти Ярослава вместо служилого посадника в Тмуторокань приехал князь Глеб Святославич. Пошупав, что за человек, греки решили, что молодой князь для них безопасен. Этот — как все. Любит посмотреть на морскую пену да послушать волну — тоже диво нашел! — тешит на море свою душу острогой, на сухом пути охотится с коня. Глебу, по русскому обычаю, который на Руси заменяет закон, уготован прямой путь, по отцу. С Глебом были любезны: слова любви и подарки, как небогатому родственнику.

Очевидное не стареет и не надоедает: надоедают докучливые напоминатели, в чем сказывается греховность рода людского.

Правитель обязан предвидеть. Разве такое не очевидно! Тысячу лет в тысяче разных мест, не только в Таврии, изобретали способы предвиденья. К размышленьям о том, что может сделать такой-то мой сосед, если я не сделаю то-то или сделаю то-то, добавляли лазутчиков, ибо вызвать — тоже значит предвидеть. Древнейшая специальность — лазутчик, и никакие другие.

Будущее старались вызвать наукой. Лучшие ученые занимались предсказаниями. Если следующим поколениям и казались смешными способы, применявшиеся предшествующими, то ни одно поколение не избежало пренебрежительной иронии последующего.

Нельзя обойти вниманьем ни соседей, ни подданных. Если войны не всегда были результатом ответа, который давало испытываемое будущее, то очень много тайных расправ и все казни за выдуманные вины были следствием предвиденья, осуществленного Властью.

Первое появление князя Ростислава в Тмуторокани было для таврийских греков интересным происшествием. Есть о чем поговорить дома, на торгу, со знакомыми. Есть

лучай показать знание Руси и русских. Насильственное, но бескровное удаление князя Глеба увеличивало интерес к событию. Смена правителей — игра. Один так поставил войско, другой — так, первый пошел туда, второй — сюда. Переговоры. Подкупы.

Примеров было достаточно. А людей, рассуждающих о делах правителей, всегда больше, чем кажется, когда смотришь на толпу, дивясь общей тупости лиц: стадо баранов...

За успехом князя Ростислава последовала неудача его и — опять успех. Все время без крови. Такое придавало блюду вкус, тревожный своей странностью. Присутствием при споре на непонятном языке с непонятными жестами. Скифы... Скифами называли русских не только многие обыватели Восточной империи, но также историки, писатели.

Скифы сыграли добром в злую игру смелы власти. Здесь что-то кроется.

Со времени ухода из Тмуторокани князя Мстислава Красивого прошло сорок лет¹. Юноши, став стариками, нашли Ростислава похожим на Мстислава внешностью, воинской доблестью и доброй щедростью: щедрость правителя есть признак государственного ума или расчета.

За сорок лет сменилось несколько правителей Таврии. Каждый был обязан предвидеть по должности и в соответствии с правилами для правителей, созданными в Канцелярии Палатия.

Восточный ветер без устали тащил тучи во много слов. Верхние устало тянулись, как караваны, выбившиеся из сил на многодневном пути. Нижние, грязно-седые, лохматые, спешили изо всей мочи, комкаясь, мня очертания каждый миг. Они сливались; разрывались, падали ниже и ниже, не сокращая буйного бега.

Буря. В море есть нечто вешее: оно обладает даром предчувствовать бури. Море начало волноваться с вечера, узнав о замыслах черной гостьи за половину суток до ее появления. Задолго до первых порывов ветра море стукнуло в берег, предупреждая: берегись! Бесспорно, ветер поднимает волны. Но что поднимает волны, когда ветер еще так далек? Предчувствие моря. Оно знает и само производит волны, тем самым вызывая ветер.

¹ 1024—1064 гг.

Подобными рассуждениями Наместник Таврии Поликарпос встретил гостя, явившегося к нему по долгу службы, и закончил так:

— Кажется, я невольно вернулся к известному софизму: что было раньше — яйцо или курица? Что скажет мне об этом уважаемый стратегос?

Собеседник Наместника Константин Склир не был облачен званием стратегоса. Таврия была слишком мала, все ее гарнизоны составляли немногим более полутора тысяч солдат. Не хватало даже на турму в пять тысяч. Склир носил звание комеса, или катепана, лишь потому, что таврийское войско составляло отдельную армию. Поликарпос величал Склира стратегосом из вежливости. По тонкости столичного обхожденья было принято повышать званье собеседника даже на несколько ступеней. Провинция не хочет отставать от столицы.

Склир усмехнулся:

— Мне угодно полагать, превосходительнейший, что они существовали одновременно — и курица, и яйцо. Курица не могла появиться без яйца, яйцо не могло появиться без курицы, не так ли? Мы не соревнуемся в богословии, превосходительнейший, поэтому замкнем круг.

— Замкнем, превосходительнейший, — согласился Поликарпос.

По привычке сияя благодушной улыбкой, он легко дарил Склиру и титулование, на которое у комеса не было права.

— Замкнем, замкнем, — повторил Поликарпос. — Скажу тебе, я в известном смысле хотел бы быть морем. Оно предвидет. А я, грешный? — Поликарпос сокрушенно ударил себя в грудь. И, по привычке изображая шута, хлопал себя по тугому животу.

Склир расхохотался. На его не слишком вежливый смех Поликарпос ответил взрывом хохота.

С таким небом, с таким морем империя, казалась бесконечно удаленной от Таврии. Вчера в Херсонесский порт вошли корабли, одолев менее чем за три дня расстояние от столицы до колонии. Старший кормчий пересек Русское море, пользуясь устойчивым южным ветром. Буря казалась, решила подождать.

— Успех сопутствует храбрым, — приветствовал моряков Поликарпос и осторожно оговорился: — Как утверждают поэты, не более.

Тоже предвиденье. Чье? Кормчего? Корабли были в открытом море, когда буря созрела в Колхиде. Гнездо вос-

точного ветра, как знали таврийцы, находится в ядовитых колхидских болотах.

С кораблями прибыл посланный из Палатия маленький человек с большим приказом, содержание которого Поликарпос ощутил еще не читая: базилевс Константин Десятый сокращал расходы. Вторично за недолгий срок своего величественного правления. Так он начал, так будет продолжать. Действия базилевса были понятны Поликарпосу, ведь они с базилевсом были старыми знакомыми, если такое слово применимо к отношениям между низшим и высшим. Впрочем, рассказывал же один кентарх — с гордостью! — как главнокомандующий, старый приятель, однажды дал ему такую оплеуху, что каска с головы кентарха отлетела на пятнадцать шагов.

Так ли, иначе ли, но Константин из знатной семьи Дука шагал по вершинам палатийских канцелярий от высоких званий к высшим, когда Поликарпос лез снизу, как червь. Он сам был свой предок. Нужно сказать правду: Поликарпосу помогали гибкий ум, способность учиться, быстрая сообразительность, ловкое шутовство, искренность. Натянутый, напыщенный Константин Дука покровительственно ласкал круглые щеки способного исполнителя. Угадывать мысли начальства — что это, предвиденье? Если Поликарпос и дерзал предложить что-либо свое, то лишь для потехи начальника.

И вот он Наместник, Правитель Таврии. Разве такое плохо? Известно ли, что для умных людей быть шутком пред высшими есть способ возвышаться не рискуя? Нет, неизвестно.

Бог наградил Поликарпоса умом, цветущим здоровьем. И пятью детьми, чем Поликарпос оправдал значение своего имени — многоплодный. Впрочем, десятки миль исписанных им пергаментов тоже плоды.

Чем пополняет Константин Десятый секретную летопись, изустный хронограф палатийских канцелярий? Есть мелочи быта базилевсов, которые не доходят до простых подданных, ибо разглашение их опасно, а содержание не будет понято: не поверят. По закоснелым мненьям подданных, великие — велики. Рассказывая им мелочи, приходится помнить правило: не говори кочевникам о горах, ты прослынешь лжецом на всю Степь.

Вот, например, Лев Исаврянин, Иконоборец. Сын севкийского сапожника, он, начав служить в войске, поднимался к диадеме снизу, со дна людского моря. Друзья таких людей, как листья, осыпаются наземь с ростом дере-

ва. По какому-то случаю Лев, будучи уже базилевсом, вспомнил о некоем Дамиане, друге юности. Дамиана нашли в тюрьме; давно став священником, он подвергся каре за неповиновение указам об отмене икон. Его извлекли из тюрьмы и доставили в Палатий.

— Но почему же ты, иконопочитатель, в мирском платье, а не в рясе? — смеясь, спросил базилевс Лев.

— Величайший, я боялся разгневать тебя видом рясы, — объяснил Дамиан.

— Так, значит, ты боишься меня больше бога, — заметил Лев и щедро наградил Дамиана, разрешив ему жить в столице и даже почитать иконы, но не соблазняя других.

Когда клеветники попытались оговорить Дамиана, Лев отверг их, говоря:

— Дамиан доказал свою преданность мне, вы же только клянетесь.

Или Василий Первый, Македонянин. Он в юности пахал землю вместе со своим отцом. Людей, встречавшихся ему на пути к трону, тоже можно уподобить листьям. Кто-то из таких, быв обвинен в заговоре, сумел напомнить о себе Василию, заверяя базилевса в своей невинности. Василий повелел:

— Пусть он признается, и тогда освободите его.

Заключенному сообщили волю базилевса. Приняв слова судей за уловку, невинный упорствовал и умер под пытками. Базилевсу доложили, и он укоризненно сказал:

— Ай-ай! Какой же он был гордый!

Конечно, гордость принадлежит к числу смертных грехов, смирение же — не только добродетель, но и необходимость.

Поликарпос радовался возвышенью Константина Дуки. Новый базилевс не станет менять Наместника Таврии, пока тот не провинится. Старые знакомые по Канцелярии сообщили Поликарпосу благоприятный отзыв о нем нового базилевса. Дружба с нужными палатийскими сановниками поддерживалась дарами, нет, подарками. Пока о Наместнике Таврии будут судить по его докладам, по поступлению налогов, Таврия будет за ним: уменьше докладывать необходимо, к нему Поликарпос добавлял уменьше справляться с наместническими обязанностями. Велик ли базилевс или ничтожен, пусть разбираются потомки. Современники обязаны слушаться, чтоб выжить, — иначе не будет потомков, вот как!

Указами, доставленными из Константинополя, Константин Десятый повелсвал Таврии вдвое уменьшить рас-

ходы на поддержанье крепостных стен. Начав правленье, базилевс уже уменьшал эти расходы, и тоже вдвое. Приказывалось также сократить численность войска на триста солдат. Взамен следовало обязать военной службой по первому вызову шестьсот обывателей из числа обладающих годовым доходом, равным поступлению дохода с сорока югеров пахотной земли, с чего бы такие доходы ни получались.

В подтверждение того, что требованья не предъявляются вслепую, были приложены расчеты, извлеченные из налоговых реестров, посылаемых в Канцелярию Палатия канцелярской Наместника, о доходах с торговли, промыслов, ремесел, от виноградников, садов, пахоты, скота, от того и другого для обладателей смешанного имущества. Поликарпос замечал ошибки в расчетах, описки, неправильные итоги. Наместник Таврии живо представил себе Канцелярию, задыхнувшуюся под бременем работы, обрушенной на нее этим «базилевсом от Канцелярии». Такой отучит их спать! Что Таврия — меньше ногтя мизинца на теле империи, и то запутались. Они перетряхивают все! Сановники погружаются в думы, извлекая новые откровения — где сколько взять, сколько срезать. Все делается срочно и бесповоротно. Переутомленные писцы и счетчики совершают невероятные ошибки, зато все кипит, империя мчится к великому будущему на бумажных парусах. Да будут благословенны боги папируса, пергамента и туши!

— Вонючий козел! Святейшая каракатица! Обезьяна, гадающая на папирус! — изощрялся Константин Склир. — Как же тут отвечать за безопасность Таврии? Вместо стен, боевых машин, солдат базилевс приказывает дружить с соседями, ибо мир дешевле войны. Вызывать замыслы соседей и вносить смуту в их ряды? Попробовал бы сам!

А Поликарпос, разыгравшись, представил в лицах Константина Канцелярского на троне. Таврийский Наместник обладал талантом мима, и образ Константина ему давался, хотя тот был высок ростом и сухощав, а добровольный мим короток и толст.

Мимические способности Поликарпоса когда-то ценились начальниками. Минута забавы между делом весьма освежает, когда передразнивают соперника.

Что же касается империи и базилевсов, то подданные, особенно из удостоенных близости к Власти, привыкли отделить себя и от империи и от Власти. За рабские платили по-рабски — насмешкой, издевкой, рассказами, входящими в изустный хронограф, подобно событиям с друзьями

юности базилевсов Льва или Василия. Самозащита подавленной личности, самопомощь, которую не следовало осуждать.

Двосм, без третьего свидетеля, позволяли себе многое. За исключением такого, что можно проверить, когда собеседник донесет.

Поликарпос издевался, но об ошибках в указах он никому не скажет, это тайна между ним и Канцелярией, неприятная для Канцелярии, опасная для Наместника. Что же касается повинования, то оно было обеспечено. Таков признак подлинной Власти: ей повинуются даже с ненавистью к ней. У Поликарпоса ненависти не было.

Комес Склир задыхался от злости. Для него Поликарпос был удачником, человеком великолепной карьеры. Сановник пятого ранга Поликарпос зависел от Канцелярии, действие которой постоянно. Сам Склир был поставлен Константином Девятым. Смерть этого базилевса оставила Склира беззащитным: произвол благословляют, когда он даст, и ненавидят, когда он бьет.

Константин Девятый был больше чем другом Склиров. Женой сердца этого базилевса была Склирена, с ней он въехал в Палатий, к ней вернулся из храма Софии после венчания с базилиссой Зосей, то есть с империей.

Его покровительством молодой Констант Склир из задних рядов этой семьи и из кентархов — сотников шагнул в комесы Таврии. Было от чего возгордиться. Прибыв в Херсонес, комес небрежно похлопал по круглому животу Наместника Таврии, своего начальника. В империи была табель о рангах и почитаниях, но империи не было б без Божественного Произвола: в поддержке свыше. По словам умных людей, как Поликарпос, табель о рангах предвидит, но в ее предвиденье нужно уметь вносить поправки.

Менее всего Поликарпос мог оскорбиться дерзостью двадцатипятилетнего комеса. Через год, через два Склир шагнет дальше, храня добрую память о веселом, жирном и скромном Правителе Таврии. Но вместо полета на парусах, вздутых ветром высокого покровительства, корабль судьбы Склира сел на мель. Базилевсом стал Исаак Комнин. Этот, сам полководец, умел ценить военных, за Склира похлопочут. Заболев, Исаак вручил диадему Константину Дуке, и звезда удачи Константа Склира повисла над морем. Еще одна волна разобьет корабль о мель, и слабый огонек утонет совсем.

Сановник, лишенный поддержки свыше, чувствует себя, как баран, если предположить, что баран знает свою

судьбу быть постоянно стриженным и однажды зарезанным.

А буря над Таврией все крепчала. Волны били Херсонесский мыс, хотя ветер был с востока. Но ведь ветер не один, это стая. Даже тучи метались от вихрей. Как в свалке, когда удары падают со всех сторон.

Глубокие херсонесские бухты-заливы считаются лучшими в мире среди моряков. В любую бурю они безопасны, и рыбаки ловят рыбу. Недаром некогда мегарские греки построили стену в десятки миль длиной для защиты херсонесских бухт и большого куска земли вместе с отличнейшей Бухтой Символов. Последующие обладатели надстраивали стену с ее десятками башен. Она стала бы восьмым чудом света наряду с египетскими пирамидами, колоссом Родосским и другими, не будь Херсонес на краю этого света в годы составления списка чудес.

— Хотя бы подновить стену...

— Зачем? — спросил Поликарпос.

— А русские? — ответил Склир вопросом.

— Ты гадаешь на Ростислава?! — сказал Поликарпос и прикусил язык; глупо подсказывать. Что ж, пусть Склир выговорится, пусть тешится своим умом.

— Да, да, — подтвердил Склир. — Я убежден. Князь Ростислав хочет забрать себе всю Таврию. Мне рассказывали, он похож на Мстислава, которого здесь боялись. Мстислав ушел на Русь. Ростиславу туда нет дороги. Он не будет воевать со своими. У него, по русским законам, нет права на княжество. Русские из Таврии не пойдут за ним отвоевывать Киев. Но забрать нас — другое. Здешние русские будут с ним. Русский князь в Киеве будет только доволен.

— У нас мир с русскими, — заметил Поликарпос.

— Кто же соблюдает договоры, когда они перестают быть выгодными! Ты удивляешь меня, превосходительнейший!

— Ему невыгодно ссориться с империей. Империя пришлет флот и войско. Русские наживаются торговлей с нами, через нас. Вместо торговли Тмуторокань получит войну, долгую войну. Не могут же они победить империю! — не сдался Поликарпос.

— Не об этом я думаю, — с досадой сказал Склир. — Когда империя заставит князя Ростислава отступить, не будет ни тебя, ни меня. Впрочем, ты-то еще успеешь бежать, свалив все на меня. На что мне победа, если меня нет среди победителей, а? Что-то происходит. За послед-

ний месяц к русским убсжали сразу три десятка моих солдат. Из лучших.

— Плохие не бегут, кому они нужны, — согласился Поликарпос.

Склир не сказал ничего нового, обо всем этом Наместник думал: естественные мысли, когда граница близка. Более умудренный жизнью, Поликарпос воздерживался от решительных выводов. Действия людей гораздо случайнее, чем принято думать, часто поступки не имеют видимых поводов, разумных оснований. У солдат, у проповедников, у авторов знаменитых комедий все слишком просто: один сначала сделал что-то, чем вызвал ответное действие, из которого последовали дальнейшие события, вылупляясь одно за другим, как цыплята из яиц. Конечно, кое-что можно рассчитать заранее: когда виноградник даст первый сбор, какую прибыль даст продажа, сколько поросят принесут свиньи... Не совсем точно... Без подобных расчетов нельзя что-либо делать. Но это не предвиденье. Нужно остерегаться торопить события, которые не поддаются расчету, безопаснее, когда время ответит. Решительность Склира неприятна. Комес был слишком занят собой, чтобы заметить незнакомого Поликарпоса: без наигранной улыбки, без внимания к собеседнику лицо Правителя Таврии приобрело неожиданно значительное выраженье.

— Я хочу погостить у князя Ростислава, — сказал Склир.

— Хорошая мысль, я сам охотно поехал бы, — ответил Поликарпос, натянув маску незаметно для себя. — Ты поедешь сушей?

— Зачем? — удивился Склир. — Я поплыву. Как только стихнет буря.

— Летний дождь отмоет небо за три дня, — сказал Поликарпос. Он думал, что не сказал Склиру пригласить князя погостить в Херсонесе. Почему? И почему вообразилось, будто Склир может пуститься верхом через степь, под дождем?

Судьба, только Судьба. Болтовня о предвидении — шум и лесть для угощения вышестоящих. За последнее время милая Таврия стала какой-то неуютной. Поликарпосу не хотелось вспоминать, почему случилось такое, и он сказал Склиру:

— Знаешь, превосходительнейший, епископ Евтихий, предшественник нынешнего нашего святителя, который скончался за пять лет до твоего приезда, любил говорить: бог должен был воплотиться в человеке, иначе лю-

ням пришлось бы совсем пропасть. Ибо и богу нельзя было б понять свое творенье, и люди не могли бы понять бога.

Не найдя что ответить, комес Склир простился с Наместником. Поликарпос подумал: кто потянул меня за язык лезть в богословие! Этот Склир невыносим. Я не могу выдержать его и часа, чтоб не начать болтать глупости...

— Звезда комеса надувает наши паруса, — сказал кормчий. Он не льстил: иные даже вполне порядочные люди совершенно бескорыстно привязаны к пышным выражениям. Нечто вроде несчастной любви: позора нет, но для посторонних смешно.

Побушевав вволю, восточный ветер уступил место западному, и галера несла полный парус. Легкий корабль обгонял мелкие волны, поднятые ветром. Еще не утихшая крупная зыбь, катясь с юго-востока, поднимала галеру, опускала, и фонтаны брызг взлетали по сторонам острого бивня.

— Проходим Алустон¹, — сказал кормчий кратко. Он был немного обижен невниманием комеса и решил, по евангельскому выражению, не метать бисера перед свиньями.

Невидимая морская дорога была проложена на Сурожский мыс, и галера шла в пятнадцати—двадцати русских верстах от берега. Таврия стояла на севере сплошной стеной, с неглубокими седлами перевалов в степь, зеленая, но в переливах оттенков от весенней свежести цвета до черноватой бирюзы, с серыми, черными, сизыми лысынами скал. Зыбь падала на берега Таврии пенным прибоем, но расстояние скрывало подошву. Неподвижная Таврия стояла на неподвижном же пьедестале синей воды.

— Какое зрелище! Красивое, красивейшее! Радость глаз! — восторгался спутник комеса Склира, молодой кентарх. Человек хорошо грамотный, на виду, он был послан в Таврию недавно, прямо из Палатия, где служил в дворцовой охране. Почему? За что? Он сам не знал, и комес верил ему. Оговор. Либо неосторожное слово, невинное для произнесшего. Поликарпос сказал бы, вернее, подумал: власть подозрительна, ее решения случайны.

¹ Теперь — Алушта.

— Красивое, некрасивое, — возразил комес, — пустые слова. Их употребляют поэты в трех случаях: когда им нечего сказать, когда им хочется нечто сказать, но они прячутся под аллегорией, или когда, как ты сейчас, они прибегают к чужим словам. Все эти леса, источники, рощи, проливы, реки, дворцы, розы и прочее прекрасны воистину, если ты обладаешь ими или надеешься обладать. Если же обладание невозможно, плюнь на них, огадь, как сможешь, ибо они отвратительны. Загляни к себе в душу, и ты согласишься со мной.

Кентарх сделал протестующий жест.

— Хорошо, хорошо, — кивнул комес, — не будем спорить, прошу тебя.

Склир был лет на семь-восемь старше своего подчиненного, но казался себе тонким знатоком жизни и, если не терял самообладания, говорил, нет, беседовал ровным, расслабленным голосом, несколько в нос. Он продолжал:

— По возвращении тебе пора будет взглянуть, да, взглянуть и проверить наши посты в горах. Ты убедишься — твои красоты на самом деле не больше чем крепостная стена. Тебе придется побывать и там, и там, и там, — комес вяло указывал вдаль. — Ты исцарапаешься в колючках, собьешь ноги на камнях, будешь падать, обдерешь кожу на коленях. По ночам тебя будут есть москиты, ты опухнешь от их укусов. Днем тебе досадят мухи, лишив тебя покоя. От жары ты обопьешься холодной водой и расстроишь себе желудок. Поверь, после этого ты променяешь красоты божьей постройки на обыкновенную крепостную стену. Такую, по-твоему, уродливую, со скучным ровным ходом поверху, с прохладными башнями. Правда, там не пахнет розами. Ленивые солдаты не утруждают себя дальними прогулками. Зато нет москитов, и утром друзья действительно узнают тебя. Не притворяясь из сострадания, что узнают тебя только по голосу.

— Зато там у меня будут минуты радости, минуты наслаждения великолепными видами, — не соглашался кентарх.

— Друг мой, цени в сей жизни не минуты, а дни, — поучительно заметил комес, — только тогда пребудут с тобой благо и долголетие. Да, о долголетьи. В твоих красотах тебе будет жарко вдвойне. Ходить там трудно, да придется еще таскать панцирь и каску.

— Почему?

— Потому что до сих пор ты живешь будто не в Таврии, а в садах Палатия, — язвительно ответил комес. — В горной Таврии легко получить стрелу между ребер.

— Я здесь уже несколько месяцев и не слышал о подобном, — возразил кентарх.

— Во-первых, ты еще не бывал дальше Херсонеса и Бухты Символов. Во-вторых, ты много расспрашиваешь. Тебе рассказали об удивительных рыбах, которых, кажется, никто не видал. О чудовище, которое иногда нежится на песчаных отмелях, что на северо-западном берегу Таврии. У него тело, как у гигантской черепахи, лапы с когтями величиною с кинжал, шея толщиной в торс человека и длиной в пять локтей...

— И голова, как у змеи, размером с хороший бочонок. О чудовище я слышал от многих, — сказал кентарх.

— Верно, верно, — согласился комес. — Ты узнал и о звере, который приплыл в Бухту Символов лет двадцать тому назад. Он был длиной с нашу галеру, но гораздо толще, шире. И тому подобное. Все это события чрезвычайные. Они интересны твоим собеседникам, поэтому они и болтают о них. А об обычном люди не говорят, хронографы не пишут. Друг мой, кому это нужно, общезвестное? Ты слышишь о чужой семейной жизни тогда, когда там нечто случилось. Обычное так же скучно, как проповедь или надписи на могилах добродетельных людей. В лесах нашей Таврии стрела — это будни.

— Кто же убивает в дни мира? — удивился кентарх.

— Дни мира! Что есть мир? — пародируя ритора, воскликнул комес. — Твои горные красоты удобны, чтобы прятаться от закона. Есть также совершенно мирные подданные, которым не нравятся солдаты. Солдаты пугают дичь, иной раз отнимут добычу у охотника. Когда он везет дичь с гор, ему не миновать одной из крепостей, которые ты скоро поедешь посмотреть. Около крепостей появляются наши подданные или полуподданные из степной Таврии. Они нас не любят без всяких причин. Для них дичь — это мы.

— Но это бунтовщики!

— Будь у меня хотя бы одна турма, я подобрал бы горы и закрыл проходы, — сказал комес, теряя небрежный тон.

Вспомнился последний приказ базилевса Константина Дуки о сокращении расходов на стены, на содержание солдат, и комес приказал подать еду и питье. Ему больше не хотелось шутить над кентархом.

Море было оживленным. Рыбачьих суда и челны, торговые корабли разного вида, размера. На пышном, богатом берегу южной Таврии дорогой служило море, и каждый второй мужчина называл себя моряком. Буря закрыла дорогу, и сегодня все спешили наверстать свое. У каждого были свои тропы. Рыбаки выходили на известные места, где, по многолетним приметам, сегодня могла быть рыба, завтра она уйдет на новое пастбище. Грузовые суда соображались с кратчайшим расстоянием, на море оно мерится не милями, а удобством ветра, течений. Местные суда ходили ближе к берегу, влево от пути херсонесской галеры. Правее галеры, в открытом море, прорезают пути из империи в Суружское море и обратно. Сегодня там, с юга, не поднималось ни одного паруса. Из-за бури. Море только начинало успокаиваться, корабли с Босфора, из Синопа, из Трапезунда были еще далеко. Зато отстаивавшиеся в Суружском проливе спешили уйти, принимая западный ветер косыми парусами и помогая себе веслами. Таких с галеры можно было сосчитать шесть. Два из них уже скатывались с выпуклости моря на юг, оставив взору мачты.

К вечеру галера поравнялась с Суружским мысом, и с кормы стал виден огонь маяка, зажегшийся на конце мыса. Ветер упал. Гребцы охотно сели на весла, они спали весь день по так называемому праву ветра.

Медленно-медленно, как кажется ночью, Суружский маяк уплывал за корму.

Проложив путь по звездам, кормчий поставил за себя помощника и лег спать рядом с кормилом руля.

Гребцы мерно работали, привычно дремля под ритмичный тихий счет старшего:

— А-а! А-ха!

По левой руке появился огонек, не ярче отблеска света в кошачьем глазу. Сообразив время по звездам, помощник кормчего узнал, что галера прошла мимо узости Таврии. Имперские владения кончились. Маяк горел на Соленом мысу. Им завершается глубокая впадина, которой Русское море входит в Таврию. С севера подобной впадиной врезалось Суружское море. Русские считают в узком месте двадцать три версты от моря до моря. Это их граница с империей.

Соленомысский маяк утонул в темноте, и помощник кормчего повернул галеру на пол-оборота к северу. Капли с весел падали в прошлое.

Вот впереди показался такой же кошачий глаз — маяк на мысу у входа в Суружский пролив. Здесь поворачивают вправо, чтобы не врезаться в берег.

Входной маяк Суружского пролива встал на левой руке, и помощник разбудил кормчего. Небо чуть-чуть бледнело.

Ночь за рулем утомляет вдвое больше, чем день. День на море воспет постами, благословлена ими и ночь — начало ее до часа, когда все, и посты, отправляются спать.

Настоящая ночь, когда все спят, кроме тебя, постигнута в молчании, награждена молчаньем — оно есть настоящая слава.

Человек уменьшается, море делается грандиознее неба, и бездна живет своей жизнью, и темное в темном становится сильнее, и не знаешь, кто там плеснул — рыба или чудовище со змеиной головой. Дневные насмешники ночью молятся, если умеют. И гребцы гребут, гребут, и кормчий ведет галеру, не уклоняясь с дороги. Может быть, потому, что море не лес, что нельзя, бросив корабль, в страхе залезть на дерево? Или потому, что нужно жить, кормить себя и своих? Может быть... Море — как жизнь: никуда не уйдешь.

Проще: в море, что в жизни, делай, что можешь. А в длинные часы морской ночи человека навещают мысли, в которых днем себе самому признается только храбрый. Да и думает о подобном он больше других. У него ум поживее, воображение щедрей — на то он и храбрый. Другой, потупее, бывает смел не от храбрости — от глупости.

Оставив тяжесть гор на юго-западе, Таврия стекла на восток волнами хрящеватой, сухой холмистой земли и круто оборвалась водой и над водой.

С моря видна глубокая бухта или залив. Ширина у входа по русскому счету — верст пятнадцать.

Правый и левый берега глядят близнецами. Такие же отвесные кручи с узеньким, как ножка у вазы, бережком внизу. Тот же цвет, то же сложение: сверху мощным, многогосаженным пластом земли, черновато-серой, с морщинами, как лысая шкура; снизу — прослойками одинаковых раковин. В своей глубине залив закрывается берегами наглухо. Мысы и повороты замыкают для глаз и пролив, и само Суружское горло.

Геродот рассказывает о случае, который свел жителей восточного берега, азиатов, с жителями западного, европейцами. Лань, спасаясь от юных охотников, бросилась в воду с восточного берега. Преследователи тоже пустились

вплавь и вышли на таврийском берегу. К северу от Тмуторокани и Корчева есть место, где подобное могло случиться. Восточный берег вытягивается тонкой, сужающейся стрелой, западный берег тянется встречь. Тому, кого сюда загонят, нет другого спасенья, как в воду. Здесь, в Сурожском горле, от суши до суши всего версты три.

Геродот побывал в Таврии и видел Босфор Киммерийский за пятнадцать столетий до дня, когда херсонесская галера с комесом Склиром входила из моря в пролив. Итак, не будь быстроногой испуганной лани и охотничьей пылкости, Азия и Европа, чтобы познать друг друга через Сурожский пролив, ждали бы еще сколько-то веков?

В Геродотовы годы рассказ о лани и охотниках был тем, что мы называем легендой. Как понимали ее и местные жители, и приезжий писатель, нам неизвестно.

Книжники упрямы и простодушны, им, листая книги вдали от мест и событий, легко справляться с любыми преданьями: написано — и толкуй буква в букву. По характеру начертания книжник определит время, по манере выраженья часто укажет и автора или обнаружит подделку. Что же касается смысла, то лани быстроноги, юность пылка и до нашего дня, на охоте — тем более. Иное приходит на ум путешественнику. Не только в узости, но и в самых широких местах Сурожского пролива хорошо виден противоположный берег, строенья, деревья. Ночью различим даже слабый огонек. В тихую погоду мальчишка одолет пролив на двух связанных бревнах.

В Таврийской степи водятся серо-желтые ужи-полозы. Иногда утром, после тихой ночи, на песчаном берегу находят след — отпечаток толстого тела, ушедшего в воду. Это выходной след полоза. Входного следа нет, сколько ни ищи: полоз ушел на тот берег. Наскучив давить мышей, сусликов, зайцев, полоз уплыл на охоту давить лягушек в кубанские плавни. Он плыл всю ночь, легко держа над водой плоскую голову, не видя берегов и соображая дорогу по звездам. Или — своим особым способом по опыту тысячелетий.

Сколько бы ни минуло тысячелетий, белое оставалось белым, а черное — черным, хотя слова и словесные образы прошлых дней изменялись, как суждено измениться нынешним, пока люди способны жить. Новая мысль наряжается в старые слова, старые мысли одеваются новыми.

Лань? Охота? Увлечшиеся юноши? Что разумел затейливый для нас, понятный для современников рассказчик? Почему историк записал будто бы нелепость, недостойную

зрелого разума? Есть ответ только на последний вопрос: для тогдашних читателей нелепости не было, они понимали рассказ.

Остережемся и мы понимать буквально надписи на древних камнях. Наш ум любит загадки, любит игру изменчивых символов. Унижать умерших, возноситься над якобы глупыми предками так же неумно и так же опасно, как презирать современников. Как бы и наши дела не показались детски наивными скорохвату-потомку, который, как мы, не потрудится сообразить, что начальный, постоянно трезвый смысл неминуемо воплощается в изменчивые слова, в их живые, то есть меняющиеся, сочетанья. Слова кипят, пенятся, как морские волны.

Издали на море всё волны одинаковы. Вблизи — нет ни одной такой же, как предыдущая, хотя их вызывает единая сила, не изменившаяся как будто за десятки столетий. Вдобавок — волны никуда не бегут, вода остается на месте, море обманывает, выдавая изгибы за бег.

Солнце висело красным шаром во мгле испарений Сурожского моря и от земли, увлажненной недавними ливнями. Туман закрывал дали пролива, и видимость не превышала пяти верст. Над морем было ясно. Русский маяк на левом, таврическом, мысу виднелся кучей камней на холме.

Галера медленно двигалась. Кормчий взял ближе к правому берегу. Здесь глубины были достаточны и для тяжелых кораблей, кинкирем с пятью ярусами весел, которых уже давно не строили. Но кое-где со дна поднимались скалы. Отмели перемещались, завися от течений. Течения изменялись по временам года и после сильных дождей, когда увеличивался сток воды из Сурожского моря. После бурь на Русском море отмели перестраивались от глубокого волнения.

Поверхность все та же, внутри же много меняется, как в человеке. Чтоб не посадить корабль на мель, кормчий не смеет доверяться вчерашнему знанию.

— Смотри туда, смотри, прошу тебя, превосходительный, — позвал кормчий Склира, указывая на правый берег.

Склир прищурился, прикрывая ладонью глаза.

— Что это? Ползет какая-то громада! — Он едва не сказал — чудовище.

— Обвал, — объяснил кормчий. — Волны грызут берег снизу, но крутизна держится, висит, пока ее не размочит дождь.

В подтверждение его слов низкая волна, морщина на гладкой воде, пришла от правого берега и чуть-чуть качнула галеру.

Солнце по-утреннему быстро шло вверх. Туманная мгла редела, освобождая пролив. Его оживляли десятки челнов. Во многих местах от берега бежали, как дорожные вехи, тонкие шесты. На них удерживались ставные неводы. Стенка сети шла почти от сухого берега в глубину, завершаясь ловушкой-поворотом. Нехитрая для земного зверя, такая западня было не по плечу скудоумной рыбе.

Перебирая сеть из лодки, владельцы неводов брали ночную добычу. Ценную рыбу бросали в челн черпаком или острогой, ненужную пускали на волю. Пусть живет. Неудобная человеку, пригодится в море. В нем, в море, как и на земле, один охотится на другого. Человеку положено брать нужное ему, а зря портить не положено. Нарушив порядок, сам от того пострадасшь.

Над ловцами летали крылатые рыболовы, сияясь схватить рыбешку чуть не из рук. На каждом неводном шесте, куда еще не подтянул свой челн хозяин, сидели рыболовы покрупнее в ожидании людей, чтобы попользоваться своей частью.

Кормчий направил галеру к челну, который неподвижно стоял на якоре.

— Э-гэй! — позвал Склир по-русски. — Князь ваш дома ли?

Из челна не ответили. Там кто-то взялся за весла, другой поднял якорь. Третий, крупный мужчина с окладистой бородой, встал и взялся рукой за борт галеры, когда челн сблизился.

— Здоровы будьте, — приветствовал он греков по-русски.

— И ты будь здоров, — отозвался кормчий, не полагаясь на познанья Склира в русском языке. И, стараясь исправить невежливость комеса, осведомился: — Как князь Ростислав живет, здоров ли?

— Благополучен, — ответил русский и продолжил погречески: — А Поликарпос-правитель? — Получив ответ, ловец продолжал состязание: — Что базилевс Константин? Спокойно ли правит? Не оставляет ли вас в забвении милостями?

Комес Склир разглядел тяжелый перстень с красным камнем на руке, которая держалась за борт, золотой крест на золотой же цепочке под распахнутой на груди серой рубахой грубой ткани. Ловец, как видно, был человек не

простой. Они встретились глазами. Комес поднял руку, приветствуя, и ловец поклонился головой, как равный.

— Хватит ли воды пройти к пристаням под правым берегом? — спрашивал кормчий.

Тматороканский залив был прикрыт от пролива с юга длинной песчаной косой. В иные года коса соединялась с берегом, в другие, превращаясь в остров, оставляла проход.

— Можно пройти, — ответил ловец. — Если пойдешь осторожно, оставишь под днищем четверти три.

— Будь милостив, проводи нас, — попросил кормчий. Ему не хотелось срамиться, бороздя днищем илстые пески. Обход острова потребовал бы более часа усиленной гребли, а гребцы трудились всю ночь.

— Сам не могу, — возразил ловец, — но провожатого дам. Ты его слушайся: хоть он молод, а дно знает, как рыба. Ефа, прыгай к ним, веди берегом.

Галера и челн разошлись. Греки разглядели на дне челна двух крупных осетров. На воде лежали поплавки из красной осокоревой коры, поддерживая дорожку из острых крапчев для донной ловли.

Ефа, стоя на корме рядом с кормчим, объяснял обсьими руками. Галера рванулась, целясь на еще не видимый проход.

Спасая жизнь, повисшую на шелковинке, матерой зверь вырвался из-под конских копыт и покатился, как бурый шар. Не различишь, где спина, где голова. Каждый волосок, каждая жилка жилистого тела, жаждая жизни, спасали ее согласно-дружными усилиями.

Волк был беззащитен на плоском солончаке, поросшем низкими пучками солянок. Солончак гладко, едва заметно клонился к мертвому зеркалу соленого озера, которое было восточным рубежом тматороканской земли. Земли, но не княжества. Недавними усилиями князя Ростислава княжество перекинулось через соленые озера, разветвилось в кубанских и донских плавнях, шагнуло до гор на спинах боевых коней, вторглось на север, в закубанские степи. Гулял слух, что не князь Ростислав соскучился сидеть на Воляни, а тматороканцы, скучая по добром князе, выманили Ростислава из Владимира. Как княжна из сказки, что разглядела из злата терема храброго витязя... Оставим песни гусярам.

Русский корень не боялся прививок, русский не чуждался иноплеменных. Стоял крепко на двух опорах, будто

бы чуждых: на силе и на вольности. Никому не завидовал, ибо не сознавал себя обиженным, принужденным, несчастным — и не был таким. В Тмуторокани отличали своих от чужих не по говору, не по облику, не по вере, но тем, что ты для Тмуторокани? Друг или недруг? И русский обычай распространялся легко: добровольно, как образец.

Зная — ушел, но еще не смея довериться непонятной удаче, волк скакал берегом соленого озера, недавней тмутороканской границы, поднимая стаи долгоносых птиц, искателёй червяков в жирной грязи.

— Что же ты, князь, почему не стал травить волка? — спросил комес Склир.

— Хотел, да раздумал, — ответил Ростислав. — Пусть живет до своего срока. Что в нем! Летняя шкура не годится на полость для зимней кошевни. Волчье мясо и наши собаки есть не станут. Зато мы с тобой потешились скачкой.

— Поистине, ты прав, — согласился комес, — такого я никогда не видал. Прими мою благодарность. Я привык думать, что большей приткости бега, чем квадриги у нас на ипподроме, достичь нельзя. Но по-хозяйски ли мы поступили? Волк — враг твоих стад. Он не перестанет тебе вредить, пусть ты и даровал ему жизнь.

— Не будь волков, пастухи спали бы слишком сладко, — возразил князь Ростислав. — Стада, разбредясь по небрежности пастухов, сами себе причинят больше вреда. Волк тоже пастух, тоже заботится о стаде. Он берет слабого, глупого, больного и улучшает породу.

Пятый день гостит комес Склир в Тмуторокани. Пятый день беседует он с князем. И каждый раз, как сегодня, что-то значительное звучит под простыми словами. Может быть, в том виноват сам Склир? Стараясь понять князя Ростислава, он кружит около него, как голодный волк около стада.

Может быть, нечего и понимать? Не лучше ли прямо спросить, чего ждать греческой Таврии от русского князя? Нельзя спрашивать! Вопрошающий награждается ложью. Эта ядовитая мудрость оскопляла умы и более тонких разведчиков, чем комес Склир. Итак, князь Ростислав считает полезной угрозой извне. А кто волк? И кто пастухи? Склир настаивал:

— Волки жадны. Дорвавшись, они убивают больше, чем нужно, зря режут скот. Ты имел право убить его, чтобы убить, и бросить тушу стервятникам, как поступает он сам.

— Имел, — ответил Ростислав, — но не воспользовался. Знаешь ли, быть в состоянии чем-либо овладеть и отказаться собственной волей — это значит мочь вдвойне. Отпустить зверя живым — пустое дело, забава. Не случилось ли тебе пощадить в бою противника? Лишить себя удара?

— Нет, — твердо возразил Склир. — Сражаются, чтобы убивать врагов.

— По-моему, — ответил Ростислав, — сражаются для победы. Победа — не поле, устланное трупами, а мир с бывшим противником. Вон там, — Ростислав указал на восток, вдаль, где дневное марсво превращало в мираж другой берег соленого озера, — касоги понимают такое. Они говорят: лишняя кровь зовёт лишнюю кровь.

— Касоги — молодой народ, они неизвестны в истории, — не согласился комес. — Их мудрость — мудрость детей.

— А есть ли на свете молодые народы, старые народы? — спросил князь Ростислав и ответил: — Все пошли от Адама.

Умолкли. Так получилось. Последнее слово оставалось за князем Ростиславом. Неприязнь многолика. Та, которую комес привез из Херсонеса, оборачивалась ненавистью. Мешала, слепила. И Склир вместо змеиной хитрости, с которой он — обдуманно! — собирался влезть в душу русского князя, щедро смазав путь лестью, спорил. Увлёкшись спором в заведомо бессмысленном стремлении победить словом — будто бы словом побеждают. И это он, всосавший с молоком матери познание ничтожества слова!

По-человечески оправдывая себя, Склир вспоминал: возражения собеседнику включены философами в способы познания чужих мыслей. Чего же он добился? Да, князь Ростислав будет опаснейшим врагом, если бросится на имперскую Таврию. Но нападет ли? Захочет ли нападать? Нет ответа.

Пора возвращаться с охоты. Провожатые увозили нескольких серн, двух из которых любезно подставили под удар гостю, степных птиц — дроф, стрепетов, битых стрелами Ростислава и других русских. Комес Склир, не будучи метким стрелком, отказался от лука.

Не от самого солнца — палило от всего прозрачного неба. Жару побеждали скачкой по мягким дорогам, с холма в низину, с низины на холм, среди скошенных полей, заставленных тяжелыми снопами. Здесь хлеба вызревают в начале лета. В долинке, на полупути, ждала подстава свежих лошадей. С утра третий раз меняли коней: лошадь слабей человека.

На скачке свежо, ветер обдувает горячее тело. Остановишься — и будто в печь попал. Палит с неба, палит от земли, земля жжет ноги через мягкие подошвы сапог.

Склиру для утоления жажды поднесли напиток из сброженного кобыльего молока. В маленьких бурдюках, пышно укутанных шерстью, странно сухое, кисловато-острое питье сохранило погребной холод. Пили все. С животов лошадей тек прозрачный пот тонкой струей.

На подставе Склиру подвели иноходца. На таких конях легче сидеть, спокойнее, и они считаются особенно пригодными для женщин. Комес был рад иноходцу. С расвета в седле и сменить трех лошадей — такого он не испытывал. Он выбивался из сил, чего не хотел показать. И все же внимание к нему Склир прибавил, как оскорбленье, к счету завистливой ненависти.

Князь Ростислав был одет в тонкую шелковую рубашку, за плечами шелковый же плащ, голова в затканной золотом повязке — подарки греческой Таврии тматороканскому владетелю. Комес Склир разрядился по-русски: в рубахе из тончайшего льна, с воротом, рукавами, полкой и грудью, залитыми затейливой вышивкой тматороканского дела, с мелким жемчугом русского севера; такой же пояс; штаны белого льна тканью потолще, чем на рубашке; сапоги тонкой желтой кожи с мягкой, выворотной подошвой — удобнее нет для езды. Все это из вещей, которыми отдаривался князь Ростислав. Склир носил русское платье по этикету.

Поликарпос поручил комесу раздать знатным тматороканцам подарки по списку, как делалось раньше. Цель — привлечь добрые чувства, обязать влиятельных людей. И — по старому тонкому правилу имперских сношений с варварами — внести рознь между получателями неоднородностью даримого. Почему-де такого-то греки считают лучшим, чем я? Чем это он перед ними выслуживается?

Склир, решив быть еще более тонким, список бросил, а Ростиславу сказал:

— В этих мешках зашито назначенное в подарки твоим людям. Вижу, подобным поступком — раздачей помимо тебя — мы можем показать, что не понимаем достоинства такого князя, как ты. Прошу тебя именем наместника базилевса и моим: прикажи слугам отнести это и поступи, как захочешь.

Экая ж сила — открытая душа! Ростислав сделал было движение отказа, но вдруг согласился. Заготовленные Склиром дальнейшие настояния остались втуне. В начатой

игре он бил удачно первой же меченой костью. Дальше пошло по-иному. Склир не мог понять: то ли соперник играет не по правилам, то ли попросту он таков? Непониманье увеличивало злость, усложняло игру, слова будто бы сами собой приобретали двойной смысл.

Склир не зря заметил дорогой перстень и золотой крест на груди у ловца, встреченного у входа в Сурожский пролив. То был боярин Вышата, знатный новгородец. Отец Вышаты, Остромир, бывал тысяцким, выборным правителем в Новгороде. Остромира нынешний киевский князь Изяслав посадил своим наместником, покидая Новгород для Киева.

Не обозначало ли присутствие Вышаты в Тмуторокани особых намерений князя Изяслава? Нескольким подданных империи, таврийских купцов, имевших оседлость в Тмуторокани и Корчеве, не умели ответить на этот вопрос.

Вышата провожал князя Ростислава на охоту, сам проявил себя пылким наездником. Вышату вышучивали: его-де приворожили морские русалки, из-за них он проводит на море две ночи из трех: ходить Вышате в зятях солснего морского царя, как новгородец Садко хаживал в зятях ильменского.

К острословью товарищей Вышата сам добавлял, зная — иначе совсем зашпыняют. Дескать, дело с морским царем намечается, и дочь у него хороша. Одно — чешуя на девическом хвосте жестковата. Ныне на морском дне строят баню: к свадьбе невестины чешуйки подраспарить. Чтобы тестю, морскому царю, не было после свадьбы позора. Приплывут чуда морские славить новобрачных, а молодой весь исцарапался в кровь...

Колясь острыми, как крючья для осетрового лова, шуточками, все хохотали вместе с Вышатой, равные с равными, и пришлые с Ростиславом, и коренные тмутороканцы, общие по повадкам, хоть и не все русской крови. Комес Склир не понимал, как этот хитрый кремень, богатырь-северянин, человек недюжинного ума, образованный, влюбился в теплое море, будто мальчишка несмысленный. Место Вышаты в списке подарков для знатных было из первых. С ним бы повести разговоры...

Вот и последняя холмистая гряда. С нее для глаза Тмуторокань всплывает в конце степи зеленым островом, главным в архипелаге садов, виноградников, которыми город расплескался по своей округе. Склир, отдыхая в плавном-дробном покачивании иноходца, понял — пора ему покинуть место, где несколько дней он, как добровольный

актер, играл роль посланника империи. А кто он? Что его ждет в Херсонесе? Женщина. Женщина для него не более десятой части той доли, которой он желает, не имея. Его встретит надоевший быт колонии. Стены, укрепления, на починку которых не дают денег. Увольняемые солдаты, которым некуда деться, которые обвинят его же в своей беде. Дальнейшее — быть смещенным из-за потери поддержки из Палатия, чтобы очистить место для такого же дурака, каким был он сам, принимая Таврию? Или утонуть под нашествием, которое, может быть, готовит загадочный русский князь? Утешившись перед смертью лекарством всех неудачников: я, мол, говорил, я предсказывал, но меня не хотели услышать. Тошнит...

Загадка чужой души. Гостеприимный князь Ростислав за несколько дней раскрыл перед Склиром Тмуторокань так, как только может мечтать опытный разведчик. Небольшой кусок земли, верст двадцать с запада на восток, верст двенадцать—пятнадцать с юга на север, был почти островом. Крепость, созданная богом. На востоке с суши ее связывали узкие полоски, обрамленные морем, солеными озерами, заливами. С моря почти все побережье было закрыто стенами обрывистых берегов. И повсюду в море мели. Высадку армии, о которой Склир говорил с Полкарпосом в Херсонесе, — если империя захочет, сможет отомстить за Таврию, — возможна только на востоке, у низких берегов соленых озер. Пресной воды нет. Что будет пить войско в береговых лагерях? Чем поить быков, которые потащат боевые машины, припасы, запасы к Тмуторокани по степи? Флот, который доставит армию, будет обязан возить воду из Сурожа, из Алустона, где немного пресной воды. Устроенных портов либо естественных бухт нет. Незначительное волнение погубит от жажды сначала рабочий скот, а потом и людей. Высадка и стоянка кораблей удобны только у тмутороканских причалов. Для этого нужно взять сначала саму Тмуторокань. С чего начинать? Когда еж свернулся клубком, лисица изранит себя, ничего не добившись.

Степные тмутороканские предполья будто бы созданы для сражений, есть где развернуть сто тысяч войска. Имперский флот сможет доставить только пехоту. Она рискует сделаться легкой добычей для русской конницы.

С первого взгляда Склиру показались ничтожными стены и башни Тмуторокани: он сравнил их с громадами херсонесских сооружений. Сейчас он видел иное: тмутороканская крепость пригодна, чтобы отбиться от внезапного

наскока, и большее не требуется. Осады не выдержит сам осаждающий. Основатель Тмуторокани был великим воином и правильно сделал главным городом не Корчев, тот легче взять.

Они ехали шагом, чтобы дать лошадям остыть в конце дороги. Русские следовали своим правилам езды, береженью коня придавали большое значение, зато и требовали много. Они проезжали между большими и малыми усадьбами, каждая из которых распустила вокруг себя ряды плодовых деревьев и стройные отряды подвязанных к кольям виноградных лоз, солдат сочного, сладкого изобилия. За оградами из сырых кирпичей или тесаного камня, белеными известью для красоты и прочности, взлетали цепи молотильщиков. Своя доля тмутороканского хлеба перепадет империи.

Мохнатые псы местной зверовой породы глухо и скупно подавали голоса или, забравшись на крышу хлева, молча взирали на проезжавших глазами неласкового хозяина.

Встречные тмутороканцы приветствовали князя со свитой пожеланьем здоровья и шутками:

— Где ж дичина? Много ль убили, кроме лошадиных ног?

Через запущенный ров под крепостной стеной был переброшен постоянный мост: не боимся... Тесная, как во всех крепостях, улица усыпана морским песком. Площадь с белокаменной церковью-красавицей, поставленной князем Мстиславом Красивым. Поворот — и княжой двор. Склир заставил себя бодро прыгнуть с седла, заставил шагать непослушные ноги. Не будь чужих, он приказал бы нести себя.

В отведенных ему покоях княжого дома Склир с трудом опустил в кресло с подлокотниками.

— Что думает превосходительный о нынешнем дне? — спросил кентарх. Он был на охоте, но не имел случая перекинуться словом со своим начальником.

— Превосходительный. Не. Думает. Ничего, — уронил Склир. Сейчас он не любил и себя. Такое бывает, когда объединятся два врага человека — усталость души с усталостью тела.

Кентарх отступил за порог, но отдохнуть комесу не дали. Явились слуги с водой, тазами, утиральниками, чтобы смыть со знатного гостя охотничий пот и степную пыль.

Ушли слуги, явились бояре Вышата и Порей. Порей, из знатных дружинников, пришел в Тмуторокань вместе с князем Ростиславом. Свежие, будто бы не провели в седле

большую часть дня, бояре с некоторой торжественностью известили комеса:

— Князь просит гостя трапезовать вместе с ним, для чего придет сюда сам, дабы почтить дорогого посланца империи.

Склиру пришлось кланяться, благодарить за честь, которую он скромно принимает именем империи, верного друга Тматорокани и русских.

Минуты покоя. Склиру вспомнилось несколько знакомых лиц, замеченных в Тматорокани: беглецы, солдаты, которым надоел хлеб империи. Они ели его слишком долго, считая, что получают меньше заслуженного. Каково им здесь? Спрашивать не следовало. Пространства земли не измерены, границы мира, отступая перед путешественниками, остаются недостижимыми. И все же мир тесен. По свойственной всем непоследовательности, Склир думал о беглецах со злостью.

Мысль как будто проходит сквозь стены и вызывает отклики, эхо, значение которого не умеют ценить. Один из недавних таврийских перебежчиков остановил князя Ростислава на дороге к Склиру.

— Князь, будь осторожен, — просил бывший грек. — Константин Склир — человек коварный, недобрый. Я знал его еще в Константинополе. Поверь мне.

— Чем же он мне опасен здесь? — спросил князь. — Оружие на меня он не поднимет, не вцепится в горло, как леопард.

Ростислав улыбнулся, вообразив Склира в образе громадной кошки: в красивых чертах лица комеса, пожалуй, и вправду проглядывал хищник.

— Не бросится, нет, — серьезно согласился новый княжой дружинник. — Не сердись, что равняю нас, но я на твоём месте не стал бы есть из его рук. Склиры дружат с тайными ядами. Василий Склир, евнух, сжил ядом базилевса Романа Третьего. Менее знатных людей иные Склиры той же силой услали на тот свет, расчищая себе место в этом. Вина тоже я не выпил бы из его рук, пока он сам не отведаёт из той же чаши, что предложит мне.

— Так я сделаю, — согласился князь, дружески положив руки на плечи доброхотного советчика.

Слуги внесли стол, постелили скатерть, расставили блюда. Свежевыпеченный хлеб нового урожая, сероватый, ароматный. Запеченный окорок серны. Сыр двух приготовлений — овечий и коровьего молока. Кислое молоко в за-

потевших глиняных горшках и пресное кобылье молоко. Глубокое глиняное блюдо с крышкой.

Остались вдвоем. Указывая на стол, князь пригласил гостя:

— Не взыщи, ныне угощенье простое, как подобает мужчинам, которые день провели по-мужски, в седле. Эта пища дает силу телу, оставляя свободу уму.

Предваряя широким жестом неизбежно-любезные возражения гостя, Ростислав продолжал:

— Мой пращур, славной памяти Святослав Великий, в одежде и пище был прост. Ему на походе хватало куска мяса, обугленного в костре. По нему и войско держалось того же. Однако во всех самых быстрых походах пращур мой умел кормить войско. Спать ложились сыты, сытыми шли в бой. Голодный — не витязь, сам знаешь. Земля полна сказов о Святославе. Рассказчики тешат нас красивым словом. Книжник углубляется во внутренний смысл подвига. Мы с тобой, воины, понимаем: задумывая войну, полководец о первом думает — как кормить лошадей и людей. Не так ли?

— Так, — согласился Склир, — а также обязан знать, где их поставить для отдыха, оградив от нечаянного нападения, где напоить людей и коней.

— Поэтому ешь, мой гость, и пей, — шутил Ростислав, поднимая тяжелую крышку глиняного блюда. Пошел пар. Вынув большой черный кусок, князь нарезал ломтями мясо, приготовленное на открытом огне. Кругом обугленное, внутри оно было сочно и розовато.

Сам Ростислав ел быстро, с удовольствием утоляя лютый голод. С утра охотились — как воевали, ограничиваясь чуть хмельным сброженным кобыльим молоком.

Комес ел, пил, ощущая, как смягчается острота усталости. И он опять мешал себе поиском особенного смысла, скрытого в словах князя Ростислава. Походы Святослава, сытое войско — сегодня о подобном думал сам Склир. Откуда совпадения, странная общность между ним и русским князем? Склир решился на вызов:

— Узнав тебя, князь, я увидел в тебе качество великого полководца, правителя государства. В империи меньшие люди искали диадемы базилевса. Получали ее. Брали, скажу прямо. Твои родственники на Руси несправедливо поступили с тобой. Ты взял, ты отнял у них Тмуторокань одним своим появлением. Тебя, как видится, оставили здесь в покое. За краткое время ты сделал Тмуторокань такой же сильной, как была она при брате твоего деда,

князе Мстиславе. Удовольствуешься ли ты? Если ты захочешь, как Мстислав, взять свое право на Руси...

Речи, подготовленные в молчании, оказываются иными, когда их произносишь, изреченное слово разнится с мыслью: слова будят эхо в душе собеседника, это мешает. Склир замаялся, ощущая препятствие. Искать скрытый смысл в обычных словах было легче. Князь Ростислав помог Склиру:

— Ты предлагаешь мне сочувствие? Какое? В чем?

— Да, да, — с облегчением подхватил Склир. — Мы всегда готовы содействовать доброму соседу восстановить справедливость.

— Ты мало ешь, — вспомнил Ростислав обязанности хозяина. Нарезав ломтями печеную дичину, он придвинул блюдо гостю. — Запивай кислым молоком, оно дает силу. Не забывай хлеб, у вас в Таврии так не пекут и нет такой муки, она из отборного зерна, немного недозревшего, нежного.

Ели молча. Трапеза превратилась в подобие перерыва для отдыха. Насытившись, князь пригласил Склира вымыть руки в чашках с водой, поставленных на низкой скамье. Склир искал слов, решившись продолжать, но Ростислав опять подал ему руку.

— Стало быть, империя хочет вмешаться в русские дела? — спросил он с деланным или искренним недоумением. — Мне казалось — у вас много забот и без Руси. Турки, арабы, италийцы, болгары, сербы — не сочтешь. Базилевс Дука, как мы слышим все время, больше мечтает о пополнении казны, чем о далеких войнах...

И о внесении смут между соседями, вспомнил Склир, не подумав, конечно, делиться подобным. Изреченное слово не вернешь, как не вернешь истекшего часа. Русский князь склонен принять его за посла? Что ж, самочинному послу придется выдумывать, и выдумывать смело.

— Нет, — решительно возразил Склир, — империя хочет прочного мира и дружбы с Русью. Я предлагаю тебе иное. В нашей Таврии много беспокойных людей. Твое имя у многих на устах. Пожелай, и мы не воспрепятствуем тебе набирать воинов в нашей Таврии. Мы не увидим, как они потянутся в Корчев через границу. Мы не будем обижать их семьи, не схватим покинутое ими имущество. Нескольких тысяч таврийцев в дополнение к твоим воинам дадут тебе власть на Руси.

Такое было разумно, подсказывала Склиру быстрая мысль. В случае успеха имя Константа Склира с одобрени-

ем произнесут перед базилевсом, если Поликарпос не выскочит вперед: Склир уже боялся быть обокраденным Правителем Таврии...

— Благодарю, — ответил Ростислав. — За дружбу — дружба. Я отплачу тебе откровенностью. Вы, чужие, глядя на Русь издали, цените ее мерой своих обычаев. В русских князьях вы видите подобие соревнователей за диадему базилевса. У вас, когда один из таких побеждает, ему достается власть, и патриарх венчает его, повторяя: нет власти иной, как от бога.

Склир кивал, одобряя, и ждал паузы, чтобы подтвердить, польстить: ты отлично понимаешь империю, побеждает лучший. Но Ростислав опередил его:

— Ты думаешь, я постигаю вашу жизнь? Ошибаешься. Я повторяю чужие слова. Русский, я вижу империю извне. Как я вижу море. Но что в нем, на дне? Какие силы движут морем? Этих сил не знают и чудовища, обитатели дна. Каждому из них знаком свой угол, не более. Говорят некоторые, что в вещах больше смысла, чем в словах. Но сколько же вещей я должен перебрать руками, чтобы постичь умом единую для всех правду? Разве ты не замечал, как люди каждодневно берутся за что-либо? Как призывают других, восстают, воюют? Но получается иное, чем каждый замышлял, принимаясь за дело.

— Это верно, ты, князь, прав, — отозвался Склир, захваченный силой убеждения. — И моя собственная судьба мой свидетель.

— Ты читаешь книги? — неожиданно спросил Ростислав.

— Я не чужд книгам, для поучения, — ответил Склир.

— А я читаю, — сказал Ростислав, — не для того, чтоб набраться чужих мыслей, не заучиваю. Я упражняю мысль беседой с далекими людьми. Не соглашаюсь, возражаю, сержусь — и благодарю писавшего за мое несогласие, мой возражения, мой гнев. Ты скажешь, в речи живой есть сок, речь записанная похожа на сухое дерево? Пусть. Но нет возможности выслушать всех людей. А сколько речей мы обязаны выслушать? Какой мудрец обозначил границу, назвал предел, сосчитал живые речи и книги? Нет таких мудрецов.

— Но ведь ты не отрицаешь знание, как управлять людьми, государствами! — воскликнул Склир, теряя нить, которую плел, как ему казалось.

— Не отрицаю. Я с тобой откровенен, как обещал. Хочу, чтоб ты понял меня. Цени каждый народ, по-нашему—

язык, по его обычаю, не по своему. Русские князья не бази́левсы. Наша Земля принимает князя из обычая. Кто пойдет против, того Земля выбросит, пусть он и все города завоюет. Чтобы изменить обычай, нужно каждого человека переделать, мыслимо ли такое? Со мной дядья поступили по обычаю. Мой отец, хоть и старший Ярославич, не сидел в Кисве. Потому я изгой. Я на Во́лыни оставил княгиню с моими детьми. Дядья их не теснят, не по обычаю будет из-за меня теснить их. Почему меня в Тмуторокани оставили? Знают, я на Русь не пойду, меня Земля не примет. А еще терпят, зная, что я с этого конца Русь лучше обороню, чем мой брат двоюродный Глеб Святославич. Можно и по-иному рассудить. Тем, что тебе я сказал о князьях, они себя утешили. На деле же — я колюч, второй раз будут гнать, я добром не уйду. Они и не хотят об меня руки колоть. Овчинка выделки не стоит, а вреда от меня нет. Вот и весь мой сказ. Понятно ли я рассказал?

— Не все я понял, — ответил комес Склир.

— Ты остр умом, обдумай и согласишься, — сказал Ростислав. — Я еще с тобой поделюсь. Здешняя тмутороканская вольница какова? В каждом ангел с дьяволом так переплелись, что сам тмутороканец не поймет, где один, где другой. Такой за тебя жизнь отдаст и сам у тебя жизнь отнимет. Какая же наука ими править, с ними жить? Не мѣшай им, делай по чести, не скрывайся, не прячься. За правду, за свою правду они море горстями вычерпают.

— А твоя дружина, что пришлая здесь? — спросил Склир.

— Видно, все одинаковы. Ссор не было, сжились. Им нет нужды рассуждать, они поступают по своей воле.

— Да, — сказал Склир, на минуту забывший о себе, — у каждого своя правда...

— Вот и верно. Мы соседи с вашей Таврией. Свою правду я вам не навяжу. Вы мою правду уважайте. Не годится силой навязываться. Быка седлай не седлай — все равно не поскачешь.

Князь Ростислав рассмеялся собственной шутке. Склир вежливо вторил.

— Гляди-ка! Уж ночь! — воскликнул Ростислав.

Солнце западало за таврийские холмы, и свет в узких окнах посерел.

— Заговорились, гость дорогой, — сказал Ростислав, вставая. — За обещанье помощи благодарю. Хоть и не нужно, да любо мне знать рядом с собой доброхотного со-

седа. Передай мою благодарность Наместнику Поликарпосу. И не взыщи на угощение.

— Я всем доволен, — возразил Склир. — Позволь мне завтра отбыть в Херсонес.

— Не буду тебя удерживать, — согласился Ростислав. — Завтра Тматорокань даст тебе пир—и пльиви с богом.

Ход от отведенных грекам покоев вел прямо во двор. Со двора князь Ростислав по деревянной лестнице, приложенной к глухой каменной стене, поднялся на крышу второго яруса, а оттуда по второй лестнице — на вышку.

Княжой двор, ставленный еще до Мстислава Красивого, переделывался, исправлялся, поправлялся, перестраивался, надстраивался бог весть сколько раз. Кто только не прикладывал руку к ходам-переходам, добавлял пристройки, набавлял светелку иль башенку, закладывал старые окна и двери, пробивал новые, портил либо украшал по собственному вкусу.

Вышку-надстройку придумал какой-то из Ярославовых посадников. Сам княжой двор стоял на высоком месте, и с вышки во все стороны, на сушу, на море, было видать, насколько хватало силы зрения. Зато и посадник на вышке красовался петухом на скирде, по слову язвительных тматороканцев, и сохранился в памяти не именем, а кличкой — Петух.

В душевные ночи тматороканский люд выбирался спать во дворы, в сады, а князю Ростиславу полюбилося спать здесь, под звездой, на широкой площадке, обрамленной частыми балясинами. Свежо, и нет комаров — высокогато для слабых крыльев докучливых кровопийцев. Догадливый слуга, успев приготовить княжью постель, дожидался, зевая. Отпустив его, Ростислав быстро разделся. Летняя ночь коротка, день длинен, нарушенная привычка поспать среди дня отомстила внезапной усталостью. Но вдруг дремоту отогнало беспокойство. «Не слишком ли много наговорил я?» — спросил себя князь.

Сменив стрижей, летучие мыши трепетали в густом синем воздухе. Издали едва-едва слышался хор. Молодежь гуляла на воле, за крепостной стеной, чтоб не мешать сну старших. На тончайшую нить мотива, которую плели девичьи и мужские голоса, воображенье низало слова:

Упал... туман... на глу-убь мо-орскую...
суроожский бе-ерег дик и... крут...
я не о бе-ереге... тоску-ую...

Толкнуло, сбив дремоту совсем: «Ошибся я, грек-соблазнитель вынюхивает. Трепещут они за свою Таврию старческой слабостью. Я перед ним встал прямо, как свеча перед иконой. Правду говорил... Слабосильные умники, они правду выворачивают, как рубаху, ищут в изнанке. Скажи ему, как Святослав говаривал: иду на вас! И он успокоится.

А-а, пусть, что мне греки... Будут мутить через послов в Киеве, в Чернигове, нашептывать Изяславу, будить гнев Святослава. Чтоб им! Далась Таврия! К чему мне она?! Вслед греку пошлю кого-либо к Поликарпосу, посовещавшись с дружиной. Помогут».

Сказанное — сделано, не вернешь. Так ли, иначе ли, Ростислав умел не жалеть ни о давнем прошлом, ни о дне, едва прошедшем. На будущее — наука, нечего голову мучить. Князь-изгой ничего не боялся: справится, пока люди с ним. Спокойной жизни не ждал, злобой жизнь не укорачивал. Открываясь греку, Ростислав запечатлел в словах мысли, которых ранее складно и ясно не высказывал: не было нужды и случая. Ныне бросил бисер свиньям. Поднимут и, не поняв, оборотятся против него же? У него не будет. Сегодня он сам будто бы лучше понял и себя, и что ему делать. Стало быть, прибыль от хитрого грека?

И уже улыбался и мыслям своим, и тихому-тихому движенью: ишь как крадется ножками в тоненьких туфлях, не думая, как заранее выдал ее вкрадчивый запах масел от разных цветов. Сама делает смесь, и аромат ее — будто с ним родилась.

Вот и она. Чуть коснулась, чуть шелестит:

— Мне там скучно и знойно от стен, ты, мой прохладный, устал, утомился, я только так, только так, ты же спи, мой красавец, усни...

Шептунья, мышка-цветочек чудесный! Сон, глубокий и легкий, без снов.

Медленная луна трудно и поздно рождалась из высокого темного лона востока. Тускло-багровая, такую на Ниле звали Солнцем Мертвых, пока Крест не вытеснил поверья былых людей, пока Полумесяц не вытеснил Крест. Впервые увидев сурожскую луну, пришлый русский говорил: кровавая, не к добру. Тмуроканец оспаривал: такая у нас всегда она.

Обычное не страшно, привычному не удивляются, не загадывают, откуда и какой ждать беды. Позднее тмуроканская луна, поднявшись к звездам, омоется воздухом, пожелтеет, побледнеет, а утром станет серебряной, как

езде; и забудутся ночные мысли — темные, тревожные. Не будь тревоги — не было б и покоя; не будь несчастья — перестанут счастье ценить; разлука горька, да все искупается сладостью встречи. Просто-то как! Что за мудрость прадедовская! Однако же так оно и есть, а почему? Не от нас пошло, не нами кончится. Пока жив человек, с ним живет его надежда. Собственная.

Княжой стол поставили во дворе, а над двором, чтобы солнце глаза не слепило, не жгло голову, на корабельных мачтах натянули шелковую наволоку, собранную из разных кусков, как пришлось. Пришлось же радугой, наподобие той, которую бог послал всеизвестному Ною во извещение о конце потопа. Или, проще сказать, какую не раз видят прочие смертные, когда солнечные стрелы догоняют уходящий дождь. Не в порицание бога — тмутороканская радуга вышла куда как поярче.

Заполнили столами со скамьями княжой двор — только пройти. Столы вышли на улицы, разбежались по улицам. Строила вся Тмуторокань, ибо у какого же князя найдется столько столов и столько скамей и где он такой запас держать будет?

Званных много, вся Тмуторокань с Корчевом, избраны все, и каждому — место. Свое, известное, без спора: каждый каждого знает. Души у всех равны, а счет местам идет по старшинству, начиная с дружинников, местных и пришлых бояр, они же именуются большими, старшими. Они тоже между собой считаются, и за счетом все прочие следят. Иначе не будет порядка, а будет обида. Будет обида — будут и битые головы.

Не только столов со скамьями, ни у какого князя и посуды не хватит на всех: блюд и блюдцев, ковшей и ковшиков, горшков и горшочков, ложек и ложечек, мис и мисочек, ножей-ножичков и всякого прочего, без чего стол не в стол, без чего и есть чего есть, да не из чего есть и нечем.

Княжая посуда — бочка с бочонком, кадь с кадкой, да ушаты широкие, да корчаги глубокие, да котлы, да вертела саженьные, кули набитые. И еще особая посуда — шесть с крюками, на которых своего дня ждут свиные окорока и бока копченые, дичина мелкая и дичина крупная.

Такова княжая посуда. А другой посудой люди помогут, не в первой пировать.

Не считая княжой поварни, в двадцати местах с утра варили, томили, жарили, парили. Такой дух пошел из Тмуторокани, что в окрестных виноградниках лисы, прехитрые bestии, по слову философа, сытыми пустились охо-

титься, лакомясь мышинным мясом под новой воздушной приправой — вкусно...

Князь Ростислав вылез на Петухову вышку, где спал ночью, и позвал на весь мир:

— За столы, други-братья, за столы, за столы-ыы!

Силен князь телом, голосом его бог не обидел, но человек он и нуждается в помощи. Не беда. Вблизи услышали. Вдали увидели. И пустились помогать в сто голосов, в тысячу голосов.

Кто кричит: «Неси на столы!»

Кто: «Садись за столы!»

Кто: «Спешу ко столам!»

А кто, заранее радуясь, белугой ревет: «Под столы, под столы!»

— погоди, не спеши, попадешь и под стол, коль сегодня тебе там постель уготована.

Князь с утра велел ключникам:

— Чтоб ничего у нас не осталось! Ни в подвалах, ни в порубах, ни в повалушах, ни в кладовых, ни в кладовушках, ни в ларях. Чтобы все пусто стало! После пира вымыть, подмести, прибрать, подмазать, подчистить, известью побелить. И нового копить станем.

И покатились, будто живые, бочки с бочонками. Стой! Эх, не догонишь! Ха-ха! Догнал-таки! Стой, непутевая, жди! Ушаты тащили за уши, как им положено. Кадки с кадками, с корчагами, с мисами — эти важные, будто престарелые боярыни — ехали на носилках, широкие, толстые. Иные укутаны. Чтой-то там? погоди!

Побежали вертела с жареными телятами, поросятами, свиньями, баранами. Их догоняли шесты с копчеными мясами. Где ж тут одним княжьем слугам управиться! Управились. Помощники — вся Тмуторокань.

Чужому, пришлому, непривычному, страшно смотреть. Коту хорошо — шасть на ограду, с ограды — на крышу.

Скрывая отвращенье, с невольным, глупым для него, но непобедимым страхом взирал комес Склир, оглушенный дикими криками, на чудовищное метанье варварских толп.

В Константинополе на пирах базилевсов — молчание, чинность. Там более тысячи приглашенных стройно и важно ждали мановенья базилевса. Только жадные осы, привлеченные манящими запахами, и толстые зеленые мухи жужжат, нарушая благоговейную тишину.

Грабеж захваченного города — вот что мнилось Склиру. Он был убежден — добрую часть еды растопчут, вина и меды зря разольют. Неужели нельзя делать в порядке!

Однако же свалка, драка, расхищенье — иных слов у грека не нашлось — оказались кратки.

Как шквал в летний день. Налетел, нашумел, рванул парус, порвал худо закрепленную снасть, качнул судно раз, другой, хлестнул быстрым дождем. И опять светит солнце. На мгновенье вспенив волну, шквал убегает. И пены уже нет, и по-прежнему море спокойно.

Так и здесь... Прихватив за руку гостя, князь Ростислав широким шагом пустился по двору. За ним — другие. Склир не видел. Миг — и на улице, спешат между рядами столов. Опять Склир поразился, но по-иному. Всюду порядок! Бочки с бочонками стоят на равных между собой расстояниях, будто кто-то заранее разметил места... А может быть, и размечали? На сколько-то пирующих — бочонок, на сколько-то — бочка?

Столы были полны и прибраны, ушаты и кадки раздали свое содержимое, не растерявши его. Склир поразился разнообразию угощенья. Что там мяса и рыбы! Столы расцвели солеными овощами, грибами. Грибы — здесь редкое лакомство, их привезли издалека. Какие-то разноцветные ягоды в мисках, моченые сливы, яблоки, что-то еще, чему грек не мог подыскать и названий. Икра, дорогое лакомство имперских любителей, из тех, кто побогаче. Не просто — разных отборов. Начиная от светлой, зернышко к зернышку, нежной, которая тает во рту, и до смоляно-черной, соленой, пряной.

У Склира, как ни стремительно увлекал его князь Ростислав, стало влажно на губах. Голод схватил его. Нынче ему предложили на рассвете, в обычный час утреннего стола, еду довольно легкую и часа за два до полудня — не больше. Заботились оставить место для пира, прокляты скифы!

Для Склира Тмуторокань за столами — тревожная смесь дикого охлоса, сброд всех народов, всех возрастов, мужчин, женщин, детей. Волосы — от пеньки и льна до крыла ворона. Одно роднит — загорелая кожа.

Князь Ростислав раскрывает объятия — всем, да рук не хватает:

— Не обессудьте!.. Князишко я бедный! Все, что имел!.. Эх! Хорошо! От души!.. Накопим еще!

На ходу обнял старика. Расцеловались:

— Еще поживем!

Обнял молодца в невидной одежде:

— Ты, друг! Вспомнил? На Тереке? Что ж, не надумал в дружину ко мне?

Тот мотнул головой:

— Спасибо, я сам по себе!

— Воля твоя, ты сам себе князь!

Сорвал поцелуй у красавицы, прятавшей личико в шелковом платочке:

— Не стыдись, на людях не стыдно и с князем поцеловаться!

Разве ж всех обойдешь! Да и пора начинать, люди ждут. Возвращались другой улицей, не шли, не бсжали, однако Ростислав так спешил, что Склир сбивался на бег. Мелькали те же лица как будто, та же роскошь на столах. Князь успевал, указывая на спутника, кричать:

— Не забудьте чару поднять за здоровье гостя! Он нам друг! Прибыл послом от друзей! Он славный воин!

Как с седла после скачки, Склир свалился на скамью под радужным пологом, за княжим столом для почетной тмутороканской старшины.

Слуга налил красного вина в чашу прозрачного стекла, которая ждала перед княжим местом. Взяв ее, Ростислав вышел к воротам, поднял и возгласил, будто в храме:

— Да живет русская Тмуторокань! На века! Аминь!

И Тмуторокань зашумела, завопила, и гул, и рокот, и заливи́стый свист — все лихо слилось в тесноте и рванулось вихрем в небо так, что оглушенные птицы, взвившись отовсюду, прянули в сторону от буйного города.

Допив чару, Ростислав вернулся, сел, отдыхая, и с доброй улыбкой сказал, не обращаясь ни к кому и обращаясь ко всем:

— Добрый день сегодня, доброго нам пира! До ночи еще далеко. Не будем спешить, други-братья! Продлим время. Оно и без нас торопливо не в меру. Тесно ль ему от наших желаний, или бог сделал время поспешным, чтобы нас усмирять, не знаю...

Взял копченую уточку чирка, разломил, съел со вкусом, обсосал косточки, вытер руки и сказал Склиру:

— Дух силен, плоть немощна. Быка бы съел, кажется. Малую птичку проглотил — и уж нет полноты желанья. В жизни нам, комес, превосходительный друг мой, слаще достигать, чем достигнуть. Волненье борьбы прекраснее, чем обладанье...

Князь, князь! Где твои мудрые ночные мысли? С кем говоришь? Грек запомнит не искренность твою, а признание: этот русский ненасытен, не остановится, такие очень опасны.

— Цену вещей мы сотворяем нашими желаньями, — продолжал Ростислав и спросил Склира: — Какой напиток вкуснее всех?

— У людей разные вкусы, — уклонился Склир от прямого ответа.

— А не приходилось ли тебе, — допрашивал Ростислав, — остаться без воды, ничего не пить два дня, три?

— Нет.

— А мне доводилось. Такой ценой я узнал: нет ничего лучше чистой воды. Но лишь первые глотки драгоценны. Поэтому не буду тебя понуждать. Ешь, пей, пробуй, сколько хочешь, как хочешь.

Следуя совету хозяина, Склир начал с икры — скорей из предрассудка, чем следуя вкусу, — потом увлекся рыбой неизвестной ему породы и какого-то необычайного копчения.

Тем временем за княжим столом между делом шутники ополчились на Туголука, местного боярина: нашел себе красотку, а она каменная, вот он и прячет ее, колдует.

Дело было совсем недавнее. Проезжал Туголук около Острой Могилы — так называли за вид его холм-курган по степной привычке звать все возвышения могилами. Туголуковская собака погнала лисицу. Зверь понорился в холме. Собака стала рыть и вдруг исчезла. Туголук спешился. Потревоженная земля обвалилась, открыв ход. Туголук сделал факел из сухой травы, выск огня и просунул внутрь. Пещера! Нет, наверху сохранилось подобие свода. Внизу, из-под земли и пыли, виднелись очертанья статуи. Под Тмутороканью, в Корчсве, под Корчевом часто находят клады, засыпанные развалины, подвалы. Забыв собаку, лисицу, дело, по которому ехал, Туголук бросился домой, захватил людей, телегу, лопаты, свечей. Осторожно достали белого мрамора нагую женщину в полный рост. Раньше находили маленькие статуэтки древних богинь, находили большие статуи. Но все большие были поломаны. Эта же — без царапинки, чистая, свежая, новорожденная. Как видно, в пещере кто-то шарил. Персбросав всю землю, искатели нашли мелочь — рукоять меча или кинжала хорошей работы, но плохого золота. Статую, положив в телегу, укрыли и увезли. Туголук собрал каменщиков, и ему в тот же день сложили каменную пристройку, навесили дверь. Туголук замкнул и никого не пускает. Будто бы не вся Тмуторокань знает о чудесной находке.

— И не пушу, — отмахивался Туголук, — нечего мою красавицу глазищами маслить.

— А у тебя не глаза? — не отставали товарищи. — Ослеп, что ли? Жмуришься? Вместо глаз кадильницы подвешиваешь? Святым елеем оченьки мажешь?

— Мой глаз хозяйский, — возражал Туголук, — я ее соблюдаю, как дочь, в чистоте.

— С женой-то как ладишь теперь? — ядовито уколол обладателя драгоценного мрамора боярин Вышата.

За соседним столом, где расселись женщины, жены и дочери, кто-то взвизгнул от озорного удовольствия. Женщины хохотали, толкая под бока туголуковскую хозяйку, и сам Туголук сошел с края.

— Жену мою ты не тронь! — молвил он, привставая, и уже шарил по левому боку, но был пуст от меча шитый цветными нитками праздничный поясок. Грозно привстал и Вышата.

Что спор на пиру? Тот же пожар. Страшен, когда проглядишь первые искры. Друзья тушили лихой огонек, с добрым смехом совали в руки товарищам чары, нажимали на плечи, охлопывали, будто коней:

— Эй, пустос! Чего там, не чужие же...

Что ж, люди поумнее коней, а слово — не дело. Сломив себя, потянулся через стол с полной чашей злонаправный, но умный Вышата:

— Ты ж не гневись, не хотел, мол, обиды тебе-то, мало ли что на язык навернется, а ты-то уж сразу, будто лемехом за корень, а корня-то нет, мягко. Ты в сердце гляди!

— Да разве я что? — остывал Туголук. — Слово, оно как? В одно ухо влетело, в другое ушло, шум один. А мы с тобой, друг-брат, тут-то и осушим чашу. За дружбу! За товарищество наше, соленое, тмутороканское! Ты же, Вышата, морелюбец, ты ж уже наш! Ну! За морского тмутороканского царя!

Кивнул-таки! Опять смеялись присмирившие было женщины и все вместе кричали:

— Навеки! Навеки! Тмуторокань!

Кто же сильнее, ветер иль солнце, кнут иль овес? Подобрев, Туголук открыл тайну, забыв, что собирался внезапно всех удивить. Он начинаст дом перестраивать. Для белой красавицы, по мысли его, уготован на втором ярусе обширный покой.

— Тогда и двери открою. Разве я скуп! Неужто буду такую красоту долго томить в темноте, на безлюдье! Довольно она настрадалась в пещере. Нн-о хороша! И чиста.

Никто не смеялся, не мальцы — мужчины. Не в конуре же жить Красоте! Вышата, ничуть не тая зависти, сказал:

— Не сама ли Елена Троянская к тебе в руки пришла? Удачливый ты... Собаку-то хоть уступи! Может, и меня ждет подружка Елены.

Зависть Вышаты была приятна удачнику. Обнялись Вышата с Туголуком.

Эх ты, Краса Ненаглядная! И врагами до гроба ты можешь нас сделать, и друзьями навек свяжешь, дав тебе послужить. Как же ты велика, если в тебе вся наша жизнь может вместиться и жить без тебя нам нельзя! И вот ведь чудо-чудное: чем сильнее у человека душа, тем и власть твоя сильнее. Владычица. Над мелкими мала власть твоя, они довольствуются кусочками от ногтей твоих, которые ты безразлично теряешь. Ты же в людской оксан мечешь крупнейшие сети и добычу берешь по себе. Почему так установлено? Не нам, видно, судить тебя.

Но замечать нам позволено: худо там, Владычица, где нет твоей власти, где, не зная тебя, поклоняются змеям, уродам, чудовищам с разверстыми пастями. Там не жди добра. Там цены, меры, обычаи опасны и нам и уродополонникам.

Комес Склир наблюдал за ссорой со злорадством, мирная развязка заставила его призадуматься. В списке даримых стоял и Туголук — не в последних, недалеко от Вышаты. Вышата был чужой. Туголук — коренной тмутороканец, внук одного из старших дружинников еще князя Мстислава Красивого. Греки-купцы, оседло жившие в Тмуторокани, знали всю тмутороканскую подноготную.

Коренная Тмуторокань, от малых людей до боярства, безразлично взидала на уход Глеба Святославича. Будто не было Тмуторокани, когда Ростислав снялся перед приходом Святослава Черниговского. Никто не шевельнулся, когда Ростислав вторично вытеснил Глеба.

Как виделось Склиру, Туголук ли, рыбац ли, как молодой парень Ефа, проводивший галеру мимо прибрежных мелей, были той самой Землей, о которой вчера толковал князь Ростислав. По верху ее гуляет легкий ветер княжих споров-усобиц. Либо наоборот: из-за того-то и гуляет на Руси этот ветер, что Земля его терпит.

Так ли, иначе ли, круг замкнулся. Склиру вспомнился вопрос софиста о яйце и курице — пустяк...

Русское — для русских. В Тмуторокани пылкие сердца, холодные головы. В недавних русских святых, как говорят, соседствовали огонь и вода, красноречивые символы.

Опасная граница у Таврии, опасный князь сидит рядом. Клянется в дружбе, — значит, обманывает. Склиру хотелось видеть в Ростиславе обманщика, опасного врага. Грамотей, философ, такой князь сумеет убедить себя, тмутороканцев. Что обязывает его к миру? Чем его удержать? Кто его остановит?

Будто бы нарочно мешая Склиру завершить рассуждения, князь Ростислав обратился к нему:

— Жаль, благородный Склир, что ты так скоро нас покидаешь. Мы понимаем, что ты не можешь надолго оставить командование. Все же ты мало пожил у нас, многим желающим не удалось с тобой побеседовать. Вот, — Ростислав указал на сухолицего немолодого тмутороканца, — боярин Яромир хочет с тобой поговорить.

— Если сумею, отвечу боярину, — сказал Склир и слегка поклонился Яромиру.

Тот повторил движение комеса, расправил обеими руками длинные усы, отчего шелковый плащ скользнул с плеч, удержавшись на шейном золотом колте, и начал:

— В твоей империи есть и наемные войска, за плату. Есть и обзанные службой за земельные участки вместо налога. Ты, как полководец, каких считаешь лучшими? Кем ты хотел бы начальствовать, буде тебе предложат выбор?

Чуть подумав, нет ли в вопросе скрытого смысла, Склир ответил без хитрости:

— Среди наемных есть нанятые неопытными людьми и негодные к бою. Исключая таких, я всегда предпочту наемных. Война — их ремесло, им некуда больше деваться. Призванные в войско земледельцы думают о семьях и как бы поскорее вернуться домой. Поэтому они легко разбегаются.

— Благодарю тебя, — сказал Яромир. — Позволь еще спросить. В твоей империи базилевсы свергают своих предшественников. Человек ничего не совершит один. Каждому нужны помощники. Чем у вас привлекают помощников те, кто хочет стать базилевсом?

«Будто ребенок, который хочет от первого встречного получить в двух словах объяснение причин, потрясающих государства!» — подумал Склир. Нет, это неспроста. Щедрый тмутороканский почет опьянил Склира. Здесь он полномочный посол империи, на него обращен зрачок Тмуто-

рокани. Скифы превращают пир в училище и гостя в педагога. Он скажет им достаточно, чтобы они оглянулись на себя и запомнили Склира! Для начала увенчать себя лилиями скромности...

— Перед вами не мудрец, — говорил Склир, — я воин, я никогда не мечтал и не возмечтаю покуситься на высшее против моих скромных достоинств.

Здесь Склир, по памяти, высыпал набор слов, которыми обязаны пользоваться верноподданные. Затем перешел к делу:

— В великих делах, как завоевание диадемы, считают наиболее надежными купленных сторонников. Почему? Приобретенные убеждением опасны, они могут переубедиться, они рассуждают, хорошо ли они поступают. И колеблются. Те, кто увлечен возможностью возвышения, обогащения, стремятся скорее получить вожаемое. После удачи они успокаиваются и служат базилевсу, возведенному ими на трон. Их благополучие связано с базилевсом. Те, кто действовал по убеждению, склонны осуждать базилевса, за которого они только что сражались. Он-де, взяв власть, не так поступает, как обещал. И, вместо того чтобы укрепляться, новый базилевс вынужден уничтожать вчерашних друзей, что и опасно, и нелегко исполнить.

Тмуторокань гуляет не одна, полно корчевцев. Корчев — пригород, права его жителей одинаковы с жителями Тмуторокани. У тмутороканских пристаней вода заставлена челнами, лодьями, лодками. Берег занят вытасченными на сухое челноками и лодочками. Отдыхает рыба — хозяева ее трудятся празднуя.

На херсонесской галере тихо. Ночью, когда взойдет луна — идет начало третьей четверти, — греки пойдут в обратный путь. Умный кормчий дал гребцам попить вволю в самом начале. Все спят, отсыпаются. Запасая силы, спит и кормчий, оставив для порядка помощника нести стражу. Ночью кормчий поведет галеру, пользуясь береговым ветерком. К полнолунию море бывает спокойным, тихо оно и сейчас. Зато Тмуторокань шумит. Там людское море-океан.

Океан ли? Или одно привычное сравнение? Скромное сравнение. Однообразно сменяются удар волны и шорох отката. Однообразно воеет ветер в завитках уха — раковины. Одно общее — привыкая или отвлекаясь, человек не слы-

шит бури. Так за княжим столом люди, увлеченные беседой, не слышали буйного шума веселой Тматорокани.

Говорят, кричат, зовут, поют, смеются, хохочут, бранятся. Чудесные раковины ушей то пропускают весь шум слитно, то начинают отбирать и находят нужное своему обладателю способом, не известным ему самому. Послушное ухо. Не всегда.

Где грань между вольностью чувств и подчиненьем их разуму так, чтобы не отмирало чувство? Никто не знает. Знают иное: вольное чувство можно поработить и замучить, заставив его замолчать до поры, пока оно не отомрет. Навсегда. Ибо нет в человеке кладовой, где он может до времени сохранить ненужное ему для текущего дня.

Кто решится приказывать своему сыну, своей дочери: преврати твою душу в пустой склад?

Кто решится им же советовать: возвращай чувства, давая им вольность?

Вот и умолкли советчики, вот и замерли языки и наемных и добровольных молотильщиков словесной макины. Нет ответа. Сам решай.

Ликует вольная Тматорокань. Что там море! Отойди на десять шагов — и нет прикосновенья брызг. Подальше уйди — не услышишь и голоса. Люди — как лава, если бы лава, извергнутая огнедышащим жерлом, могла подниматься вверх.

Тматорокань кипит лавой веселья и мысли. На веселой свободе она пузырится у каждого по-своему. Глядите, бывалый в разных местах белого света тматороканец мертвой хваткой вцепился в случайного друга из Корчева. Хмелю ровно настолько, чтобы слова легче текли. Тматороканец ликует, найдя свежие уши. Со своими он щедро делился и давно надоел.

— Германцы от других отличаются речью, непонятной для них самих. О простом — просто. Хлеб — он хлеб, лошадь — лошадь. Но как начнет германец объяснять, скажем, что правда, что ложь, да почему солнце по небу ходит, либо почему они, германцы же, тщатся у себя в Германии устраивать Священную Римскую империю, на что им Римская, и почему Священная, то беда им самим. Говорят по-своему, но друг дружку не понимают, и все торгуются, как какое слово понять.

Корчевский вскипает маслом на сковороде. Как все, он любитель порассудить, откуда пошло и то, и другое, и по-

чему оно так, а не иначе. Только что он убеждал собеседника: есть рыбий язык, рыбы между собою общаются, как сухопутные твари. Иначе как им найти друг дружку, они же не теряются в самой мутной воде. Про Германию знает, отсюда, из-за стола, пальцем укажет, в какой стороне живут германцы. Но чтобы они по родной речи блуждали даже в зрелом возрасте!

Корчевский давно вырос из молодой поспешности: чего не знаю, того и нет. Не оспаривая нового знакомца, он вслух рассуждает недоумевая:

— Как же так? Белое — белое, черное — черное, доброе — добро... Конечно, не так уж просто понять сущность добра. Для степного кочевника добро, когда он напал и ограбил; зло, когда его нагнали, побили, все отняли, и его, и награбленное. Но слово, слово! Как же без слова!

— И-эх, друг-брат, — подхватывает тмутороканец, — для тебя — черное, белое, а германцу — серое, пестрое.

Подперев бороду кулаком, корчевский уперся взором куда-то. Чувствует, что в сеть пришла рыба не рыба, зверь не зверь. Мысль его ощущает присутствие чего-то значительного, нужного, хотя прибыли ждать не приходится. И решает:

— Где твой дом? Приду я к тебе, послушаю.

Не до беседы. Затянул кто-то сказанье о красавце Мстиславе. Каждому хочется петь. Прыгнув на стол, песенник управляет руками. Гудят басы, вступают женские голоса. Смолкают по знаку, а песенник высоко звенит горькой жалобой:

Покинул ты нас, богатырь ненаглядный!

Ему отвечают призывом:

Эй, вернись, эй, вернись на крутой берег
Русского моря!

Но спорит печальный голос запевалы:

Не вернется, не вернется...

Покончив с одной, начинают новую на старый лад; не было бы старых песен, не рождались бы новые. Без новых — забылись бы старые.

На княжьем дворе девушки повели хоровод. Головы в венках, сами в шелках, звенят ожерельями, пальчиком

тесно от колец. Красуются красные девичьей вольностью, длинными косами, скромными взглядами, важную поступью. Поют коротенькие величания, а в них среди обрядных слов — колючий рспей. У херсонесского воєводы ноженьки сохнут от скачек по тмутороканским холмам. Порей жернов надел вместо шапки — боярин любил похвастаться силой. Вышата — с русалками, Туголук — с белым камнем, Яромир — с летописями, князь Ростислав — с Жар-Птицею, в клеточке содержимой... Словом, всем сестрам — по серьгам.

А солнце-то? Прячется... Убрали навес-радугу, унесли, прибежали с ковром, стол вытащили на середину двора, застелили, с одного конца встали трое гусельщиков, с другого — трое свирельщиков.

Заговорила первая свирель, вторая, третья, вступили гусли. Знакомая мелодия среди общего шума заколебалась камышинкой на буйном ветру. Упорны тростник и струна, повторяют, твердят свое, и песня находит слова в чувствах, внутри человека.

Кто же придумал тебя, сладкое колдовство томительно-долгого вступления в песнь? Шум утих. В дверях княжого дома встала Песня. Окутанная легкой тканью, сбежала во двор, и вот уж она на столе, возвышаясь над всеми. С ней пришли слова.

Любимая не надост тебе, если сумешь любить. Пусть нет справедливости — есть справедливые люди. Не будет свободы, когда не станет свободных людей.

Я не о береге тоскую...

Пела Песнь о Руси, которую унес в дальние страны витязь в широкой душе. На чужом берегу он играл на русской свирели.

Сражался он, побеждал и был побежден, жил, прикованный цепью к стене. Все у него отняли, ничего не осталось, кроме хранимой в крепости твердой души.

Порвав цепь, он вырвался на волю, но корабль разбился. Он плыл, вокруг него играли дельфины, очи слепли от соленой воды, витязь плыл и лишался уж силы, когда ноги коснулись песчаного дна, над которым стоял берег сурожский, дик и крут...

С помощью малой дружины свирелей и гуслей Песнь— Жар-Птица полонила княжой двор, взяла улицы и сияла в сердце Тмуторокани. Чертит темнеющее небо искра падающей звезды. Забывшись, плачут мужчины, размазывают

горькие, сладкие слезы по грубым щекам. Омываются души печалью.

Гаснут факелы. Догорают восковые свечи. Уж поздно. Уж луна тягостно рождается над мглистыми горами. Проглянула, остановилась, и опять ее затянуло во мрак. Трудно ей выйти из темного лона.

Готовы провожатые, которые выведут херсонесскую галеру в открытое море прямым путем. Будто бы повеял береговой ветерок. На княжьем дворе, в закрытом месте, он едва шевелит язычки пламени на свечах, а в море поможет. Попутный.

Пора! По приказу комеса Склира молоденький кентарх принес из отведенных грескам покоев большой кувшин с запечатанным горлом и дорогую чашу розоватого стекла с золотым ободком.

— Желаю выпить с тобой последнюю чару! — обратился комес к Ростиславу и осушил чашу до половины. Держа ее обеими руками, Склир сказал князю: — По слову древних язычников, любимцы богов умирают молодыми. Желаю тебе, князь, желаю и себе, чтобы судьба вовремя рассклала нити наших жизней. Чтоб не дожить нам до жалкой дряхлости, да, до дряхлости...

Мысль Склира прервалась. Видно, последние глотки вина пришились лишними. Чаша, которую он держал обеими руками, дрогнула, и комес едва поймал сосуд, схвативши за верх. Будь чаша полна, он и расплескал бы вино, и омочил пальцы. Покачав головой себе в укор, Склир справился и продолжал:

— Желаю: не довелось бы нам так состариться, что сделаешься тягостью себе же. Что не станет силы пользоваться радостями жизни. Однако такое далеко от тебя, князь, тебе предстоит долгая жизнь, великие дела. Полюбил я тебя...

Далее Склир благодарил князя и всех его сановников за дружбу, за сердечность, приглашал и князя, и всех гостей в Херсонес.

Утомив других и сам утомленный долгой речью, Склир наконец-то вручил чашу Ростиславу, стоя ждал, пока князь ее не осушит, просил и чашу принять в дар, как залог любви.

Кентарх тем временем угощал всех, разливая вино из кувшина, пока не упала последняя капля. Склир больше не пил, прося прощения: едва держится он на ногах, сов-

сем охмелел. И смеялся, как давился, и целовался с боярами.

Вино похвалили. Нашли один порок. Напрасно греки, любя горькое, добавляют смолу. Не будь того, вину и цены б не было.

Проводили до пристани, помогли гостю переступить через борт. Ноги отказывали Склиру, и его бил озноб. Двое русских ушли на нос галеры, третий встал рядом с кормчим. Галера пошла, увлекая челнок, на котором вернутся провожатые.

Тем и окончился пир. Комес не знал, что трое таврийских перебежчиков горько укорили князя Ростислава, за чем пил из рук Склира. Предлагали задержать греков на время, пока не скажется, было ли что подложено в вино. Не поздно. Галера пойдет по-над берегом, поскакать да крикнуть своим: сажай греков на мель. Тут же посадят.

Настояньям перебежчиков не придали веса. Склир сам выпил полчаши у всех на глазах.

Мутно светит луна, красная муть лежит на тихой воде тмутороканского залива. После жарких дней над Сурожским морем, над солеными озерами, над камышовыми топями донских и кубанских горл встает туманная мгла — издали что твои горы. И гудом гудят комариные рои. Здесь комаров во много раз больше, чем людей на всей земле, даже если собрать всех, живших на ней от сотворения мира.

Луна неповинна в зловещей мрачности своих тмутороканских восходов. Рукой подать — сделай два перехода на восток и любуйся, как встает она не из-за тяжелых твоему глазу туманных глыб, а из-за легких гор и дарит ясные ночи. Там восход луны поспорит с лучшим часом рассвета.

Черной, как дегтем вымазанная, уходила херсонесская галера, уменьшаясь во мгле. Нет, она таяла, размываясь в море и в ночи, слабел кормовой огонек.

В свою меру наплакавшись под любимую песню, боярин Яромир держал грубую речь в пустой след дорогого гостя:

— Сам себя ты огадил за нашим столом. Потыкать бы тебя носом, как нашкодившего щенка. Пустил я тебя миром, чтоб не класть хулы на Тмуторокань. Многознайка! На клятву свободен, на преступленье клятвы свободен. Десятиязычный!

— Оставь, друг-брат, — сказал князь Ростислав, — что тебе в нем! Они нас боятся, вот и кичился он перед нами от страха.

— Я его оставлю, попадись мне! С камнем на шею в глубоком месте. Гриб погребной! Не только у нас говорят: за одного грека дают девять иудеев. Кто ж спорит, пить-есть хочет каждый. Так знай же меру! Не одним хлебом живет человек. Есть греки и грски. У меня самого мать грчанка. Таких грсков, как Склир, ты еще не видал. Ты думаешь, я ему за столом поддавался для смеху? Для тебя, для пришлых с тобою, князь, мы, коренные, старались. Вживайтесь, глядите. Еще скажу, я втрое убавил твои подарки грекам.

— Нехорошо ты сделал! — с досадой возразил Ростислав. — Правда, в пору хоть их возвращать.

— Не вернешь! — вмешался Туголук. — Спроси-ка всю Тмуторокань! — И размахнулся пошире: — Всяк тебе скажет: я соблюл честь. Они дают не подарки, а дань. Ты же в ответ жалуешь их из милости. Не годится щедро жаловать, зазнаются.

— Верно. Правильно говорит, — поддержали своего коренные тмутороканские бояре.

К ним, к своим, подходили другие местные, и теснились, заполняя пристань так, что уж не пройти, и молчали, и в молчании было: пришлый ты, князь Ростислав Владимирович, приняли мы тебя с твоими, но корень твой неглубок, поживи, посиди, вращешься, а пока слушай наше слово, мы — Земля.

Дав урок, постояли и пошли по своим местам, кто додать-допивать, а кто хмель просыпать. Вовремя грсков отпустили. Затяни — и к языкам могло присоединиться железо. Пусть и не каждый, но в хмелю человек выдает затаенное в душе.

К испытанию вином на берегах Теплых Морей добавили второе: мужчину проверяй женщиной, женщину — мужчиной.

По-русски такое не звучит, человек широк, он сам себя испытывает делом. Любовь — как венец, она не пристала ничтожеству, не годится для злобных. Надень — упадет. Это паденье, не в пример другим, легко предсказать, потому и не стоит испытывать.

Галера шла ходко. Гребцы хорошо отдохнули, набрались сил из щедрых тмутороканских котлов. Будь их воля,

гостили б они и гостили в Тмуторокани, пока не погонят в тычки.

Прошли мелкие места между песчаным островком — косой и высоким берегом, от которого падали тени, обманчивые, опасные для чужих. Луна, взобравшись на мгlistую гряду, светила щедрее. Вскоре направо и впереди обозначился маячный огонь на таврийском мысу. Провожатые стали не нужны. Гребцы осушили весла, русские подтянули челн к корме.

Комес Склир, скинув плащ, в который он зябко кутался вопреки теплой ночи, подошел к провожатым.

— Благодарю за услугу, — сказал он, — возвращайтесь с богом. — И засмеялся: — Скоро у вас будут новости!

— Плыви и ты с миром, — ответил русский старшой. — А какие же новости ты нам сулишь?

— Большие! Неожиданные! — сказал Склир, махнул рукой и расхохотался.

Русские погнали свой челнок изо всех сил, гребли молча. Заговорили на пристани. Старшой сказал:

— Слыхали? Грек скверно смеялся и отпустил непонятно.

— Хмелен, да не пьян, — заметил второй гребец. — Я таких не люблю, говорит — не договаривает.

— Злобно он хохотал, — добавил третий. — Гребцы с галеры рассказывали о нем — дурной человек. Впрямь плох, коль свои на него чужим наговаривают.

— Не такие для нас и чужие, те гребцы-то, — поправил старшой.

После степного пожара огонь еще долго держится местами среди будто погасшего серо-черного пепла.

Тмуторокань утихла, да не совсем, кое-где еще доканчивают не спеша, в полную сласть. У кого дух посильнее да тело покрепче, с таким не легко справиться хмелю с обжорством. Такой свою меру знает лучше других, да мера то у него и глубока, и широка. Подсев к первому огоньку, греческие проводники дружно вздохнули и пощупали пояски. Да проводов они себя малость обидели, теперь наверстают, для того и спешили.

Луна, став ясной, подтягивалась ко ключу небосвода. Скоро она его одолеет и степенно пойдет книзу. Верховой ветерок, свежая, заигрывал с пламенем огарков свечей, угрожая сорвать с фитиля. Пусть! Светло от луны, а пьяный и при солнышке сует кусок мимо рта. Тихо. Спят псы,

нажравшись досыта. Много ль им надо, если сравнить с человеком!..

Провожатые греков ели, пили, грудь нараспашку — сыпали словом в меру, без меры. Среди праздных слов падали полновесные, как на току. Полова же отлетала, как на ветру.

Поменьше болтай, больше поймешь. Греки уплыли? Уплыли. Проводники от себя будто бы ничего не сказали, не убавили и не прибавили. И дело-то было на пиру да за чарой. Через два дня, через три слухи перекинулись в Корчев: быть худу.

Родилось беспокойство, будто куда-то тебя позовут, будто чешутся руки. Чесали, а зуд оставался: у каждого — свой, у всех — общий по общей причине.

Русская Тматорокань — отрезанный кусок. Дальний выселок. Не было дороги на Русь, были тропы через чужую степь.

Империя лежала поближе к Таврии, чем Русь к Тматорокани. На широкой морской дороге грекам могли воспрепятствовать только бури, русским на сухом пути могли помешать люди. Что опаснее? Слепая сила стихии или зрячий, расчетливый степняк?

Вопреки Степи, Тматорокань растила поколение за поколением. Из-за Степи тматороканский быт привычно покоился на непокое. Потому-то Тматорокань могла сразу, без слов, взяться за дело. Потому-то тматороканцы учили детей: поменьше слушай, побольше узнаешь. И не жаловали поспешных вестов-дигов.

Комес Склир, приказав потушить фонарь — слепит глаза, — глядел и глядел назад, будто бы ждал, будто бы чего-то можно было дожидаться. Утомившись, забылся. Среди ночи очнулся, дрожа от холода: галера шла в открытом море под парусом, береговой ветер разгулялся на просторе.

Звездное небо раскачивалось над Константом Склиром, а он и вспоминал, и видел, и бредил не столь дальней историей Василия Склира, старшего отцова брата. Переплелась она с большими делами империи, и рассказать ее можно так.

В ночь на 11 апреля 1034 года базилевс Роман Третий лежал без сна в палатийской опочивальне. Шла последняя неделя великого поста, в дни которой сановники ежегодно награждались раздачей денег, и завтра базилевс собирался украсить церемонию своим присутствием.

Путь, которым Роман пришел на престол, был прям и прост. В конце 1028 года серьезно занемог шестидесятилетний Константин Восьмой. Близкий конец был очевиден, и главный етериарх — начальник палатийской стражи — разумно пользуясь величайшим для трусливого базилевса значением своего поста, убедил бодрящегося больного назначить своим преемником скромного, образованного и, думалось, смиренного характером патрикия Романа из фамилии Аргиров, бывшего лишь на десять лет моложе Константина, но зато связанного с династией узами родства. Романа тут же развели с женой и хотели женить на Феодоре, младшей дочери Константина. Но ее сопротивления не удалось побороть, и Роману досталась Зоя, вторая дочь Константина, женщина не молодая и хорошо пожившая в годы своего девичества. Самая старшая, Евдокия, сильно обезображенная оспой, к тому времени успела принять пострижение в монахини. Брак Романа и Зои состоялся за два дня до смерти Константина. Роман объявил прощение недоимок по налогам, казна уплатила долги неисправных должников, находившихся в заключении. Выкупили пленников, уведенных печенегами за Дунай в предыдущее правление. Особенными милостями была осыпана Церковь; клиру святой Софии новый базилевс назначил богатейшие вспомоществования, дабы клирики, даже последний служба, были до конца дней своих избавлены от заботы не только о своем хлебе насущном, но и о хлебе всех своих присных и родных до дальнего колена. Вступив во вторую половину жизни — считая срок жизни праведных в сто лет, — Роман отдался мечте о строительстве храмов с такой силой, что само духовенство возражало, опасаясь истощения казны. Константин Восьмой изливал золотой дождь на пороки, Роман — на цели добродетельные, которые превращал в зло чрезмерностью. И патриарх, и настоятель Софии не хотели дополнительных украшений и так пышного храма, достаточно кое-что подновить обычной позолотой, когда одного фунта золота хватает на целый купол, украсить кое-что не настоящими камнями, но искусственными, из граненого стекла, подложенного амальгамой.

Ученые богословы-теологи допускали и вещественные изображения бога, и храмовую роскошь как воздействие на чувства людей истинно верующих, но слабых и непросвещенных, которым для обращения к невидимому нужно видимое, осязаемое. Патриарх, пытаясь вразумить увлекшегося Романа, захотел пояснить: бога не уловишь, как

птицу сетями, обилием вещественных приношений. Но отступил, ибо в Романе, до того времени скромном христианине, открылся доподлинный язычник, подобный тем, которые насильно склоняли к себе милость идолов обилием пролитой на жертвенниках крови животных и пленников.

Базилевс Василий Второй угнетал богатых земельных собственников, видя в них опасность для единства империи. Его брат и преемник Константин Восьмой оставил в силе законы Василия. Роман Третий отменил ограничения, считая, что следует не гнать богатых, но мягко препятствовать им угнетать убогих, малоимущих, которые суть у бога. Возрадовались Дуки, Фоки, Мелессины, Далассины, Палеологи, Каматиры, Комнины и прочие, которые ненавидели Василия Второго не меньше, чем изувеченные им болгары. Отныне для знатных людей оставалось одно препятствие на дороге к власти — иерархия служащих, которые выдвигались из чем-то отличившихся людей, невзирая на звание. Эти-то служащие — от высших сановников до низшего налоговосборщика, — обучая один другого и передавая навыки, удерживали провинции в подчинении Палатию, создавали единство империи и непрерывность правления, кто б ни носил диадему. При Романе Третьем явно обнаружился спор: кому не править империей, но распоряжаться в ней?

Сам же базилевс, нечаянно пошатнув имперские устои, тут же повернулся спиной и к своим богатым, и к бедным подданным. Ему пришлось заняться собственным домом.

«Дракон бедствовал, ибо управлялся глухой и слепой частью тела — хвостом». Подобной притчей писатель напоминал читателям об опасности ослабления единой для империи центральной власти. Но кто его слушал? Никто.

Клевета и доносы, как непрерывно падающие капли, погашают остатки любви и, в своем постоянстве, заставляют верить себе.

И ранее сестры Зоя и Феодора не ладили между собой. Сама Феодора своим отказом от брака с Романом восстановила против себя базилевса.

Для Зои Роман был мужем по имени, их брак совершился государственным расчетом. Ныне оба объединились в ненависти к Феодоре. Произошло несколько тайных следствий и тайных судов без участия обвиняемых. Если кого и спрашивали, то, как писал современник, «вызывали не на суд, а на осуждение, спрашивали о том, чего не было и чего он не знал».

В предыдущем правлении сын последнего самостоятельного базилевса Болгарии, по имени Пруссиян, командовал одной из малоазийских провинций империи. Свояк будущего базилевса Романа, Василий Склир, человек знатный, решительный и беспокойный, поссорился с Пруссияном и вызвал его на поединок, чем нарушил иерархию. Склир был за это заключен и затем оскроплен в наказание за попытку к побегу. Вскоре, при поддержке Романа, Василия Склира простили. Ныне он был восстановлен в придворной должности: часто применявшееся в империи оскропление отнюдь не рассматривалось как позор или бедствие. Неприятность, как каждое наказание, но временная и открывающая возможность дальнейшего возвышения, тем более для лиц высокопоставленных.

Вскоре после коронации Романа младшая сестра Зои, Феодора, была обвинена в заговоре о похищении престола с помощью Пруссияна. Его ослепили вместе с десятком обвиненных в пособничестве, а мать его, вдову болгарского базилевса Владислава, Марию, из владетельного грузинского рода, сослали в дальний малоазийский монастырь.

Затем показался опасным полководец Константин Дигенис, разбивший и отбросивший за Дунай в 1027 году вторгшихся в империю печенегов. Чтобы разорвать связи, перевели его командовать малоазийскими войсками. Здесь схватили, постригли в монахи и заключили в монастырь. Многих обвинили вместе с Дигенисом. В числе таких был и один из доверенных сановников Василия Второго, Иоанн. Этот Иоанн был вначале приставлен к Феодоре как смотритель ее двора, чтобы погубить сестру базилиссы Зои. Он раскрыл якобы заговор, был награжден, а теперь пришла очередь и ему быть списанным в расход, как выражались в то время. Уличенных по делу Дигениса подвергли публичной порке и разослали по дальним местам под строгий надзор, но на свободе — свободе умирать от голода, прося подаяния. Феодору отправили в монастырь и насильно постригли. Бывшего полководца, ныне смиренного инока Дигениса, опять привлекли к суду: он будто бы собрался бежать в горы к шкипетарам и выступить претендентом на престол. Дабы избежать наказания плетью, оскропления и ослепления, Дигенис бросился из окна вниз головой на каменные плиты и умер мужчиной.

С осени 1033 года здоровье базилевса Романа начало внезапно ухудшаться. Пропал интерес к пище, и усилия лучших поваров оставались тщетными. Базилевс лысел со странной быстротой, и вскоре у него остались лишь редкие

пучки на висках. Борода и усы так поредели, что просвечивала кожа, и волосы можно было бы сосчитать, если бы базилевсу вздумалось приказать это сделать. Лицо опухло, а тело исхудало. Мучила потеря сна. Лучшие врачи тщетно изошрялись в своем искусстве, испытывая отвары трав, настои цветов, драгоценные камни, мази. Ничто не помогало. Базилевс вопрошал: за что? И не видел своей вины, сколько бы ни искал в памяти. Он всрвал в бога, никогда не усомнившись ни в одном из канонов, не нарушал постов, не распутничал, не чревоугодничал, ничего не скрывал на исповеди и думал и искал только пользы для христианской империи. Для этого он соединился таинством брака с развратной, нечистой женщиной, и грех этот был давно прощен ему Церковью и прощался вновь, так как он, исповедуясь, не забывал вновь и вновь каяться. Откажись тогда Роман, и империя впадала бы не в его руки, а в другие, то есть плохие. Не так ли?

Все тело ныло, во рту было гадко, хотелось пить, но лучшие соки лучших плодов были горьки. Нужно есть — он подчинялся врачам, но нежнейшее мясо, и овощи, и молоко — все имело тот же особенный горький привкус чего-то. Чего? Он не мог объяснить словами врачам и гневался на их непонятливость. Невежды, тупицы! В своем присутствии он приказывал евреям бичевать неспособных и глядел, как вздрагивает голое тело, как корчится, когда евнух метко попадает концом бича в самое чуткое место. И все же не добивается крика, ибо кричать в присутствии базилевса нельзя. Потом базилевс дает наказанному поцеловать руку и предупреждает, и наказанный благодарит базилевса и уходит, едва переступая широко расставленными ногами.

В бессонные ночи базилевс перебирал в памяти посланных «на свободу», постриженных, заточенных в монастыри. Достаточно ли мера? Взвешивал. Дополнял — такого-то нужно еще ослепить, такому-то урезать нос. Вспоминаются книги — он много читал прежде, — теперь нет времени, и голова, венчанная диадемой, поистине полна, а память свежа по-прежнему.

Философы!.. Люди хотят судить особенно о том, чего не знают, ибо известное не интересно. Всем любя рассуждения о Власти — всем безвластным, всем сторонним наблюдателям, иной пищей их ума не корми. Суждения невинных отроков о женщинах — одни превозносят, другие чернят, но все одинаково скрывают дрожь. Пишут: вольность речи, телесная сила, неукротимый характер,

красота — такие качества подданных якобы колют, беспокоят сердца базилевсов. Бессмыслица! Базилевсы нуждаются в сильных помощниках, а наблюдение за ними — государственная необходимость. Базилевс возьмет тяжкий грех на душу, коль позволит разгореться восстанию. Константин Дигенис! Его слишком любят войска, говорят, он тайно сносится с болгарами, посылает тайных послов за Дунай к печенегам...

Роман протянул руку и слегка — не хочется делать усилий — толкнул низкий столик у изголовья. Послушно вздрогнув, столик сбросил серебряный шарик, и желобок направил его на край бронзового колокола величиной с голову ребенка. Подвешенный почти над полом, колокол издал длинный звук, нежный, как голос женщины. Вдали шевельнулась тяжелая порфировая завеса двери, почти черная в слабом свете лампад, и явилось нечто белое, неясное, как пятно снега на далекой горе, как клочок тумана, который — Роман очень помнит — однажды испугал его на ночной переправе через Босфор. Давно. Тогда он еще не был базилевсом, а был ничем. Теперь он не боится ни ночи, ни смутных образов снов, ни теней, ни движений. Он базилевс, обеспечивший себе безопасность. Пришел доверенный евнух. Свой, родственник, зять. Василий Склир, которого оскопили за буйство при Константине Восьмом. Тогда Роман выхлопотал ему свободу, прощение, избавив от худшего, ибо поговаривали об ослеплении. Склир наклоняется к своему державному родственнику. «Зеркало!» — приказывает базилевс. От маленькой лампадки — не перед иконой — Склир зажигает свечку и переносит огонь к седьмисвечнику за изголовьем кровати, именуемой священным ложем, берет большое зеркало и становится так, что Роман видит себя. Базилевс любит смотреться — часто и подолгу глядит он в зеркало. Перемены были быстры, но базилевс не замечал их. Он смотрит, поднимает и опускает редкие брови, разглаживает тонкими пальцами волоски бороды и глядит, отыскивая не внешность, а сущность. Угадывая, по привычке, Склир подносит зеркало ближе, базилевс заглядывает себе в глаза и чуть улыбается собственному величию.

Ночь. Палатий спит, а те, кто в Палатии бодрствует, кто ходит, наблюдая за порядком, те немые, как статуи, и легконоги, как сны.

Тишина.

Базилевс мигает, Склир относит зеркало на подставку и ждет. Базилевс видит лицо, обычное лицо евнуха — все

они похожи, как братья, — и чуть кивает. Склир подходит к изголовью. Базилевс кивает еще раз. Склир садится. Папирус, чернильница, перо готовы, предстоит записывать волю, как бывало не раз. Склир спит рядом, в соседнем покое, где посменно дежурят еще евнухи, вернейшие из верных. Склир сам проснулся незадолго до зова и поэтому так быстро вошел. Угадал.

Базилевс хочет назвать имя опасного человека и вдруг вспоминает со страхом: Константин Дигенис давно мертв! Забыл, забыл! И едва не выдал свою слабость!

Базилевс тихо приказывает:

— Запиши, — и называет несколько имен из числа тех, которые уже несколько раз упоминались как подозрительные. — Поставь по два крестика, — замечает Роман. Это значит ослепление и ссылка в самые дальние места. Указ принесут на подпись завтра, Склир распорядится сам. Закончив, Склир поднимает голову. Сегодня всем сановникам радость. Нужно и этому сделать подарок. И базилевс говорит: — Пиши еще, Пруссиян и — черта. — Черта обозначает смерть. Склир тянется и целует руку благодетеля. Наверное, он доволен.

Забывшись перед рассветом — базилевс спал час с небольшим, что много для него, — погляделся в зеркало при свете восходящего солнца. Да, сон освежает.

— Что делают там? — спросил он Склира. Там — это в покоях базилисы, будто бы жены, брак с которой был освящен Церковью, принес Роману диадему, но не был завершен. Роман думает, что тайну знают лишь двое — он и Зоя: циничность тучной и рослой женщины, распутной, как отец ее, и брезгливость гаснущей мужественности начинающего базилевса вызвали унижительную сцену. И страшную для Романа, который, по палатийской привычке гнуть спину и душу, не сумел разогнуться. Тогда он вообразил, что эта отвратительная женщина действительно захотела в нем мужа, ей же нужно было унижить его и вырвать право пользоваться той же свободой, какая была у нее ранее, у этой развратницы, имевшей желание на многих мужей. И он дал ей свободу, поклявшись на величайших святынях — частицах креста и гвоздях, — которые Зоя приказала принести из алтаря храма Софии. Всеочищающая память обелила прошлое, и Роман простил себе, обезопасил себя. Он — базилевс, он правит, не она.

— Там без перемен, величайший, — ответил Склир. — Те же, и то же, и — тот же. — Не называя имени, Склир разумел красавца Михаила, младшего брата евнуха Иоан-

на, находившегося в услужении у Романа, когда нынешний базилевс был только патриkiem империи.

Три года тому назад базилевс взял к себе двадцатилетнего Михаила для личных услуг. Мальчик понравился ему и характером, и умом; он был хорошо грамотен, начитан. Его ждало хорошее будущее. И вдруг, тому минуло больше года, Михаил внезапно оказался в покоях базилиссы, и базилисса потребовала, чтоб он там и остался, напомнив Роману о клятве. Да, следовало бы нечто сделать с отвратительной грешницей. Если бы не болезнь. Но кажется, ему становится лучше. Только бы поправиться — и придет очередь Палатия, его нужно очистить от скверны.

— Ох, скверна, скверна, ох, грехи! — повторил Роман вслух. — Долго ли бог терпеть будет? А, Василий?

Склир не ответил, так как ответа не требовалось.

— Хочу в баню, дабы явиться освеженным перед глазами людей на выходе моем, — приказал Роман.

Повели под руки, умело и почтительно поддерживая всей силой, так как Роман обвисал и ноги его волочились, как у мертвого. Распахнули двери малого выхода. Здесь, в проходе, стояли отборные солдаты дворцовой стражи. Базилевс ожил — откуда взялись силы. Сам прошел переход, и только когда за входом в банный покой замкнулись двери, оставив базилевса наедине с евнухами, он опять повис на чужих руках.

В теплом, благоуханном воздухе бани после мытья, растираний, после того, как тело расправили, вытянули, освежили, базилевс ожил, сел на мраморной скамье, улыбнулся и даже не приказал, а просто сказал, будто на время забыл о величии:

— Ах, хорошо, хорошо! А теперь плавать хочу.

Он любил плавать. Банщики, сделав дело, ушли. С базилевсом оставались Склир и оба спальных евнуха. Одетые для приличия в короткие штаны, они, поддерживая с двух сторон базилевса, медленно сходили в воду по широким ступенькам лестницы, доходившей до самого дна. Склир глядел сзади на жалкую фигуру базилевса — живой скелет с раздутыми коленями, выдающимися позвонками хребта. Большая, опухшая, даже сзади лысая голова дрожала, но базилевс держал ее гордо, откидывая назад, будто глядел куда-то вдаль, над водой цистерны, прямоугольника длинной шагов в сорок и шириной в пятнадцать. У лестницы вода доходила до груди, дальше дно понижалось до глубины двух ростов, дабы базилевсы могли плавать и нырять, как в море.

Похожий цветом тела на замороженную голодом ошипанную курицу, базилевс был особенно страшен между внуками, широкими в тазе, откормленно-жирными, тяжелыми. Они напомнили Склиру базилиссу Зою, такую же тяжелую, но еще более широкую и смуглокожую, — внуки все видят — в этой цистерне, где она резвилась, и не одна — от внухов ничего не скрывают.

Погрузившись в воду, базилевс оттолкнул свои живые опоры и — чудо! — поплыл, едва-едва, но поплыл. Повернул, поискал ногами — говорят, нельзя разучиться плавать, — нашел дно и пошел обратно. Слегка задыхающимся голосом он позвал Склира.

— Василий, иди сюда, хорошо! А я еще поныряю! — И, заткнув пальцами уши и нос, закрыл глаза и, подпрыгнув, погрузился.

Внуки двинулись навстречу, чтобы помочь. Когда толстая лысая голова показалась над водой, внуки разом положили свои широкие мягкие лапы на плечи базилевсу, нажали, и странное мертвенное лицо беззвучно исчезло.

Через несколько месяцев после побега красавца Михаила в базилиссины покои внух Иоанн, брат беглеца и старый слуга Романа Аргира, представил Василию Склиру неопровержимые доказательства. Оказалось, что лишь по своей лениности, трусости и небрежению Роман не вмешался вовремя в дни ссоры Склира с Пруссианом. Оказывается, что не поздно было бы Роману вмешаться и тогда, когда за попытку к побегу Склира приговорили к оскотлению. Оказывается, Роман сказал — беда не велика, станет только умней и спокойней. Оказывается, жена Склира, которая была сестрой жены Романа, одолевала своего могущественного родственника жалобами на распутство и обиды от надоевшего мужа.

Пища и питье базилевса готовились под надзором, пробовались десятками людей, в том числе всеми, кто готовил и прикасался. Последними руками и последним ртом были руки и рот Склира. Внух Иоанн дал Склиру белый порошок, и яд целиком достался базилевсу: Медленный яд, ибо быстрого яда боялись. Иоанн говорил: этим же угостили Цимисхия. И некоторых других. Роман оказался крепок. Дали еще порошка. У этого базилевса душа жадно держалась за брэнное тело. Болен, умирает и — живет. Нет дня, чтоб не прошел слух — кончается. Нет конца. Нужно сделать конец. Сделали.

Пора, теперь безопасно. Поеживаясь, Склир вошел в теплую воду. Приказал внухам, окоченевшим, как камни:

— Довольно!

Жалкие останки, не поднимая над водой, потащили к лестнице и выволокли на ступеньки. Действительно, эта душа была приколочена к костям калеными гвоздями. Не открывая глаз, базилевс чуть дернулся, плечи приподнялись, точно грудь собиралась вздохнуть. Не вздохнула. Рот приоткрылся, и человек осквернил розовый с прожилками мрамор ступени струйкой черной жидкости. «Белый порошок превращается в черный», — невольно подумал Склир.

— Смойте, — сказал он евнухам. Сам же глядел на мертвое лицо, одной рукой ища биение жилы в запястье, другую положив на сердце. Остановилось. И лицо уже менялось, расправляемое пальцами смерти. — Иди, сообщи базилиссе, — приказал Склир одному из евнухов.

Тот, мгновенно одевшись, надел на мясо лица маску торжественной горести и поспешил, вестник нового влѣствованья.

Склир и второй евнух, вытащив тело, положили на спину, скрестили покойнику руки на груди, как полагается, и обвязали полотенцем, чтоб не разошлись. Глаза же оставались сами закрыты.

— Нам с тобой хорошо, а... — начал Склир, обратившись к евнуху, и не окончил, нельзя, и договорил про себя: «А империя, а диадема ходят по рукам, как портовые блудницы...»

Он отомстил лжецу, выместил зло на блудослове, который обманывал самого себя еще больше, чем других. Роман и тут хотел обмануть — сумел не глотнуть воды, сумел сжаться. Не вышло — лопнул внутри и задохся; хоть и отхаркал яд, но поздно.

А злоба жила, злоба не угасла. Кого бы еще, на ком бы сорвать, да не сразу, а так, как на этом, чтобы чах, иссыхал и к тебе же тянулся за помощью... Кого мне теперь ненавидеть?

Вверх, вниз раскачивались звезды над Константином Склиром, и будто бы светало, иль просто устал он... Дряхлый дядя Василий, живший в своем владении затворником, однажды пожелал поглядеть на мальчишку-племянника. Константу помнилась мягкая рука, бледное пухлое лицо, добрая улыбка; слов не сохранила детская память. Евнух вскоре умер, отказав все Константу. Но завещанное — до последней лозы виноградников — взяли заимодавцы. Впоследствии домоправитель матери неудачливого наследника

рассказал взрослому Константу о найденных в доме Василия копиях сотен доносов, которыми развлекался евнух, а также о собственных его воспоминаниях о жизни. Все это тогда же сожгли. Но куда дядя дел свое золото, на что израсходовал? На утоление ненависти, — так думал Константин. Но кого евнух ненавидел после Романа и кого губил? Знают бог и могилы...

Укутавшись, комес Склир уснул крепким сном. Пробудившись днем, приказал подать еду и опять спал, вознаграждая себя за трудные дни. И гребцы завидовали знатному человеку, сановнику, и каждый отдал бы сразу полжизни иль больше, чтобы поменяться местом с подлинным Феликсом — Баловнем Судьбы. Завидовал Склиру-Феликсу и молодой кентарх, которого Склир не хотел замечать.

Кормчий, местный уроженец, человек немолодой, был встревожен. Странны слова, сказанные комесом русским. Так не шутят. Зачем тушить фонарь? Зачем сидеть на корме? Что он, боялся погони? Кормчий был свидетелем неприятного зрелища. Привезли подарки. Только что их собрались погрузить на галеру, как явился русский боярин и взял назад наибольшую часть. Нехорошо...

Галера проходила узким, извилистым устьем Бухты Символов. Вечерело, иначе ложились тени, берега показались другими.

А! Ждут! Склир не подумал, что галеру, замеченную в море, как всегда, опередили сигналы постов. Он сошел на пристань. С видом победителя, как возница, выигравший бег квадриг, Склир поднял руку.

— Приветствую, приветствую! — воскликнул он, обращаясь к кучке встречающих. — Я привез добрую весть! Тмутороканский владетель обречен смерти. Ему осталось семь дней жизни.

— Он болен? — спросил старый кентарх, командующий отрядом Бухты Символов, правого края обороны Херсонеса.

— Нет еще, — ответил Склир, — но он скоро заболит, и его болезнь смертельна.

Не просто, нет, не просто совершить иное дело своей рукой, хотя такие же дела совершались уже многими тысячами раз. Предшественник прокладывает путь, как принято говорить. Как в чем! Испытай. Лезь в узкую щель, втискивай тело, дави страх, сдирая себе кожу с мяса и мясо с костей.

Нет, первому-то было легче. Всякие пути, указки и прочая словесная вязь суть звонкие образы, побрякушки речей. Нет, первый поступал так либо иначе в меру своего призванья, своих способностей и никакого пути не оставил.

Он либо они завещали примеры своих якобы тайных успехов. Сколькo-то базилевсов. Сколькo-то известных людей. Жен, избавившихся от мужей. Мужей, освободивших себя от досадных уз брака. Детей, угнетенных скупыми, непонятливыми родителями.

Удержи кусочек размером с чечевичное зерно под ногтем, урони его в чашу у всех на глазах. Сумей — зная, что делаешь! — задержать чашу в руках, отвлечь внимание на срок, пока не растворится добавка к вину. Встряхни, размешай, чтоб начинка вина не осталась в осадке. Пользуйся вином, приправленным смолою — смола отобьет привкус.

Забыв пристрастье к пышным словам, потрясенный кормчий галеры, выгнав жену, рассказал о странных словах и делах окаянного Склира двум верным друзьям-морьякам. Конечно, кто же не слышал об отравителях Склирах, у них, говорят, передаются по наследству секреты составов и готовые снадобья, которых хватит на всю империю. Уж хоть бы молчал. Из-за его хвастовства Тмуророкань возьмет нас за горло. Поглядишь на него — горд, будто победил каирского калифа. Такому море по колено: спал как младенец.

Ошибались, судя по себе. Трудно влезть в чужую шкуру. Склир очнулся в дороге: «Что, я спал?» Сильная лошадь, запряженная по-русски в оглобли, легко уносила повозку по гладкой дороге к Херсонесу.

— Прямо в Палатий Наместника! — крикнул Склир вознице, не помня, куда приказал везти себя, садясь в повозку. — Быстрее! Ну! Гони! — И ткнул кулаком в спину.

Конечно, к Поликарпосу. Не странно ли, не иметь никого, никого. Айше не в счет.

В Тмуророкани он не помнил об Айше. Поликарпос показал ее Склиру. Молодую сириянку в Херсонес привезла старуха, назвавшаяся теткой. Айше было тогда пятнадцать лет, как утверждала она сама, как говорила тетка, так было обозначено и в свидетельстве. Правитель Таврии, плененный красотой Айше, подобрал женщин. Немолодой

сановник, старик для Склира, устроил себе обитель блаженства с помощью Айше.

Обладатели драгоценностей любят тешиться восхищением посторонних. Поликарпос показал сирийскую прельстительницу Константу Склиру.

— Мы оба, любезный друг, пусть добровольные, но все же изгнанники. Ах, Константинополь! Жемчужина мира! Столица вселенной! Скажу тебе, ты поймешь, подобную женщину и там поищешь. Такое нечасто, да.

Толстый Правитель шевелил толстыми пальчиками, будто играя на некоем музыкальном инструменте. Понимай, как хочешь, но в Херсонесе, в деревне, умный человек может недурно устроиться. Особенно, когда он первый в этой деревне.

Сомнительное первенство. Вернее сказать, известное изречение Юлия Цезаря не следует переводить буквально. Мы бы предложили: лучше быть первым на острове, чем вторым на материке. Ибо остров, особенно скудный, может быть самостоятельным, деревни же зависят от городов, и восторги деревенских первенцев подобны радостям жизни бабочки-эфемеры: один день.

День Поликарпоса длился почти два года. Затем Айше предпочла Правителю комеса. Поликарпосу, кроме первого места в деревне, пришлось также усесться в готовое каждому из нас жесткое кресло философа-стоика.

Власть гражданская еще раз уступила подчиненной ей власти военной? Нет, конечно. Но что мог сделать Наместник комесу? Темнить служебное положение из-за такого пустяка, как наложница...

Империя давным-давно провалилась бы, не умей Палатий следить за частной жизнью сановников. Да, истинное лицо человека видно в его личной жизни. Государственная необходимость жестока, и кто поставит раздел между беспристрастной строгостью надсмотрщика и жадным любопытством сладострастника-подглядывателя?

Обличители тайных пороков терпеливы, как завистники, до часа, когда нужно и выгодно сделать скрытое явным. Где-то в Херсонесе, как и в других городах империи, сидел незаметный человек. Через кого-то, в какие-то сроки он слал прямо в Палатий мусор спален и помой кухонь значительных лиц. Эта смесь, антипод золота, тоже не пахнет: вопреки мнению толпы, которая предвзято, безосновательно верит в дружбу подобных, сходятся противоположности. В Палатии знают, как Склир лишил Поликарпоса наложницы. Дело будто б пустое?

Нет, при стычке там подумают: Наместник мстит комесу...

Констант Склир оказался весьма болтливым и дал Поликарпосу время опомниться, время принять происшедшее. Сопровождая многословие Склира кивками, Наместник изготовился к состязанию.

— Вполне ли ты убежден в успехе? — спросил он.

— Да, я делал все сам. Кто-то сказал: заботящийся о себе обязан служить себе сам, — блеснул комес.

— Не оспариваю, — согласился Поликарпос. — Но снадобье, — они оба не хотели настоящего названья, — хорошо ли? Ты ведь знаешь правду о Романе Третьем! Его долго кормили этим и, наконец, утопили.

Дерзость! Василий Склир, распорядившийся базилевсом Романом, приходился родственником комесу Константу. Но сейчас Склиру не время ссориться... И Поликарпос это знал.

— Средство верное, — возразил Склир, — проверено. Я сам проверял.

— На человеке? — деловито осведомился Поликарпос с умелой наивностью.

Склиру пришлось проглотить вторую дерзость. Он не ответил.

— Понимаю, понимаю, — поспешил Поликарпос с той же непосредственностью. — Что же! Будем молчать и ждать.

— Чего? — вскинулся Склир. — Я бросился с дороги прямо к тебе не для болтовни. Прикажи подать нужное для письма. Папирус для черновой и пергамент для переписки. Я составлю донесение базилевсу. Ты скрепишь и немедленно отправишь. Я обеспечил базилевсу мир в Таврии. Он имеет право узнать об этом.

— Величайший, августейший, божественный имеет все права, — согласился Поликарпос. Недавно и дружно они издевались над базилевсом. Столь же дружно забыли — большой знак! — Однако рассудим, как говорил философ, — продолжал Поликарпос. — Если князь Ростислав будет жить, ты окажешься в тесной одежде. И я с тобой. Если умрет — твоя туника окажется еще более узкой. И моя. Несправедливо для меня в обоих случаях. Но базилевс Константин Дука строг во всем, что касается формы.

— Как! Ты не одобряешь меня? — воскликнул Склир. — Ты не хочешь смерти врагам?

— Одобряю и хочу, — возразил Поликарпос. — Я вообще хотел бы смерти им всем. Мне было б так покойно,

вымри они все за нашей границей. Никого не бояться. Возвращение в рай. Да, я накормил бы всех твоим снадобьем! Мы сняли бы расходы на стены, на войско. Трех сотен отборных солдат нам хватит следить за повиновсьем подданных. Предварительно мы отнимем у подданных оружие, к чему им оно будет тогда, — мечтал Поликарпос. — Но, увы, такое не в нашей власти...

— Ты забросал меня словами, я не понимаю, — прервал Поликарпоса Склир.

— Сейчас, сейчас, — зашепшил Поликарпос, — поймешь! Ты, может быть, действительно совершил доброе дело. Но даже такие замечательные полководцы, как ты, превосходительнейший, не знакомы с некоторыми вещами. Хотя базилевс не поручал тебе ничего, ты в Тмуторокани был для русских послом империи. Послы империи не убивают, не кормят... снадобьями.

— Ты! — вскричал Склир. — Ты! — Он плевался от ярости. — Ты со мной как с мальчишкой! Что-о! Я не знаю? Чего не знаю? Дел наших послов? Не понимаю пользы империи? — Комес искал рукоятку меча.

— Тише, тише! — Поликарпос махал на Склира обоими руками, как птичница на задорного петуха. — Мало ли что бывало! По какому-то поводу в писании сказано, что левая рука не должна знать, что совершает правая. А ты хочешь, чтоб я скрепил твоё донесение и послал галеру! Будто мы вместе с тобой кормили Ростислава. Не перебивай! — простер руки Поликарпос. — Такое будет значить для меня еще худшее: я сам не умею молчать и не сумел тебя убедить. Слушай! И кормят, и убивают. Но никогда не признаются, никогда. Империя должна быть чиста. Существует только то, о чем знают. Неизвестного не было.

— Конечно, — согласился Склир, — и мы пошлем пергамент самому базилевсу.

— Ты не знаешь канцелярий, — возразил Поликарпос. — На имя базилевса поступают десятки писем. Читать их базилевсу не хватит суток. Читают в канцеляриях. Докладывают только то, на что не могут или не смеют ответить сами. В таких особенных случаях заранее подбирают ответы на вопросы, которые может задать базилевс. Твое донесение особенное. В канцелярии подберут справки о Таврии, о русских, о тебе, обо мне, будут ждать вести о смерти князя. Когда она поступит, базилевсу сразу доложат все. Не поступит? Будут еще выжидать, выжидать, найдут час и все же доложат. В обоих случаях и мне, и тебе будет плохо.

— Но за что? За что? — повторял Склир, как-то сразу упав духом.

— Разглашение государственной тайны, — сказал Поликарпос, переходя в наступление. — Я твержу, твержу, а ты будто не слышишь.

— Превосходительнейший! — воззвал Склир, и Поликарпос заметил себе: наконец-то вспомнились приличия. — Превосходительнейший, кто упрекнет нас в разгласке, если мы положим печати и напишем: государственная тайна?!

— Опять «мы»! — упрекнул Поликарпос.

Склир проглотил, и Поликарпос продолжал поучать:

— В Палатии все секретно, нет ничего для оглашенья. И все знают: истинно тайно лишь сказанное на ухо. Таковы люди, любезнейший. Канцелярия тебя не пощадит. Первым на тебя обрушится сам базилевс. Я же говорил тебе: он великий знаток канцелярий и блюститель формы. Что ж? Убедился? Удержал ли я тебя от греха самоубийства?

— Я подумаю...

— Как хочешь, как хочешь, но... — Поликарпос внушительно воздел к небу перст указующий, — что бы ты ни надумал, забудь о моей подписи и печати. Галеру тоже не дам. И ничего я от тебя не слыхал. Ни-че-го!

— Я не умею убедить тебя, но чувствую, что ты лишаешь меня заслуги перед империей, — пробормотал Склир. У него мелькнула мысль самому плыть в столицу. Нет, Поликарпос не даст галеры даже в Алустон...

— Ты упрям, будто женщина, — упрекнул Поликарпос. — Будь же мужчиной! Ты еще помолишься за Поликарпоса. Когда-либо, найдя случай, ты наедине откроешься базилевсу. И он наградит тебя.

— Когда? — с горечью спросил Склир. — К тому времени все забудут Ростислава. Кто награждает за давно прошедшее...

— Разное бывает, — ответил Поликарпос. — Не всегда дают награду даже за исполнение приказаний. А так, за сделанное по своей воле? — Не получив ответа, Правитель закончил: — Думаю, ты умолчишь. Тебя могут заподозрить, будто ты из корысти приписал своим действиям естественную смерть.

— Что же я получаю? — горестно спросил комес.

— Как что! Ты забыл нашу беседу перед твоим отъездом? — удивился Поликарпос. — Ты утверждал, что если империя и выгонит Ростислава из завоеванной им Таврии,

то тебя и меня не найдут в числе победителей. Коль твое снадобье хорошо, ты можешь жить спокойно. И я тоже.

— И только...

— Как? Разве этого мало?! — воскликнул Поликарпос.

Склир встал, собираясь уходить. Поликарпос приподнялся со словами:

— Итак, тайна, тайна. Надеюсь, этот молодой человек, твой подчиненный, ничего не знает?

— Никто не знает. Я ограничился известием о том, что русский князь болен и умрет через семь дней, — ответил Склир, бессознательно смягчая.

— Великий бог! — Поликарпос подскочил с живостью толстого, но сильного телом человека. — Кого ты и з в е щ а л?

— Встречавших на пристани.

— Но ты признался!

— Нет, я просто сказал то, что сказал.

Овладев собой, Поликарпос небрежно кивнул комесу. Кончено. Он, Правитель, покончил с этим человеком. Глупость — опаснейшая болезнь. Неизлечимая. Потратить столько времени, чтоб обуздать Склира, как дикую лошадь... Успеть в трудном деле — сбить со Склира задор. Ведь он в упоении мог бы просто приказать солдатам схватить Наместника, с ним шесть-семь сановников, объявить их изменниками и послать к базилевсу за наградой! Мало ли чего не совершали начальники войск, и многое сходило им с рук.

Было поздно. Придется отложить до утра быстрое следствие об откровеньях этого Склира.

Дурак, дурак! Вот таких, таких любят женщины, подражая Венере, покровительнице страстей, избравшей тупицу Париса! Ай, ай! Нет сомнения — этот пустил в дело яд, и русские могут выместить свой гнев на неповинной провинции. Что делать?

Правитель пошел в детскую спальню. Пять кроваток. Старшему — десять, младшей — три года. Тихо. Светит лампада. Обе няньки мирно сопели у двери. Здесь привыкли к вечерним посещениям отца. Поликарпос обошел детей, крестя их, как обычно. Все дети — таврийцы, все они родились в херсонесском палатии.

Поликарпос женился поздно, перед назначением в Таврию. Пришла пора, нашлась хорошая невеста из семьи со связями в Палатии. Поликарпосу повезло: ему доста-

лась рачительная хозяйка, заботливая мать, разумная женщина.

Не ее вина, что привычки мужской холостой жизни, да и в таком городе, как Столица империи, не совмещаются с семейной жизнью. Были у Поликарпоса некие улады до Айше, было нечто и после измены сирийской прелестницы. Такое скрывают из чувства приличия. Жена, конечно, знала, знает и разумно помогает мужу притворным незнанием. Поликарпос уважал женщину, с которой его связал бог.

Жена крепко спала, когда Поликарпос вошел в супружескую спальню. Шепча молитвы перед ликом святого, чье имя даровали ему при крещении, Поликарпос в тысячный раз постигал мудрость церковных канонов. Воистину — богочеловек. Бог также и человек, иначе людям погибель, иначе ни им не понять бога, ни богу — их. «Пойми и прости во имя невинных детей!» — просил Поликарпос. Слезы жалости к себе, к детям, к людям, к отравленному русскому и, может быть, к самому отравителю катились по круглым щекам. Искренне, не для докладов. Хотелось быть добрым и чтобы другие стали добрыми. «Ах, если бы Склир похвастался либо его яд ослабел от хранения! Бог мой! Сделай!»

Бог послал Поликарпосу ночью крепкий сон и свежую голову утром. Он восстал от сна с ростками надежды. К полудню Правитель успел расспросить старого кентарха из Бухты Символов, нескольких встречавших Склира, кормчего галеры, ходившей в Тмуторокань, его помощника. И ростки увяли.

Склир не показывался. Забрав половину тмутороканских подарков, состоявших из икры, соленой и копченой рыбы, такой же дичины и небольшого количества выделанных мехов, комес засел у Айше. Поликарпос ревновал, ревновал по-настоящему, сам дивясь на себя. Он же, казалось, давно примирился с изменой сирийки. Почему же теперь?

В Херсонесе и в Бухте Символов стремительно распускались семена, посеянные комесом Склиром в минуты возвращения. И, вероятно, не им одним. Ведь даже гребцы были свидетелями расправы с подарками на тмутороканской пристани.

Как все правящие, которые привыкли пользоваться соглядатаями, умея приучать их не добавлять собственных домыслов к чужим словам, Поликарпос давно не удивлялся меткости народной молвы. Есть много безымянных талан-

тов, способных разгадывать намеки. Комес Склир не помнил о яде. Соглядатаи передавали: слухи утверждают, что сам комес хвалился травой.

Толпа презренна: спросите философов. Одни готовы ее уничтожить, другие хотят переделать; такую, как есть, не примет никто. Однако ж слова, брошенные на поживу толпе, подобны незаконченной статуэтке, которая попала к скульптору. Доделает и найдет покупателя. Поликарпос не гнушался толпы.

И все же слух — только слух, а удачливые пророки, вопреки болтовне об их славолюбстве, в чем повинны и сами они, первыми огорчаются исполнением предсказаний — грозных предсказаний, хорошие редки.

На пятый день моряки с русских и греческих судов, прибывших из Тматорокани, рассказывали о тяжелой болезни, внезапно постигшей князя Ростислава.

Епископ Таврийский по собственному почину и самолично отслужил в херсонесском соборном храме молебен о здравии князя Ростислава. Имперское духовенство давно отучилось препираться со светской властью. Епископ не просил разрешения Правителя, за что тот был благодарен. Святитель знал не меньше Наместника, если не больше. Не нарушая тайны исповеди, духовники извещали владыку о страхах верующих. Умный человек, молебствуя о Ростиславе, пытался помазать елеем рану. Но и осуждал, ибо в нашем двойственном мире нельзя совершить что-то цельное, единое.

В тот же день два тматороканских корабля, не закончив дел, отправились домой. Они спешили в Тматорокань с грузом слухов, такого не понять разве младенцу.

К вечеру соглядатаи принесли слухи, на которых стояла печать Страха. Почерк его узнают по явным бессмыслицам.

Поликарпос не принадлежал к легкомысленным правителям, которые ждут от управляемых любви, присклонения перед своим гением. Ему и в голову не приходило задерживать тматороканцев. Безумно дергать за перетертый канат, пусть, коль придется, последние нити рвутся без твоей помощи. Херсонес же говорил о его приказе задержать русские корабли, но приказ-де опоздал. Из-за молебна за здравие Ростислава Правитель и епископ будто бы обменялись резкостями. Передавалось и что-то еще, подобное по нелепости. Поликарпос не обижался.

Одно — следить за мыслями подданных, другое — влиять на мысли, третье — разобщить подданных так, чтобы

они, научившись молчать, разучились и думать. Поликарпос обладал первым. Не имел средств для второго. Был слишком трезв и умен, чтобы даже мечтать о третьем.

Лишний бы день без войны. Игра слов, измена смыслу: мирный день не может быть лишним.

Прошел седьмой день.

Прошел восьмой день, пока еще мирный.

Утром девятого дня старый кентарх из Бухты Символов прислал верхового: князь Ростислав скончался.

Свершилось.

Что свершилось? Реки назад потекли? Пресное стало соленым, а соленое — пресным? Умер сосед, русский князь, которому некоторые люди без внешних поводов навязывали враждебные Таврии замыслы.

Поликарпос был философом в иные минуты, когда его, как многих пятидесятилетних, посещало ощущение прозрения сути вещей. Его топили в слухах о страхе, обуявшем подданных. Он отбивался. Толчок дал кентарх из Бухты Символов. Уж коль этот старый и — Поликарпос знал его много лет — глупый человек счел смерть Ростислава чрезвычайнейшим событием, — значит, так оно и есть.

Власть необходима. Даже когда она призрак. Ибо призраки, так же как сети, пашни, корабли, создаются волей людей, следовательно, нужны им. Власть обязана проявлять себя, и Поликарпос собрал таврийский синклит — провинциальных сановников.

Епископ со своим викарием, епарх — градоначальник Херсонеса, управляющий пошлинами и налогами, начальник флота, главный нотариус, главный секретарий, начальник почт и дорог. Епарх Бухты Символов опередил вызов. Он рассказал: женщина, которую в Тмуторокани звали Жар-Птицей, закололась на теле Ростислава.

Комес Склир явился последним в сопровождении молодого кентарха, своего спутника в тмутороканской поездке. Комес казался утомленным. Он рассеянно сослался на болезнь, из-за которой не показывался несколько дней.

Все, кому по должности полагалось высказывать мнение, советовали умеренность: в Тмуторокани между властью, русские беспокойны. Меры предосторожности нужны, но втайне, дабы русские не сочли такое за вызов.

В Херсонесе и в Бухте Символов русские живут отдельными улицами под управлением собственных старейшин. Епархи посетят русских, выразив соболезнования.

Епископ заявил о взносе за счет епископии вклада в соборный храм на поминание души князя Ростислава. Он предложил послать такой же вклад в тмутороканский храм, а также поднести этому храму четыре иконы, дарохранительницу, чаши, ризы из кладовой херсонесского собора. Отец викарий с клириками может немедля отбыть в Тмуторокань. Синклит дружно благодарил преосвященного, решили к вечеру снарядить лучшую галеру с отменными гребцами.

Комес Склир сообщил усталым голосом: недостаточное числом войско будет исправно нести службу. Его ни о чем не спрашивали, от него сторонились с подчеркнутым отчуждением.

Секретарий составил запись совещания синклита, пользуясь установленной формой. Как многие, эта запись не давала посторонним даже подобия ключа к событиям. Свидетельствовало, что должностные лица исправно служили империи, блюдя законы.

Синклит расходился под печальный звон колоколов. Во всех храмах Херсонеса служили панихиду по благоверному князе, который отошел в мир, где нет ни печали, ни вздыханий, но жизнь вечная.

Склир рассеянно спускался с лестницы херсонесского палатия. Не то у него получилось, не так. Он не раскаивался, он был опустошен. Закрывшись у Айше, он превратил первые дни возвращения в пьяную оргию. Не стало сил, и уже трое суток Склир был трезв. Не следовало браться не за свое дело.

Не желание выслужиться и не польза империи двигали Склиром, а завистливая ревность к Ростиславу. Константин Склир был еще далек от конечного вывода. Он еще брел по лабиринту, из которого не было иного выхода. Пока завиток, из которого он выбирался к дальнейшему, мог назваться так: не следовало ли, бросив империю, пристать к Ростиславу? Бессмыслица. Он возился с ней.

Служба в соборе окончилась. На площадь выливалась толпа, смешиваясь с теми, кто, не протиснувшись в храм, теснился на паперти: небывалое дело! Склир, занятый своим, взял правее.

— Убийца! Убийца! — кричали женщины.

Очнувшись, комес не сразу понял, что оскорбление относится к нему. На него указывали. Толпа надвинулась. Буйный люд портового города, решительный, скорый на руку.

— Отравитель! Каин! Бей его! Из-за тебя всем погибать! Иуда! Колдун!

Вырвавшись, Склир прислонился к стене и выхватил меч. Молодой кентарх, товарищ, которому Айше нашла подружку, оказался рядом. Толпа отхлынула перед обнаженными клинками.

— Прочь! Разойдитесь! — закричал Склир. Его голос погас в гневном реве. «А! Два меча справятся с чернью!» Склир шагнул вперед. Первый камень ударил в рот.

Задыхаясь, палатийский слуга выкрикивал перед Правителем:

— Побили... камнями... обоих... сразу... — И, отдышавшись, рассказал, что духовные поспешили из собора, но все было кончено в миг...

— Суд божий! — сорвалось у Поликарпоса.

Если эти слова и дошли до Канцелярии, то их не поставили в вину херсонесскому Правителю: Как не поставили в вину епископу отказ предать тело Склира освященной земле. Ибо этот человек умер без исповеди, без причастия, под тяготевшим над ним обвиненьем в отравлении.

Война с Тмутороканью не состоялась.

Как-то Айше сказала своему милому Поликарпосу:

— Разве справедливо, когда ничтожный человек лишает жизни большого человека? Почему боги позволяют?

— Пути бога неведомы для людей. Камень на дороге может изменить судьбу империи. Это очень старая поговорка. Ты понимаешь ее?

— Нет, — ответила Айше.

— Я тоже не понимаю, — сказал Правитель, — однако же это правда, а я уже стар.

— Нет, — сказала Айше, — ты добрый и, как все, считаешь женщин глупыми.



ГЛАВА ВТОРАЯ



РЕКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ЧТОБ ТЕЧЬ ОПЯТЬ

Как многие другие пришедшие из Азии воинственные племена, истощились и печенеги, многократно отбитые и побежденные Русью при Ярославе Владимировиче. Крупное сито войны, отбирая сильных и смелых из первых рядов, отсеивает в жизнь мелких, юрких.

В Диких полях приподнялись печенежские полуданники, полусоюзники, известные русским под кличками черных клобуков, турпеев, торков.

Полное истребление их было для Руси делом непосильным, немислимим, невозможным. И даже дурным. В те же годы, после тяжелых неудач армий Восточной империи в боях с вторгшимися через Дунай печенегами, имперские

послы сумели осадить печенегов на землю, отведя им угодья между нижним течением Дуная и морем. Там же, за шесть или семь веков до печенегов, было осажено появившееся неизвестно откуда племя, не оставившее по себе ничего, кроме собственного имени — бессы.

Объясняя подданным неудачи в борьбе с печенегами, объясняя мир с ними, купленный ценой уступки куса имперской земли, Палатий указывал: богу не угодно, чтобы был уничтожен один из созданных им народов.

В ряду беспощаднейших истреблений своих и чужих, которыми империя себя постоянно позорила, заявление о милости к непобежденным звучало ложью: словами спасали лицо. Но было в нем также и раздумье, и трезвая мысль.

Через несколько лет после смерти Ярослава Дикое поле опять зашевелилось. Мелкие, почти не замеченные набегии сменились тягой к более крупным предприятиям. В Степи нашлись вожди, подросла молодежь, забывшая отцовские раны, размножились кони. В 1059 году несколько тысяч конных с днепровского левобережья были замечены за рекой Орелью. Получая подкрепления с правобережья, кочевники поднимались вверх. Русское население бежало в крепости. Степь обтекала их, не тратя времени на осаду. Князь Всеволод Ярославич вышел из Переяславля, встретился с врагом под крепостью Воинем, около устья реки Сулы, разбил и разогнал нападавших.

В следующем году, в 1060-м, дождавшись конца полевых работ, все трое Ярославичей — Изяслав Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславльский — в союзе со Всеславом Брячиславичем Полоцким решились почистить Степь. Племя торков заступало место печенегов. Общим походом хотели сломить торков.

Русская конница со своими обозами, с пешим войском на телегах шла обоими берегами Днепра. По Днепру пешее войско плыло на лодьях с запасами для всех.

Война была хорошо задумана, велась упорно до глубокой зимы. Вырвались три орды. Бросив слабых, имущество, скот и семьи, они навсегда покинули соседство с Русью. На восток дороги были отсечены, и торки пустились на запад. Уцелевшие переправились через Дунай.

Много степняков, выброшенных из зимовий, погибло от зимних холодов, от болезней. Многие были убиты, но еще больше попало в плен. Пленников отвели на Русь. Здесь они были осажены на окраинных землях, по реке Роси на правом берегу Днепра, а на левом — в между-

речь Трубежа и Супоя, к северу от Переяславля. Так степнякам было суждено обрустеть: стали они жить оседло, завелись у них города, обучились возделывать землю, занялись и ремеслами и усилили Русь.

Кочевник искал свободной земли, чтобы пасти скотину, и оседлых соседей — для грабежа. Избавиться от кочевника удавалось, убив его или сделав оседлым. Бились в полную силу. В скобках замечу: значенье изношенных дешевыми книжниками слов «без пощады!» ныне стало доступным только тому, кто взял смелость понять собственный опыт войны. Зато в те поры, хоть и тогда слово «свобода» каждый постигал тоже по-своему, было необъятно много свободной, порожней земли. И было где встретиться мирно, не наступая другому на ногу...

Русь шла на свободные земли, чтобы на них осесть и жить, добывая свой хлеб из земли. Так бери же, населяй, обрабатывай! Что мешает?

Время мешало. Оно давало свои сроки, а славяно-русское племя плодилось в свои, не поспевая, как видно, за скорым бегом небесных светил, безразлично порождающих время.

Деревянный дом под соломенной крышей ставят за несколько дней. Достал мешок семян — и весь следующий год будешь сыт. Цыплят жди до осени. За конским приплодом будешь ходить три года, прежде чем лошадь пойдет под седло и в оглобли. Яблоч от посаженной тобой яблони жди двадцать лет. Твой сад унаследуют дети, вместе с которыми растет медленное дерево. Быстры одни сорняки.

Да и место тоже было нелегкое, место тоже мешало. Широк путь между уральской горно-лесистой стеной и Каспийским морем.

Тут не навесишь ворот, подобных Дербенту, которым то вместе, то порознь Восточная империя и персы запирали узкую тропу по западному берегу Каспийского моря.

От сотворенья мира Запад с Востоком состязались через узкую полосу проливов между Средиземным морем и Евксинским Понтом, названным впоследствии Русским морем, Черным морем.

Боролись Запад с Востоком и к северу от Евксинского Понта.

Но что там происходило? Как? Речь идет о событиях, удаленных на полторы, на две тысячи лет. В русских лесах и полях глух глагол прошлого. Он в землю ушел с головой, землю засыпался, и кладовые его еще не раскопаны.

Зато на юге борьба совершалась гласно и явно, хотя бы с осады Трои. Эллина завещали тяжбу единой Римской империи. В наследство от них она досталась и Восточной империи.

Однажды эта наследница тысячелетней борьбы выиграла. Базилевс Ираклий заставил рухнуть силу Ирана. Вскоре увидели, что миды — персы, вечные враги, были стенкой между Востоком и Западом.

Стенка упала, Восточной империи не помогли единовластие, единоверие. Не спасла наилучшая для тех времен и для многих последующих система управления государством. Ведь все было будто считано-пересчитано, писано-перезаписано, перевязано законами, указами, постановлениями. Будто бы нигде, как в Восточной империи, не было столько грамотных, обученных науке управления. Разве только одна Поднебесная империя на самом дальнем восточном краю мира могла бы состязаться с империей базилевсов.

Подданные базилевсов умели делать вещи, несравненные по красоте, а также по удобству и прочности. Строили отлично здания, пристани, дороги. И умели считать:

Не сосчитали лишь, сколько труда, искусства, науки вложено было в сотворенье единовластия, единоверия. Что считать? Сказано ведь: государство, разделившееся внутри себя, погибнет.

Но не сказано — как соединить и чем. В изысканиях способов исчахли лучшие умы, а худшие выжили. Вольность и волю душили по-научному, в зародыше: избили подданных стократно более, чем уложили в войнах. Неустанно работала трость Фразибула¹, уничтожая колосья, которые, естественно, по природе своей поднимались выше других, не ведая, что нарушеньем общего строя они сами себе выносят смертный приговор: для блага других, коротеньких, одинаковых.

Упреки прошлому так же тщетны, как сожаления о золотом веке, которого не было. Но воздержаться от них умели одни евнухи, излюбленные базилевсами.

От годов появления половцев в ничейном Диком поле не столь было удалено время, когда на развалинах бывшей

¹ Коринфский тиран Периандр (ум. 585 г. до н. э.) послал спросить у своего друга милетского тирана Фразибула о лучших способах правления. Фразибул на глазах у посла тростью долго сбивал в поле колосья, поднявшиеся выше других, и отпустил посла, ничего не сказав.

Восточной империи Турок напишет, если удостоит: разрушено грубым насилием оружия, и ничем более.

Скажут — Восточная империя погибла, разделившись внутри себя. Да, но разделило ее усиленное объединение.

Так разделило, что не помогла ей и сторонняя помощь, с запада. А ей помогали! Пусть плохо, пусть званые и незваные помощники сами не понимали, для чего идут — спасать ли, либо устраивать собственные дела?

Впрочем, бескорыстной помощи не бывает. Бойся спасителя, вопиющего о своем бескорыстии! Неразумно упрекать западных помощников Восточной империи. Разве лишь в том, что они не сумели помочь ни себе, ни империи. Пусть лгали знамена — Европа щедро устилала сотнями тысяч тел поля малоазийских сражений. Прошлого не изменить и великим богам. Кости павших — не шахматные фигурки. При всем желании книжников их вновь не расставишь. Игра сыграна, ставок более нет.

Восток бил Русь крыльями, клювом, когтями. Русь отступала, отбивалась на опушках своих лесов и, бросившись в Степь, ломала азиатские крылья.

Никто с запада не приходил помогать Руси отбиваться. Повернется Русь лицом на восток, запад ее бьет в спину. Отмахнется Русь — с востока ударят. Неужели же русское счастье было в том, что не находилось помощников? Правда ли, что плата за помощь бывает горше беды, от которой спасали?

Подмстая Степь, братья Ярославичи трудились по совету своих дружин, по согласию русских пойти в поход после уборки хлебов.

Хорошо бы занять Дикое поле русскими людьми. Построить города-крепости. Наполнятся пустые места поселенцами. Пустят они корни и сами себя защитят.

Где взять людей? Свои глубинные места лежали впусе на девять десятых. Против Степи насыпали земляные валы, ставили земляные крепости. Озирая сотни верст доживших до наших лет укреплений, удивляешься: откуда руки брались при тогдашнем безлюдье?! Такое могли совершать только доброй волей, только понимание дела удерживало заступ в руках. Насильно такого не сделаешь!

На старые наши могилы просится справедливая, простая надпись: они сделали все, что могли. Дай бог и другим такую же память.

Года не прошло, как с миром попросились на Русь, чтобы пристать к своим, торки, бежавшие на восток, к Дону и за Дон от русского войска. Через Волгу переправлялись новые пришельцы с востока. Такие же кочевники, близкие торкам по речи, одинаковые по привычкам. Но более страшные, чем русские. Кочевнику другой кочевник — такая же добыча, как оседлый.

Новые пришельцы звались кипчаками или кыпчаками, они же узы, куманы, без креста окрещенные на Руси половецами. Какие-то передовые племена их обильного людьми и по-кочевому медленного нашествия вскоре появились вблизи Переяславльского княжества. Всеволод Ярославич, по совету дружины, поспешил встретить незваных гостей. Кони у него были хорошие, всадникам — цены нет, если брать по одному. Вместе же оказалось их мало. Так мало, что половцы опрокинули переяславльского князя. Спасибо, выручили кони, недаром кормленные овсом да ячменем. Пришлось Всеволоду сесть за крепкие стены. Половцы пограбили долины Ворсклы и Сулы. Вернулись они из удачной разведки, вызнав, куда ходить за добычей. Места им понравились. Они и у себя занимались тем же, в привольях между Аральским и Каспийским морями. Но там пески, пустыни, ходи от колодца к колодцу. Здесь — рай. Доподлинный, обещанный храбрым: сладкую воду пей, не считая глотков, и сладкой травы богатство. Так объясняли несколько половцев, схваченных русскими в плен по вине своей дерзкой погони.

Наибольшей же половецкой добычей после легкой победы была опасная для русских уверенность в своем преимуществе над местными оседлыми.

Часть половцев, сколько — сами не считали, потянулась на запад. По следам печенегов они переправились через Дунай. В империи новые гости показали себя, как свои предшественники. Другие остались близ Руси, деля между своими родами сочные уголья. Но не в угодьях лишь дело. Кочевник любит простор. Кочевник говорит:

— Моим глазам больно, когда я вижу вдали чужие юрты.

Редкий оседлый поймет такое.

И еще есть у них поговорка:

«Когда напали на юрту твоего отца, соединись с напавшими и грабь вместе с ними».

Извращенье чувств? Нет, поэтическое преувеличение. А любовь к простору — проза, потребность. Тесно вольно-

му степняку видеть на земном окоеме юрты людей даже своего языка.

Разрастаясь, село высыпает выселки. Множась в числе, делится и кочевой род. С той разницей против оседлых, что вскоре у близких родственников, соседей по кочевью, свои же братья отобьют табун, раскроив несколько черепов. Греха в подобном кочевник не видит. Удальство, забава. Добро — угнать лошадей у соседа. Зло — когда твоих лошадей угонит сосед. Грабить чужих — добродетель. Кочевник вовсе не зол. Он таков от рожденья, переубедить его можно лишь силой.

Пока половцы усаживались в Диком поле, князь Все-слав Брючиславич, радея своему Полоцкому княжеству, задумал добавить к нему Псковскую землю. Псков не дался Всеславу. В следующем году Всеслав врасплох накрыл Новгород. И в город вошел, и на стол хотел сесть, и сила была его в короткие три дня. Новгородцы отказались принять Всеслава. Понимая, что против воли Господина Великого князю в городе и в землях его не усидеть, Всеслав ушел. Не с пустыми руками: с новгородской Софии снял колокол, прихватил дорогой церковной утвари, погрузил и другого добра. Вывел пленников, дабы пополнить жителями свою землю, и, как водится — а у Всеслава особенно, — пленников уговаривал, ласкал, отводил им хорошие уголья. Иначе сбегут: не собака — на цепь не посадишь; не скотина — пастухов не приставишь.

Полоцкая земля, она же земля кривичей, была в стороне: во время Святослава Игоревича она осталась сама по себе, в своем укладе, признавая князей собственных, кривичских — кривичских. Святослав, увлеченный дальними замыслами, не оставил бы в покое близких кривичей, найдись для них время. Но ему довелось рано уйти из Руси и из жизни, оставив малолетнего сына. Достигнув зрелости, князь Владимир Святославич подтянул к Руси Кривскую землю. Полоцкий князь был убит в битве, Владимир взял за себя его дочь Рогнеду; родившегося от этого брака Изяслава кривичи-полочане приняли своим, природным князем по обычаю. Киевский князь Ярослав Владимирович признал за Брючиславом Изяславичем право наследовать Полоцк после отца его, Изяслава, и жил с Брючиславом, внуком Владимира Святославича, в мире. В Киеве Брючислав владел собственным подворьем, где и живал, навещая князя Ярослава. Между собой они сразились однажды, ког-

да Брячислав напал на новгородские земли, взял много добычи, вывел много пленных. На обратном пути к Полоцку Ярослав пересек путь Брячиславу, отбил у него пленных, отнял добычу. Вскоре Брячислав сумел доказать Ярославу старинные права кривичей на города Витебск и Усвят. Города эти и собой дороги, и дорогой, которая от Витебска близка, а через Усвят проходит древнейший привычный волок из реки Каспли в реку Ловать, горка, через которую переваливает водяной путь из варяг в греки.

Помирившись, Брячислав больше не досаждал Ярославу. По его смерти Ярослав признал Полоцкую землю за Всеславом Брячиславичем, и сын сел на отцовский стол, будучи двадцати лет от роду. При своей жизни указав сыновьям, кому где сидеть, Ярослав исключил Полоцкую землю из раздела. Следовало он обычаю считать ее отчиной потомков Изяслава Владимировича.

Кривчанам не приходилось ведаться со Степью, у них были свои беспокойные соседи — литовцы. Литовцев они и отталкивали, толкали. Единственный раз кривичи ходили в Степь, когда братья Ярославичи кончали с торками. Вернувшись домой, Всеслава дружина и кривские ратники единодушно решили, что в Степи им нечего делать. А вот Псков, Новгород были бы сладки.

Князь Всеслав вынес из совместного с Ярославичами похода сомнение в прочности дружбы между тремя братьями. Старший брат Изяслав уступал среднему Святославу в силе воле, в решительности, и Святослав не щадил старшего ни словом, ни делом: походом распорядился он. Изяславу бы просто терпеть, а он еще жаловался. Третий брат, Всеволод, самый из всех троих живой умом, начитанный, знающий, оглядывался на старших, стараясь быть с обоими в дружбе, и только.

Всеслав не удивился, узнав, как печенежские сменщики — половцы побили Всеволода. Решив, что Ярославичи будут отныне связаны половцами, Всеслав попытался исполнить желанье Кривской земли захватом Пскова и Новгорода. Дурного не видел: был он со своими кривичами не чужой, а свой, русский, вреда Пскову с Новгородом не будет, польза будет псковичам с новгородцами. Ведь и у них тот же опасный сосед — литовцы.

Всеслав знал половцев по рассказам достойных доверия очевидцев, оценивших половецкую силу выше печенежской. Правильно он понял и Ярославичей. Все, что можно увидеть и взвесить, он увидел и взвесил, не ошибаясь. Впоследствии подтвердилась наибольшая часть.

Но, как все люди, какого бы они ни родились ума, Всеслав не мог счесть и взвесить того, чего не было, — будущего времени. Завтрашний день берет в свою руку те же силы, какие были сегодня. Но расставляет их в иных сочетаниях. Да еще говорит одному: постой-ка, ты вчера вырос достаточно, сейчас пусть другой подрастет.

От лошадей рождаются лошади, от ржи — рожь. Можно счесть, сколько камня и бревен нужно на дом, сколько дней придется затратить на дорогу. Но не все понимают, что подобные расчеты непригодны для измерения будущего людей.

Кривский край лесной, а воды в нем хватит на доброе море. На гривах стоят сосновые боры, дерево могучее, ровное. Пониже, на суглинках, леса смешанные — ель с осиной, березой, ольхой. Это — обрамление воды, или вода — обрамление лесов. Озер, болот, рек, ручьев так много, что прямых путей нет даже для водяных птиц, которые любят тнать над водой.

Уклон земли мал, поэтому реки текут медленно, вилия в камышовых дебрях. Осенью сгинет божья кара — комар с мошкой. Водяная птица, готовясь к отлету, молчит, как молчит местная. Если кто вскрикнет — то от испуга. В полном молчании слышен только шелест подсохших листьев камышей над прозрачными, по-осеннему черными водами. Голос кривской осени неопишем — его н у ж н о услышать.

Возражают — все равно постарайся, недостающее можно пополнить воображеньем. Камыш, шелест листьев — слышали.

А кто запирает дороги для влаги в теле тростинки? Как получается, что, стоя в воде, тростинка отказывает в питье собственным листьям, и они иссыхают, склонившись над водой, как трава от летнего зноя в тмуроканской степи? Где ж справедливость? Ответят — старость, время, дескать, пришло умирать, дать дорогу другим, возродиться, вновь родиться... Что листья, не люди! Впрочем, часто и не отличишь людей от листьев.

Кривич не жилец без своей земли. Отлучаясь, берет щепотку с собой. Иначе хворь прикинется, за ней и смерть пожалует. Хлеб нужно печь круглым, как солнце. Обычай. Повелось от первого пахаря, когда святые Микола с Юрием еще не ходили по Кривской земле, как ныне ходят. На свадьбе священник водит брачащихся по солнцу. Против

солнца нельзя сотворять таинство — нечисть порадусь, и только.

Тайной силы, чистой и нечистой, в Кривской земле больше, чем людской, если людей счастье по душам, а нечисть по головам — души у них нет.

О н и везде водятся, и нечего кривичам перед другими землями выхваляться, нашли чем! Верно, но в Кривской земле им удобнее, есть где прятаться. Они не любят света, исчезают, коль человек посмотрит прямо на них.

Надо з н а т ь. Тогда они тебе помогут, а другие зла не причинят. Домашний огонь береги. Истопившись, горячие угли сгреби и присыпь золой, чтоб Господин огонь дожил до другого дня. Сосед придет занять огня — зря не давай, попроси, чтобы согласился он поделиться. Пуще всего не плюнь в огонь. Переходя в новый дом, бери огонь из старого, иначе счастье потеряешь. Весной не забудь сделать домашнему огню праздник: побели печь, укрась зеленью и покорми огонь салом и мясом.

В доме живет хатник, домовый, избяной — зови, как вздумаешь, но не обижай. Строя новый дом, под угол положи петушью голову. На ворота либо под поветь положи хлеб-соль с молитвой: «Хозяин честной, хозяйка честная, хлеб-соль примите, коль в чем согрубил, не обессудьте, простите, мое имянье и надворья сберегите».

В заговины, в день поминовения усопших, приглашайтè к столу домовых господ. Явно придут — не пугайтесь, зла не сделают. Не забывайте приветить хлебника с гуменником — они ночами за вас подметают, прибирают. Домовой господин о беде предупредит и беду отведет.

Четырежды в год справляйте дни-деды. Девять разных блюд готовьте, а больше приготовите — лучше. От каждого блюда сам хозяин дома на стол отложит по три куска, по три ложки. Стол на ночь не убирайте — деды прилетают кормиться.

В лесу, в болотах живут лесовики, водяные, лихорадки. Они, боясь заклятья, бегут от человека. Остерегись, головы не теряя, и они над тобой ничего не сделают. Еще есть бесы, живут в болотах, там и плодятся. Сатана-дьявол, божий враг и человекогубец, хотел от латинян к русским пройти. Разбежится, гремя копытами, сверкая молниями, и рассыплется пылью. Не выходит во весь рост идти. Лез хитростью, прикрывшись гадючим выползком, вороной оборачивался, в воробыный зоб прятался, пробрался маленьким и таким остался. Пугает трусливых, глупых обманывает. Бесы с бесенятами ползают по дну из болот в озе-

ра, пробираются в реки. Но над самой водой у них силы нет, вода от древности была свята, святой осталась. Пей, произнеся старинный заговор, либо помяни имя Моисея-пророка.

Сильней всех бесов, лесовиков, водяных, домовых те люди, которые з н а ю т. Такие многое могут. Один из них вздумал жениться, но соседа, который з н а л, не пригласил. Тот обиделся и всех поезжан в волков превратил. Жених махнул рукавом, и поезжане свой вид обрели, а у соседа на лбу рога выросли. Чаровник-ведун умеет любой вид принять. Найдя в лесу особенный пень, схватится за него зубами, перекинется через голову и побежит зверем, птицей полетит — как захочет.

Князь Всеслав з н а л. При нем ни одному ведуну не было хода. Завистники говорили, что и рожден князь от волхвования, и знаки носит на теле. Кривичи не верили. Всеслав родился честно от честных родителей, телесной силой, красотой, умом и храбростью его бог наградил. И кривичи своего князя держались.

За покушенье на Псков и на Новгород братья Ярославичи разорили кривский город Менск¹. Всеслав был побежден в битве, но взять его самого Ярославичи не сумели и дальше в Полоцкую землю не пошли, не стали ее захватывать, так как не было согласия между Изяславом и Святославом. Потому-то и было князю Всеславу в несчастье — счастье.

До лета Всеслав пересылался послами с Ярославичами и приехал к ним в полевой лагерь, чтобы мир заключить. Но во время переговоров Всеслава с двумя уже взрослыми сыновьями схватили, нарушив обещание. Князь Изяслав заключил пленников в поруб — тюрьму, а Полоцкая земля пошла под киевскую руку.

Минуло семь лет от первого половецкого набега, когда князь Всеволод потерпел поражение от новых степных соседей. Месяца через два после своего пленения князь Всеволод, глядя на небо через узенькое окошко тюрьмы — приходилось оно, окошко, чуть выше земли, — узнал важную весть: половцы большим войском вошли на Русь, переправились через Ворсклу и, думать надо, сегодня уже близки они к Переяславлю.

¹ Ныне — Минск, прежде Менск или Менеск, писался через «ять», от слов «мена», «менять».

Среди киевлян были у князя Всеслава и доброжелатели, осуждавшие ненужную для Киева распрю между ним и Ярославичами, и просто люди, которые не видели в полоцком князе врага. В таких беда, постигшая Всеслава, вызвала к нему сочувствие. Подойдут к окну, присядут на корточки, окликнут узника и беседуют.

Досадно! Что б половцам зашевелиться в прошлом году — дела Всеслава обернулись бы иначе. А сейчас сиди, жди, через окно разговаривай, а выхода нет, сторожат, не пустят.

Собрались киевские городские и сельские полки, с ними и с дружиной князь Изяслав переправился на левый берег Днэпра, где на реке Альте, верстах в пятидесяти от Киева, соединился с братьями.

Вновь поле осталось за половцами. Степные наездники и стрелки бились смело, без порядка, но и у русских порядка было не больше. Половцы вцепились в русский обоз, увлеклись дележом, дав русским уйти, не преследуя их. Князь Изяслав и Всеволод вернулись в Киев. Князь Святослав, чуя, что вместе с братьями не быть удаче, крепко поспорил с Изяславом, возложив всю вину на него, и ушел в Чернигов оборонять свой город.

В Киеве возвращенье растрепанных полков подняло всех на ноги. Гнев вече обрушился на тысяцкого Коснячка, который был обязан собрать ратников и за них отвечать перед вечем. Коснячок не показался. Вместо того чтобы ответ держать — прячется!

А половцы ходят по левому берегу и завтра сюда переправятся. Имевшие оружие требовали опять идти в поход. Другие кричали, чтобы Коснячок и князь Изяслав дали им оружие, они от своих не отстанут.

Советчиков, предлагавших не спешить, выждать, подумать, обсудить, — такие всегда находятся — слушать не стали. Всем вечем снизу, где на торгу бывало вече, пошли в гору, на Коснячков двор. Коснячка там не нашли. Шуму прибавилось. По обычаю, по старинной привычке, нужно было порешить дело с тысяцким. Для выбора нового следует скинуть старого. Кричали — Коснячок прячется у князя Изяслава. Нашлись видоки. Видели не видели — говорили: там Коснячок. Против князя Изяслава кричали — стали кричать еще сильнее. Пошли на княжой двор.

По дороге остановились у пустого Брючиславова двора, поминая добром его сына, заключенного князя Всеслава. Против него зла не было. Зло нарастало против князя Изяслава. С угрозами повалили к княжому двору. Тем

временем лихие головы ринулись разбивать городской поруб — тюрьму.

Более дальновидные Изяславовы дружинники вспомнили о князе Всеславе раньше, чем имя его вслух помянули киевляне. Когда кое-кто из своих, опередив вѣщ, прибежали предупредить князя Изяслава, их слова упали в готовые уши. Бояре советовали Изяславу послать людей, чтобы покрепче стеречь Всеслава. Другие настаивали — совсем нужно сжить со света опасного полочанина. Подозвать к окошку да и ударить копьём либо стрелой. Храбрцов, кто вошёл бы в поруб и порешил безоружного князя Всеслава без хитрости, не нашлось. Как бы в смертной крайности он волком не обернулся! А окно-то узкое, в него и волком не просунуться.

Не желая брать на душу грех братоубийства, Изяслав отмахнулся от советчиков: «Я вам не Святополк Окаянный». Из высокого окна он переговаривался с нахлынувшими киевлянами. Просил успокоиться. Коснячок где — не знает, а он сам, князь, с дружиной думает и объявит, что порешат к общей пользе.

Шума много, голоса не слышно, дела не видно. Навалились вечники, которые успели с маху разбить городской поруб. Зовут — всем идти выпускать князя Всеслава на волю, а с этим князем Изяславом Киеву более не о чем разговаривать! И опустела улица перед княжим двором.

Будь у русских князей обычай жить внутри городов в собственных крепких замках, князь Изяслав, по своему нерешительному нраву, заперся бы с дружиной, отсиживаясь в ожидании, пока киевляне не остынут. Да и неожиданный его соперник — узник Всеслав с ним был бы в темнице, каких в западных замках было достаточно, а не в другом месте города, в тюрьме, где каждый мог к окну подойти.

У Изяслава был княжий двор. Без высоких башен, перевязанных в единое целое толстыми стенами, без рвов, без боевых машин, без припасов на время каждодневно ожидаемого и еженощно возможного восстания подданных. Князья жили в городах на таких же усадьбах, как остальные жители. С той разницей, что за обычным забором было больше строений — хозяйство широкое, едоков много, и дружина, и гости.

Предложил бы Всеслав освобожденное им место в порубе Изяславу? Может быть, чаровник сумел бы сотворить нечто куда более умное, чем сажанье в порубы, или еще более жестокую расправу с попавшей в его руки живой добычей. Князья Изяслав и Всеволод не стали гадать о прев-

ратностях судьбы. Поспешно похватав что попало под руку из более ценного, братья князя со своими дружинниками попрыгали в седла и пустились прочь, оставив все двери открытыми.

Еще раньше многие дружинники разошлись по своим дворам, ибо князь Изяслав ничего от них не требовал и приказывать не собирался. Беглецов провожали те из Изяславовой дружины, кто не владел дворами в Киеве, и Всеволодовы дружинники, которые, как люди чужие для Киева, другого пути не имели. Князь Изяслав удалялся, соблюдая достоинство, лошади шли шагом: не бегство — исход. Для киевлян Изяслав Ярославич стал прошлым днем. Перехватывать его не подумали, тем более не собирались гнаться.

Добыв князя Всеслава из поруба, киевское вече привело его на княжой двор и посадило на стол. Стал полоцкий князь также киевским князем. Княжое имущество досталось ему малость ощипанным.

Кошка за окошко — мышка на лавку: не успел князь Изяслав скрыться из виду, как пошли люди через открытые двери. Мало — разбили двери в подвалы, где хранится добро не от одних воров, но и от огня-разбойника.

Много золота, серебра, дорогих вещей, одежды пошло по расчетливо-буйным рукам. Не перечислишь всего — киевские князья на недостатки не жаловались.

Половцев, из-за которых все получались, забыли среди бурных событий киевской смуты. Необычайное дело — впервые киевляне выгнали своего князя. Князь Всеслав, кажется, один помнил о половцах. Пытаясь подобрать поводы, он готовился к походу крепко, по-настоящему. Нежданно-негаданно он стал в ответе за чужие ему южные княжества. Понимал хорошо: броситься очертя голову и подставить Русь под новый разгром нельзя. Особенно ему — чужаку.

Половцы шарили по левобережью, вызывая новые для них места. Кто успел, попрятался от степняков в крепостях. Давали убежища леса, которых в те годы было много на ныне давно облысевших местах. Находили приют в камышовых болотах, на помостах, опертых на сваи, вбитые в дно. В летнее время здесь убежища неприступные и невидимые. Камыши стоят выше роста человека, не заглянешь через них. Ночью можно разводиться огонь — пламя не проглядывает. Пищу нельзя варить днем — выдаст дым.

Меня направления, не спеша, половцы двигались на север. Переправившись через Сейм, они одолели Десну у

крепости Хороборь и отсюда повернули на запад, целясь охватить Чернигов. Успев вызнать значенье Чернигова, половцы решили покончить с главным городом и главным в их понятии князем заднепровской Руси.

С поражения под Альтой Святослав вернулся в крови — не в своей, в половецкой. Он был богатырь и, побежденный, успел все ж потешиться боем. Отходил он от Альты к Чернигову, широко раскинув оставшихся с ним, чтоб оповещать своих о беде, чтоб брать с собой мужчин, годных к бою. К приходу половцев Святослав успел собрать полки. Всех, кто был послабее, Святослав оставил для защиты Чернигова, а в поле вывел три тысячи ратных.

Однажды обвинив Изяслава за поражение на Альте, Святослав не возвращался к неудаче. Был он скуп на слова, не любил обнадеживать людей красными речами. Идя навстречу половцам, он, обращаясь к своему малочисленному войску, несколько раз повторил: «Нам некуда больше деваться от половцев, кроме как биться». Обоза Святослав не взял — враг был близко.

Половцы шли двенадцатью тысячами, как Святослав разведал. В двадцати пяти верстах к северо-востоку от Чернигова противники заметили один другого.

Здесь протекает приток Десны, не широкий, но глубокий Снов. Берега его болотисты, места низкие, и Снов течет медленно. Крепость Сновск, стоявшая близ места встречи, была невелика, но с высокими валами и стенами на валах. Ров был доверху полон. Здесь земля водообильна, колодцы роют мелкие, а не вычерпать за целый день.

Указывая на тесный Сновск, Святослав предупреждал: «На эти стены не надейтесь. Не пустят. Туда столько набилось бежавшего люда, что и в улицах места нет. Стоямя стоят, стоямя и спят».

Хотя дѣма и стены помогают, но дураков и в алтаре бьют. Черниговцам деваться было некуда, храбрые расхрабрились, а трусливые от страха о страхе забыли. Князь Святослав помог верным расчетом. Он отступил, показывая половцам свою слабость, а на самом деле поставил полк, защитив его заболоченными низинами, которые издали казались ровным лугом, и дал половцам переправиться через Снов без помехи с русской стороны.

Половцы развернулись, как привыкли, полагаясь на свою главную силу — легконогих конных стрелков. Болотины помешали им охватить русских. Ближнего боя с русскими не выдерживали хозары и печенеги. Половцы оказались такими же. Стесненные, они потеряли преимущество

числа. Поневоле сгучившись на мягком берегу Снова, половцы погибали от меча, тонули в реке.

В истории не так редки случаи победы слабейших числом. Гибель смятых войск в местах, неудобных для отступления, дело обычное.

В битве под Сновском легли многие ханы — родовые вожди, в плен попал главный половецкий хан. Был он взят, по точному выраженью участников, руками, то есть невредимым, живым, но кто-то поспешил с ним, поэтому имя его, как и прочих, осталось неизвестным для русских. Князь Святослав послужил тому невинной виной, приказав: «Добычи не хватать, пленных не брать. Мало нас, кому пленных стеречь! Победим — все наше, побьют нас — все станем прахом». Был князь из тех, кто взывает к мужеству, не боясь говорить о возможном поражении, не страшась напомнить о смерти.

Русские стрелки помогали тонуть половцам в Снове. Князь Святослав умными распоряженьями помог дружине переправиться на тот берег. Половцев настойчиво преследовали. Немногие из них, вырвавшись из-под Сновска, вызвали бегство мелких половецких отрядов, искавших по Заднепровью легкой добычи. Русские выходили из крепостей, из убежищ и били бегущих.

Святославова победа освободила нечаянного киевского князя Всеслава от необходимости вести киевлян в поход на Степь. Стало известно, что перепуганные половцы отошли куда-то за Донец. Идти искать их неизвестно где, чтобы вязнуть в размокшей земле — осень уж на носу, — киевляне не желали. Собранные полки разошлись по решению веча. Князю Всеславу осталось гадать, к лучшему ли так получилось. Думалось — к худшему. Победоносная война с половцами могла ль упрочнить его на киевском столе? Рассуждая попросту — могла. Всеслав знал — не бывает простого. Просто у того, кто ленится мыслью. Он посылал верных людей разузнавать, что же думают в Киеве, в Чернигове, в Переяславле. Выслушивая, видел силу Святослава-победителя, а к себе видел равнодушие.

Так и сидел Всеслав, оглядываясь во все стороны, а киевляне держали его по необходимости в князе с дружиной. Требовался по жалобам княжой суд — Всеслав судил по закону. Собирал обычные княжьи доходы с осторожностью, чтобы никого не обидеть; так же пользовался прибытками с княжих земельных угодий, со скота, с табунов, которые

раньше принадлежали Изяславу, теперь стали Всеславовы по праву избрания в князья.

Изяслав зимовал в Польше, у короля Болеслава Второго. Король был женат на Святославовой дочери — племяннице Изяслава, которому и предложил родственную помощь: в обычной для поляков надежде пожить на русских усобицах. Винить в этом поляков не следует, и недостойно будет ссылаться на особенное коварство соседа и кровного брата. Не сохранилось примера, чтобы одно государство отказалось погреть руки на чужом огоньке. Тут не властны убеждения правящих, эпохи, религии, цвета кожи. Руки тянутся сами и тащат за собой голову. В утешенье сочиняются сказки о бескорыстных намереньях, благодушные люди любят сказки, верят им. Да, в истории можно найти несколько случаев бескорыстной помощи: помощник, не расширяя своих владений, не получая возмещения, посылал военную силу. И каждый раз через какое-то время помощь больно отзывалась бескорыстному во имя идеи помощнику. Почему так — не знаем.

Князь Святослав сидел в Чернигове, ни в чем не стесняя себя. Сегодня бранил Изяслава, родного брата. Завтра те же побранки доставались Всеславу, тоже кровному родственнику. Дед, Владимир Святославич, — общий. Святослав не мог побывать в Киеве, Всеславу Чернигов был заказан.

Все остальные, кроме князей, ходили, плавали, ездили куда хотели и сколько хотели. По всей Руси, к ляхам, к германцам, в Италию, за море к грекам, от греков — к арабам, к туркам. Паломники плавали в Иерусалим, куда мусульмане пускали за плату. Съездить из Чернигова в Киев на правобережье — такое и делом-то не казалось, было бы дело. Люди, осведомлявшие князя Всеслава, не считали себя и никто не считал их какими-то лазутчиками, которые лезут через закрытые границы и в щели замкнутых дверей. Границ не было, двери и рты — нараспашку. Князь Всеслав выбирал людей, честному совету которых мог довериться. Так же поступал Святослав. Киевляне, ездившие к ляхам для торговли, видались с Изяславом, чего и не думали скрывать. Тайн не было. Тем более требовалось от Всеслава осторожности, чтоб не упасть на ровном месте: оно, ровное, тем и опасно.

К югу от Киева, за городскими укреплениями, с высокой горы хорошо видны и город, и Днепр. Здесь, на лысом

темечке горы, деревянный храм, поставленный недавно — стены еще не почернели. Храм маленький, тройного члененья. Первая часть, выходящая торцовой стеной на восток, глядит на восход солнца единым глазом — высоко прорубленным окном. Здесь алтарь. Средняя часть раза в два с половиной выше алтарной, кровля шатровая, восьмискатная, сверху луковица с крестом. Задняя часть такая же низкая, как алтарная, но в два раза длиннее. Такое строение храма называют кораблем: нос, высокая мачта и корма.

Кораблик содружен пещерными жителями — иноками. Они спасают свои души для вечной жизни отречением от земной, временной. Первым сюда явился инок Антоний. Вместе со вдовым священником Иларионом они, по примеру египетских отшельников, выкопали себе пещерку. Гора помогла им: подкопайся с кручи вбок — и живи, вода не заходит. Вскоре Иларион покинул друга-инока. Его избрали митрополитом Киевским. Место его не осталось свободным. Приходили, копали пещеры. Инок Антоний угадал хорошо: само строение горы, сама земля способствовала устройству иноческого жития. Жили строго, по совести отказавшись от всего мирского: ни имения, ни денег, но собственный труд, чтоб кое-как пропитаться. Князь Изяслав Ярославич внес свой дар — пожаловал общине иноков гору в вечное владенье безданно, беспошлинно. Иноки сами при содействии добротных плотников из подручного леса возвели для себя малый храм. Посторонних посетителей-молельщиков в те поры приходило в тот храм меньше, чем самих иноков.

Инок Антоний был родом из Черниговской земли, из города Любеча. Увлеченный с юности чтением священных книг, он совсем молоденьким отправился в Константинополь, а оттуда забрался на Афон-гору, в знаменитый монастырь. В нем принял монашеский постриг, но не зажился навсегда, как иные.

— Слышал я, — тихим голосом рассказывал Антоний князю Всеславу, — мне, князь, самому обо мне же рассказывали, будто афонская жизнь мне пришлось не по нраву пышностью. Не так это. Ищущий строгости может и там дни окончить в затворе, не услышав человеческого голоса. Внеси вклад в монастырь, отведут тебе место под келью, и все тут.

— Тебя на Русь потянуло, — шепнул, подсказывая ответ, князь Всеслав.

— Охо-хо, — вздохнул Антоний, — быстр ты умом. Я такого не говорил никому, никогда.

— Иль неправда? — опять шепнул Всеслав.

— Правда, правда, — шепотом же отозвался инок.

Они сидели рядышком на посеревшем, как храмик, бревне. Откатилось оно к обрыву, когда строили, так лицом и осталось. Князь Всеслав сошелся с пещерниками в годы своей дружбы с Ярославичами. С удивительного своего киевского вокняженья он сделался здесь частым гостем. Ближе всех он стал с Антонием, не брезговали Всеславом и другие. Привечал чародея строжайший игумен Феодосий и ученый Никон, который недавно отправился послужить богу в Тмуторокань.

— Правда твоя, правда, — погромче повторил Антоний и усмехнулся. От улыбки сероватое лицо инок в серой от седины бороде будто помолодело. И он, все веселее смеясь, потыкал князя в колено тонким, кривым пальцем. — И все-то шутить, князь, все-то играешь с людьми. Зашептал вдруг. И я за тобой. Скажи, что тебе? Весело в души заглядывать, что ли?

— Что за заглядка?! — возразил Всеслав. — Диво ли русскому русского понять! Вот ведь оно, перед нами!

Всеслав показал на Киев, бывший с горы весь виден, а потом выкинул руки, будто поднося собеседнику на ладонях лесистый скат к Днепру в бронзово-желтой листве, и речные воды, разрезанные островами, и тот, другой, берст реки в поздней, закатной красе умирающей листвы, с черными среди нее вкрапленьями сосновых рощ, с прозрачным простором осенне-светлого воздуха, в котором, как по заказу, явились, трепеща в тяге на юг, треугольнички пролетных гусей.

— Я-то любечский, — сказал Антоний, — у нас там-то места не такие. Горы нету, озера. У нас и ель растет. На болота выходит елка. Болеют, вершинки сохнут, а живут. Одна упадет, умрет, стало быть, другая поднимается, дочка там или сынок, не знаю, как назвать.

— Хочется тебе Любеч повидать? — спросил князь Всеслав. — Близо же. Дам тебе лодью, коней, провожатых. Святослав мне не друг, сам бы тебя проводил — для своей души. Меж Десной и Днепром земля похожа на кривскую мою землицу.

— Спаси тебя бог за доброту, князь, не надобно мне туда. Оно все со мной. Как бы пояснить... Притчи я не мастер сочинять, а притча лучше всего объясняет. Я, к примеру, по-гречески говорю, читаю, как по-русски, мо-

литься же не умею по-гречески. На Афоне пел с иноками по-гречески. Немые молитвы по-своему возносил. Вот оно, — и Антоний коснулся уха, — родного требует. Глагола нашего. Глагол в сердце, в душе... Не гневись, понятней сказать не умею. Но ты ж погоди. Все ты меня отводишь. Нет тебя — помню. Прискачешь — на другое свернем, я и забыл.

— О чем же ты хочешь спросить, друг-брат?

— Про волка. Говорят, ты волком оборачивался. Это грешно. И больше такого не делай, душу погубишь навечно.

— Пусть говорят, — отозвался Всеслав, вставая с бревна. Был он ростом высок, широк, силен. Той же богатырской породы, что Святослав Ярославич, Ростислав Владимирич и подобные им. Про таких сказано: силушка живчиком по жилкам переливается. Их собрать бы тысячу, весь мир завоюют. — Глянь на меня, — продолжил Всеслав, — где ж мне в волчью шкуру рядиться? Разве в медвежью! Да и медведя такого поискать.

— Да и все-то опять-то ты шутишь, — всерьез погрозился Антоний. — Я на Афоне встречал ученых иноков. Перед их великой ученостью я — как лягушка перед быком. Они допускают, что кудесники, отведя людям глаза, даже в мышь превращаются.

— К чему спорить, — согласился Всеслав, усаживаясь рядом с Антонием. — Давай по-другому речь поведем, что нам с тобой мудрецы! Ты, мир повидав, испытал его чистой душой, истинно веришь в такое?

— Могу верить, — серьезно возразил иннок. — Бог все может допустить, а меру божью человек не знает. Со мною бывает даже на молитве. Вдруг будто приподнимусь над землею. Или — виденье, человек, которого никогда не видал. Гляну — на глазах моих он меняет обличье. Является непонятный урод, зверь. Что ж ты скажешь! В пещерке ночью некто подходит, стоит рядом. Я сплю, но чувствую — кто-то есть. Открою глаза — зги не видно, тишина, будто в живых я один во всем мире. И он, кто рядом стоит... Помолюсь про себя и засну: бог-то видит все.

— Сильна твоя вера, — согласился Всеслав, — ты можешь горе приказать — пойдет. Не пытал себя?

— Нет, — отрекся Антоний, — и не буду. Подобное есть испытание бога и соблазн себе. Кто я, чтоб подобного требовать!

— Справедливо судишь, — согласился Всеслав. — О себе скажу. Бредни людские и сказки, будто ведомо мне

тайное средство делаться волком. Но люди верят. И я им не препятствую верить. Кроме тебя, никто не посмел меня спросить. Другое у меня есть: Иной раз я без слов понимаю, что в душе человека. Часто мне удается, сильно чего-либо от человека пожелав, завладеть его волей без слова, без понужденья. Иные слушаются моего взгляда. Кровь из раны могу остановить, но не из всякой. Чужая боль мне бывает послушна: прикажу — и снимаю боль.

— Дар у тебя есть, — сказал Антоний.

— И у тебя есть, — сказал Всеслав, — но ты им не хочешь владеть.

— Не понял я тебя.

— На месте сидишь. Страдаешь во имя страдания. Плоть убиваешь своими руками. Своего спасения ищешь. Разве ты его не найдешь в миру?

— Христос сказал: кто во имя мое не оставит мать, отца, жену и все драгоценное для него на свете, тот недостойн меня, — возразил Антоний.

— То сказано в духе, — ответил Всеслав. — Разве же он указал отскатиться от мира! Он же требовал, чтобы люди бесстрашно бились за правду Христову. Чтобы ставили правду превыше всех привязанностей.

— Думал я, продолжаю думать и ныне, терзать свою душу, — сказал Антоний. — Я слаб. Избрал путь по своему малосилию. Ты меня не вини, прости. Лучшего сделать я не сумел. Спрятался, говоришь? Я не спорю с тобой...

— Отче, отче, — обнял Всеслав монаха за плечи, — бродим мы, ищем мы. И ты меня прости за упреки ничемные. Лежали они у меня на душе, а я тебя люблю. Но не слаб ты. Здесь вы — богатыри. Правду же о каждом из нас узнаем мы, как видно, лишь на Страшном Суде. Давай о другом поговорим.

— Куда ж нам от себя деваться? — возразил Антоний. — От себя не убежишь. Мучаешься, княже?

— Да. Не выгонял я Изяслава, вече его изгнало. Вече меня князем поставило — я не просил. С запада Изяслав придет с поляками. Из-за Днепра пойдут Святослав со Всеволодом.

— Мы за тебя молимся, ты русской крови не лей, — попросил Антоний.

— Уходить мне из Киева не хочется, — сказал Всеслав. — Оставаться? В народе у меня нет врагов. И друзей нет. Мне тут — что нынче нам с тобой под осенним солнышком: светит, да не греет. Комары с мошкой не гнетут,

зато нет уже ни гриба в лесу, ни ягоды. Силой держаться? Силы моей не достанет против троих Ярославичей.

— Нехорошо силой-то, — заметил Антоний.

— Нет, хорошо, — возразил Всеслав. — Ты, отреченец мира, один силен твоей силой. Я думаю не о насилии, не о понуждении. О согласии думаю.

— Князь, князь! Не отличить нам силу от насилия. Не дано человеку такого знания. Потому и цепляются все за дело, смысл же его ищут потом. Взял — прав. Не взял — не прав, зато будешь прав, когда возьмешь. Суета это. Каждый себя убеждает — я прав. Без правоты никто жить не может.

— Все ищут, как умеют, а решает меч, — убежденно сказал князь Всеслав. — Погляди на наш мир! Греческая империя не первый век насмерть бьется с турками и арабами. Бьется с болгарами. С италийцами. Там — вот так! — Переплетя пальцы, Всеслав показал, как одна рука ломает другую. — И остановиться им нельзя — тут же свалят на землю и разорвут. На западе, у края, где Океан, франки-нормандцы с папским знаменем завоевали Британию — остров громадный — и жителей между собой делят, как скотину, считая по головам. Франки бросаются один на другого и упавшего душат сразу. В Испании четвертая сотня лет идет, как испанцы режутся с арабами — маврами. В Германии великие владетели дерутся между собой, дерутся с собственным императором Генрихом, четвертым этого имени. У наших братьев по крови, ляхов и чехов, резня постоянная. И Литва давит на них, давит на Полоцк мой. У свеев, у норманнов, у датчан нет покоя. И воюют они зло, их порода пощады не дает и не просит.

Антоний кивал головой в низенькой, засаленной камиллавке и руку поднял, когда князь Всеслав перевел дух, но тот продолжал:

— Нам теперь, после стольких бед от Степи, с половцами придется обживаться. Чем? Мечом да копьем. А сзади, за половцами, что? Знаешь? Не знаешь, не говори, я скажу. Там дней сотни на три пути — степь, пустыня, горы. И везде один идет на другого. Истошатся, передохнут, подкопят народу — и вновь, и вновь война, война, война. Половцы не зря пришли. Их сзади другие подтолкнули. Половцам на старом месте, за Нижним Итилем, Волгой по-нашему, стало несладко. Такой наш мир. Не ты, так тебя. Знаешь ли ты, что на западе, где земля обрезается берегом Океана, тоже не пусто? Я лета четыре тому назад слышал от варяга повесть. Их люди через Океан переплыли

и нашли никому не ведомую землю Винланд. Там люди с темной кожей. Мирную жизнь нашли? Нет. Тут же на варягов тамошние жители напали с луками, с копьями. Насадки у стрел, у копий кремневые, а убивают, как железные. Волком оборачиваться? Что наши русские — лесные волки! Тут, отче, драконом быть надо, да с огненным зевом.

— Не согласен я, княже, не согласен, — возразил Антоний. — Ты все вместе собрал сразу. Будто весь мир пылает и каждый каждому режет горло. Сила же будто бы только в оружии. Нет. Вон там они, — и Антоний указал на заднепровские леса. — Сидят на пашнях. За скотом ходят. Смолу гонят. Из дерева утварь режут. Ремесла там разные. Кто кузнец, кто кожевник. Ткут. Княже, в них русская сила живет. От них тебе и хлеб, и ратный. Им князь нужен по беде. Не будь беды... И мы, богослужители, нужны им по смятению сердец. Душе ихней, совести ихней мы больше нужны, чем княжие дружины. Они — множество, они суть истинная сила, они суть у бога.

— Прав, отче, прав ты, — согласился Всеслав. — Они подобны лесу, мы, князья, не более чем ветер. В наших ссорах пролетим поверху, вершины качнутся, и — лес стоит, а князя ищи-свищи. Ты, мудрый, верно судишь. Так зачем же ты им мешаешь?

— Им-то? — удивился Антоний. — В чем же я помеха для них?

— В твоей святой жизни, — сказал Всеслав. — Их жизнь, по сравнению с твоей, будто бы нечиста. Будто бы с женой быть нечисто. Церковь брак допускает, но безбрачие ставится выше. Церковь не возбраняет заниматься мирскими делами, однако ж отречение от дел свято. И живешь ты в пещерке своей живым упреком тем, кого считаешь у бога живущими. Женщине сюда нельзя. Что ж она? Нечиста, что ли?

— Спешись, брате, быстрым умом, — упрекнул князя Антоний.

— Где ж я спешу, укажи?

— Не укажу, а скажу. Ты, сердцеведец, знаешь лучше меня, как стремленьем пылких сердец устроилось монашество от первых христианских годов. Ты, ученый, больше меня знаешь, что святые бегством в пустыни, примером своим победили скверну старого Рима. Спасение и грех рядом живут. Монах — человек. И ты в нем не ищи совершенства.

— Быть по сему, — согласился Всеслав, — но бог заповедал: плодитесь и размножайтесь. Где ж твои дсти, где внуки, ты, отреченец от мира мирского?

Антоний приложил палец к губам, прося друга не вторгаться словами в тайное тайных. Но князь не унялся.

— Да! — настаивал он. — Христос под разрушенным храмом разумел не душу, а земное тело. Воскреснув, он людям явился телесным, и апостол Фома вложил пальцы в его телесные раны! Христос велел: будут двое плоть едина. Монахи презирают плоть, которую Христос освятил. Кто же грешит, и плоть отрывая от духа, и жену отторгая от мужа?

Колокол звал к вечерне. Несколько монахов в рясах из пестряди, босые, прошли в церковь, кланяясь Антонию и князю.

— Пойдем, княже, и мы, — угасшим голосом пригласил Антоний, — уврачуем смиреньем молитвы смятеные души и горечь ума.

Минула короткая, но оттого еще более скучная киевская зима, встретили киевляне масляным блином весеннее солнцестояние, и Весну встречали, и хороводы гуляли, и березки завивали, и игры водили, и девушки гадали, бросая в воду венки из первых желтых цветиков весенних, и все было новое, да по-старому, ничего не забыли. Не забыл своего и князь Изяслав, явившись в русских пределах с польской подмогою, которую вел король Болеслав, того же имени, что тот, которого приводил Святополк, прозвищем Окаянный.

Киевляне встrepенулись, собрали полки и пошли на встречу гостям, надеясь на своего нового князя Всеслава. Выступая, прощались жены и детишки плакали, старики напутствовали — все, как всегда. Но Всеслав не положился на киевлян. Дошли до Белгорода, стали станом, выставили сторожей. Сторожа не спали, конные ездили, пешие перекликались. Но утром уже не было ни Всеслава, ни дружины его, которая за зиму составилаь около князя. Никто не видал, как бежали они. Понятно, и сам Всеслав обернулся серым волком, и дружину зачаровал, сделав всех невидимыми глазу. Известный кудесник.

Сила у киевлян была будто бы и не малая, но привычки ходить на войну без князей не было совсем — не новгородцы либо псковичи. Тем более показалось всем тошно, что побег кудесника-князя явственно предсказывал общую гибель.

Безголовое тело мигом втянулось обратно в Кисв, ко дворам. Благо, недалеко ходить было: от Белгорода до Киева верст тридцати и тех не будет. Хоть и коротенькая была дорожка, но за день один исчезли, разбежавшись по домам, сельчане, чтобы докончить полевые работы. Горожане, собрав вече на Подоле, избрали нескольких лучших людей, дали наказ и погнали послами в Чернигов к князьям Ярославичам — Святославу со Всеволодом. Выборные говорили в Чернигове грубо:

— Будто бы мы дурно сделали, что Изяслава изгнали. А хорошо ли сам Изяслав поступал, боясь половцев и вече не слушая? — И, не ожидая ответа от Ярославичей, сами в крик отвечали: — Худо, худо! — Жаловались: — Ныне Изяслав ведет на нас Польскую землю, хочет нас избить через поляков. Так вы, Ярославичи, идите в Киев княжить. Это город отца вашего. А не пойдете — пожалее. У нас людей много и коней много. Мы город запалим с четырех концов и выжжем весь. Сами ж уйдем навсегда. Нам везде место. И у греков в Таврии сядем. И Тмуторокань нас примет. И через море нам есть дорога, пойдем под руку базилевса.

В гневе киевляне, сорвав шапки с голов — в те поры люди перед князьями непокрытыми не стояли, — их оземь бросили и топтали ногами, будто змею.

Князь Святослав обещал:

— Не дадим брату Изяславу воли разорять отцовский город. Если подойдет он с поляками, мы с братом Всеволодом выйдем на него с войском и вместе с вами его навечно прогоним. Ежели придет он с миром да с малой дружиной, пусть опять на стол садится.

На том и порешили, с тем Святослав нарядил пятерых своих бояр к Изяславу. Те с бывшим изгнанником говорили, как топором рубили, и князь поехал к Киеву с королем Болеславом, как с гостем. Польские полки пошли назад. При короле остался небольшой отряд своих.

Сын Изяслава, Мстислав, был пущен отцом вперед. В Киеве Мстислав схватил людей, которые разграбили Изяславову казну, почти все вернул, а отцовых обидчиков, свыше пятидесяти человек, велел убить. Схватил он также десятка два людей, которых считали друзьями Всеслава. После ожидания большой беды подобное не поразило киевлян горем. Тем более что наибольшая часть их осуждала грабеж имения бежавшего Изяслава: чужое-де нечего хватать, чужим не разбогатеешь. Добытое умом, да горбом, да в бою взятое — на пользу, прочее — на порчу.

С честью встретили киевляне Изяслава за городом, с почетом проводили его по городу на верхнюю часть, до княжого двора. Достался почет и княжому другу — королю Болеславу, второму этого имени. Изяслав разослал поляков по ближним волостям для кормления и стал по-новому оглядываться в старом русском городе.

Помнилось ему вече на Подоле, с которого начались его, Изяславовы, беды. Князь велел торгу быть на горе, близко от княжого двора. Снизу перенесли навсрх вечевыс била, наверху устроили подмости, с которых говорить. А торговую площадь на Подоле, где со старинных дней собирались, князь Изяслав велел разделить на улицы; улицы разбить на участки и поставить там дома, да сараи, да что придется, чтоб не стало торговой площади, чтобы негде было сойтись людям, коль и вздумают.

Дни шли — князь не успокаивался. Мерещились ему друзья Всеслава, и языка своего Изяслав не удерживал, грозился. Сколько-то десятков киевлян почли за доброе переждать серенькие дни за Днепром, в Черниговской земле, под широким крылом князя Святослава-богатыря. Он побил малым войском большое войско половцев; по его слову Изяслав не посмел разорять Киев. Изяслав сердился, но гнева таить не умел.

— Что за святитель такой объявился, Антоний-пещерник! Кем ставлен? Кем объявлен? С оборотнем дружился. Спереди ряса, сзади шкура волчья! Не худо будет эти пещерки раскопать.

В Киеве колокол гудит, в Чернигове подголоски — «звяк, звяк». В Константинополе патриарх служит соборно, в Салониках — Солуни аминят. В Париже король французский средь своих слово молвит — в Руане английский король, герцог нормандский за меч берется. Откуда только люди все знают!

Стал, не стал бы князь Изяслав раскапывать пещерки и Антония с горы в Днепр толкать, неизвестно. Ибо князь Святослав утром в Чернигове свое слово сказал, вечером его дружинники к Днепру вышли, ночью переправились, тихими стопами по обрыву взошли, молитву творя, перед Антонием склонились, ласково взяли его мягкими руками и на руках же до лодьи донесли прежде, чем святой человек опомнился: видение ли ему, либо явь удивительная.

На следующий день в Чернигове бухнуло — в Киеве отозвалось: Антония-старца князь Святослав выкрал, чтоб брата своего князя Изяслава уберечь от греха. Сильно на-

хмурившиеся киевляне развеселились, но киевский князь еще больше обиделся.

Переслались послами. Изяславовы именем своего князя упресли черниговца:

— Зачем моих людей ночью крадешь?

Святославу бы отговориться, а он что в голову пришло:

— Антоний не твой, а общий, русский.

Опять обида. И вот что плохо: чужому большее прощаем, а на своего сердце по пустяку вскипает, рука сама поднимается.

— На советчиков да на помощников люди больше всего обижаются, — говорил старец Антоний своему покровителю.

— Откуда ж ты такое знаешь? — спрашивал князь Святослав.

— Что, разве солгал? — вопросом же отвечал старец. — Самолюбие большое в человеке, мешает оно. Обидно мне. Перешагнуть не могу через ров, сам места ищу, где по-сильно, ты ж меня к себе на спину не сажай.

— Вот ты какой! — усмехнулся Святослав.

— А ты такой, — соглашался Антоний. — Ты мня святостью моей обижаешь. Всеслав попрекал, пример-де дурной даю, жизнью своєю поощряю безбрачие. Я с Всеславом спорю, борюсь. Ты же думаешь, я святой.

— Как же ты споришь, когда его нет с тобой?

— Как все, как ты. Разговариваю с ним про себя. Я не князь, времени много. Руки займу, а сам либо молюсь, либо беседую. Всех собираю. Хорошо. Утром сегодня говорил с одним греком.

— О чем?

— В бытность мою на Афоне слышал речение древнейшего философа, по-нашему — любителя мудрости, любомудра, одним словом. Говорил тот, древний: правителю безопаснее будет уничтожить десять городов, чем пять самолюбивых людей оскорбить.

— Злая мудрость.

— Чем зла-то? Мудрость, как нож, — хлеба краюху отрезать, человека ли зарезать, нож не повинен.

Как было уж при Святополке Окаянном, так же случилось и при Изяславе с поляками, размещенными по волостям для удобства их содержания. Сельчане пригляделись к непрошеным гостям и взялись за оружие. Стычки были редки, чаще русские, накопив недовольство, сразу объясня-

лись стрелой и мечом. Болеславу пришлось поспешить во-
своися.

Подобравши дружину и охотников, князь Изяслав по-
слал своего сына Мстислава выместить на князе Всеславе
обиду. Поступил он так без совета с братьями, собственной
волей. Не желая подвергать разорению свою Кривскую
землю, князь Всеслав нашел в лесу колдовской пень. Схва-
тился зубами, перевернулся через голову и убежал серым
волком. С тем отличием от обычных волков, что следа не
оставил.

И вдруг объявился. И где же! В начале зимы он вновь
принял человеческий облик в Новгородской земле, в озер-
но-лесных просторах к северо-западу от Ильменя, где пол-
но речек и речушек, из которых иные текут-тснут и вдруг
норяются под землю и вновь появляются, а другие — подоб-
ного нет нигде — меняют течение, и не поймешь, где у
них устье, а где исток. Здесь обитают водь с ижорой, люди
белоглазые, светловолосые, давние данники, союзники,
друзья Новгорода, которые с ним давно не ссорились. И на
этот раз им ссориться с Новгородом было будто бы не из
чего, однако же князь Всеслав вдруг выскочил под самым
городом с войском из вожан, да так, что уж и в город
входил.

В те годы новгородцы держали князем Глеба, сына
Святослава Черниговского. Хотя по старине Новгород сто-
ял под рукой киевского князя, Святослав, пользуясь сла-
бостью Изяслава, дал новгородцам Глеба. Князь Изяслав
был недоволен — тут-то и крылся тонкий Всеславов расчет.

Новгородцы порушили этот расчет. Успев ополчиться,
они посекали вожан и взяли в плен самого Всеслава. До-
стался им полоцкий князь не беглецом. Он собою прикрыл
бегущих вожан, которых соблазнил на дело, не нашедшее
божьей поддержки. Либо какой-то иной.

На том и закончилась быстротечная война, и новгород-
цы могли искать старые и недавние обиды на изгое Всесла-
ве, князе без княжества, чародее без чар, кудеснике, кто
сам себе накудесить не мог, ведуне, утром не ведавшем,
куда вечером голову положит, волке бездомном. По друго-
му времени да в другом племени, тут же такую добычу
перелобанив да взявши шкуру, победители пошли б домой,
похваляючись по-охотнически — и всякой похвальбе была б
честь, ибо целый город в свидетелях, ибо в руках и свиде-
тельство, пробуй хоть на зуб, не веря глазам, а на руках
еще кровь не высохла, хоть гляди, хоть лижи, солона, не
поддельная.

Из всех русских новгородцев и славился, и бесчестился самым расчетливым, всякому товару знал две цены — купить и продать, без прибыли с места не вставал, с убытком не спал, пока ужом не изогнется, вьюном не выскользнет, но свое возьмет со дна морского, из камня каменного когтями выкогтит.

Из всех русских веч самое горячее веч творилось в Новгороде. Забыв про расчетливость, новгородцы друг за другом гонялись, с моста в Мутную — Волхов сталкивали и бились любым оружием, только что красного петуха не пускали по городу. Не потому, что боялись и свой дом спалить, а по обычаю: не было обычая, чтоб поджигать.

Зато так вопили, что привычные новгородские вороны с воробьями и галками не могли привыкнуть и перелетывали за окраины ждать, когда бескрылые, хоть и двуногие птичьи данники дадут крылатому люду делом заняться. Оно ведь как? Кто, разумно собирая по зернышку, кусками не хапает, тому от бога на день пуд полагается, да времени мало отпущено — всего-то от зари до зари. Новгородцы свою птицу понимали до тонкости и сынам в пример ставили: учись трудиться-то.

Нынче не беспокоили птицу небесную. Новгородские выборные старшины вместе с князем Глебом по-братски со Всеславом перемолвились и пустили на волю князя-изгоя, богатыря, как лебедь, гордого, отпустили для «ради бога», как у них такое дело называлось, для «ради бога» же князь Всеслав обещался ни воль, ни ижору, ни других новгородских земель не мутить и Господину Великому Новгороду куда не делать.

И поехал он нетропленной тропой на усталом коне куда глаза глядят, и серые сумерки кутали сизым пологом скучные еловые перелесочки, и вьюжило ему вослед, заметая следы, а новгородцы-победители, аршинники, весовщики, счетчики-алтынники, остались в теплых домах, и самая из всех злейшая баба-изъедуха поостереглась мужа-смирненника чем-либо попрекнуть, ибо чуяла — нынче прирученный тихоня может впервые платок с нее снять, проврняя, крепки ли волосы, тогда и дальше держись, лиха беда — начало, и, вспомнив былые денечки ласковые, красные, сама ластилась: ты ж мой могученький, ты ж мой желанненький.

Так возвеличились мужи новгородские в зиму 1069 года. И никто на Руси не удивился. Лишь по прошествии многих веков книжники, изнывая над летописями будто бы дальнего времени, себе в душу заглядывая, себя спрашива-

ли: могло ли такое быть? И, примеряя к себе события, как кафтан с чужого плеча, сомневались, ибо одного рукава хватало одеть все многокнижное поколение вместе с книгами.

Князь без княжества — не князь. Так, казалось бы, быть должно. Так и бывало по старому русскому обычаю, когда сведут с места князя, другого посадят, сведенный же становится в один ряд с другими родовичами. Так сохранялось в Европе на западе. Император ли, герцог ли и другие владетели, имена которых были названиями земель, лишившись земли, лишались и имени. На Руси где-то и как-то княжество слилось с личностью, длилось после потери земли и стиралось через поколения, когда дальнейшее достоинство дальнего предка заменялось отцовским достоинством и честь сыну шла по отцу. Изгой Всеслав, побежденный, без союзников за русскими пределами, без опоры на Руси, для людей оставался князем. И всё-то все люди знали: где и кто находится, что думает, куда и когда собирается. Дорог будто бы не было, пробитые тропы будто бы снегом заносило за зиму так, что до весны каждый сидел в дому безвылазно, подобно медведю в берлоге, только лапу не сосал. Ан нет, и лапу сосал, и в спячку западал, согласно известиям о русских из нерусских ученых трудов.

Зимой 1069/70 года Мстислав Изяславич, державший для отца Полоцк, умер в Полоцке от болезни — не повадили ему двинская вода и кривский хлеб. За эту же зиму к изгнаннику Всеславу прибилась изрядная дружина богатырей, которым было повадно служить не кому-либо, а богатырю же, таковым признанному от всей Руси. Удачи не было изгою? Что ж, сегодня убыток, завтра прибыли жди. Время худо терять, вчерашнего дня не вернешь. Сердце потерять — всего лишиться.

Всеслав смелости не растратил, время хотел наверстать, убытков не боялся. В 1070 году князь Всеслав больше шумом-испугом, чем кровью, выбил из Полоцка Святополка Изяславича, заменившего брата. Пробовал Изяслав опять вытолкать Всеслава. Полоцкий князь качнулся, но не выпустил Кривской земли — его Земля от себя не пустила.

Кто видал, как осенью сидят сокола на ветках, издали различает их. Вот сухими лапами с остроиглыми когтями захватила сук крепкая, крупная птица. Голова гордо откинута, гордо выпячен зоб над широкою грудью. Глядит,

чуть поводя крюконосой головой, и человека подпускает к дереву вплотную — где ему, бескрылому, до меня достичь. А вот другой, тоже на отдыхе. Но сколько уже готового полета в чуть подавшемся вперед теле, хотя каждый мускул еще свободен! Общего между ними — уметь выбрать на-сест по своему весу. Первый сокол — недавний гнездарь. Второй — единственный, кто выжил из прошлогодних птенцов. И будет жить. Он храбр, но никогда не подпустит двуногого близко. Первый молод и глуп.

Так и сидел князь Всеслав в своем милом Полоцке. Прочно, но весь на весу. И сыновья с ним такие же. Ожести руки, киевский князь Изяслав счел за благо более их не совать в горячие кривские дебри. Началась пересылка через доверенных людей.

— Ты, брат-князь, что против меня таишь? — передает Изяслав.

— Ничего. Вот крест. Это ты, брат-князь, на меня точишь меч, — отвечает Всеслав.

Срок пройдет, затевают опять. Опять Изяслав шлет своих:

— Оставил я давно уж вражду. Вот крест. Мир лучше ссоры.

— Мир лучше, — подтверждает Всеслав.

Послы заживаются. Киевские — в Полоцке. Полоцкие — в Киеве.

Изяславовы послы ведут в Полоцке речи о дружбе, да только есть иные, которые любят погреться на чужом пожарище.

Полоцкие послы в Киеве намек мечут: Изяславу-то поближе нужно глядеть, тайное и станет явным, как в священном писании записано.

Так, не делая дела, проводили время. И озирались, не веря друг другу. Поистине, неверие горче самого костного верования.

В Чернигове, в Переяславле сидели князья Святослав с Всеволодом, и что ни дальше время шло, тем длинней вырастали за Днепром недоверие с опасением. Для сих растений, именуемых сорными, нет времени года, они не боятся засухи, не вымокают, и нет на них саранчи. Однако же и за Днепром тоже ничего не делали.

В обоюдном неделании и заключалось самое нужное княжеское делание: день без войны — сытый день, мирный год — добрый год. Ветер усобицы не шумел по вершинам, корням было вольнее, осевшие торки — черные клобуки, и берендеи, и печенеги, и прочие — легче русели.

Антоний-пещерник вернулся к своей пещерке, вязал на спицах клобуки и копытца-чулочки — одно наскучит, за другое берется — да все разговаривал: с братьей-монахами, с пришлыми прочими, кто ни приди. А нет никого — так соберет сколько вздумает, кого вздумает в мыслях и с ними судит обо всем, не утруждая голоса, только губами чуть-чуть шевелит. Издали кажется: старец творит немую молитву. Обмана нет: беседа без лжи — что молитва.

Старший сын князя Всеволода родился в 1053¹ году, еще при жизни князя Ярослава Владимировича. Именами новорожденного не обидели. Во-первых, нарекли его по прадеду Владимиром. По старому русскому смыслу имя это властительное. Второе имя взяли Василий, когда в купели крестили. Тоже хорошее имя, в переводе с греческого — властелин, обладатель земли, то есть тот же Владимир. Третье имя дали по деду с материнской стороны. Отец матери был базилевс Константин, Мономах прозвищем, и внуку быть Мономахом.

До семи лет сын воспитывался при матери. Исполнилось семь — перешел в мужские руки, надел мужское платье, сел первый раз на коня и не испугался, чем любил похвастаться, сам смеясь над такой похвальбой. Упал — не заплакал. Еще упал — вида не показал, что ушибся, дядька же ему объяснил: «Плохо тот научится конем владеть, кто поначалу семь раз на день не падает».

Года не прошло, как ученик от учителя не отставал. Силы у малого мало, да ведь ездят верхом не силой, а ловкостью, в седле держатся равновесием, коня понуждают уменьем, а не грубостью. Красуясь перед матерью, Владимир во дворе проскакал по кругу, конь споткнулся и выбросил легкого всадника. Перевернувшись, мальчик ударился спиной — дух сперло. Справившись, встал. Мать, стоя на крыльце, не шевельнулась. Только спросила, когда Владимир поднялся: «Что же ты не садишься в седло, сын мой?» Подобно многим другим матерям в других местах, кто заботился помочь мальчику стать мужчиной.

Будто бы ничего не случилось. Да ведь и в самом деле ничего не было. Ребенка не унижай никчемной заботой, ахами, бабьими вскриками, будь женщиной, мать!

Латинскому письму Владимир учился от русского книжника, своему письму — от другого. Греческому — у матери. Нарушилось правило, по которому отроков обучали мужчины. Отец, князь Всеволод, не одобрил: «Свои сво-

их плохо учат, не желая того, будешь, жена, потакать сыновьей лени». Но Анна поставила на своем. Сказано же — ночная кукушка денную перекукует.

И на Руси тот же устрашающий Хронос, который пожирает своих детей и не может насытиться. И здесь, как в империи, темпус фугит, по словам железной римской речи. Не нашлось перевода на русский, как не было его на греческий, но время в Переяславле, в Киеве, в Чернигове стремилось не медленней, пусть русская речь была нежна, чтоб передать торопливо-неотвратимый бег времени.

Да и жизнь была мягче греческой. Римскую жизнь, отливавшую слова из металла, гречанка Анна знала только по книгам. Книги, которые собирают соль и горечь, более других привлекают читателя. Таких — и римских, и греческих — дочь базилевса Константина Мономаха читалась достаточно к тому дню, когда щедрый отец добавил дочь к выкупу за договор о мире с русскими. Книги не входили в длинную опись ценностей, которыми империя купила мир, назвав эти деньги достойным приданым дочери базилевса. Книг, и святых, и разных — разные любимее святых, молодая гречанка привезла достаточно, чтоб прятаться в них, исполнив неизбежно-обыденные повинности первой подданной — жены князя. Анне выпала наилучшая доля из тех, которые ждут дочерей базилевсов. Об отце, человеке совершенно чужом, она знала все дурное. И сама, взрослой уже, прибавила нечто хорошее, такое же далекое, отвлеченное от чувств, как крылья серафимов на иконах: символ, летать же нельзя иначе, как волею бога. Слушайте! Это же дальше вечерней звезды — серафим, крылья, бог... Хотя и такое же очевидно, как звезда.

Но что узнала она хорошее об отце из книг? Сравнение с другими. Отец был лучше многих римских императоров и многих базилевсов. Как видно, для иных книги не только источник развлечений или возможность хвалиться чужими познаниями, выдавая их за свои, и щеголять краденой мудростью. Писатели? Переписыватели — так называл своих друзей по папирусам и сепии один из посетителей покоев матери Анны, жены Константина Мономаха.

Вряд ли мать Анны нуждалась в муже. Ее, девушку из сановной семьи, выдали за Константина Мономаха, равного ей, по условию семей, как обычно. Очень скоро начались похождения Константина Мономаха с базилиссой Зоей, а дети его появлялись как бы сами собой. Потом — годы того, что в империи называют немилостью. Анна

знала, что этот совершенно чужой мужчина, которого она изредка видела, ее отец, не испытывая чувств дочери, о существовании которых она читала и слышала. Мать умерла за несколько недель до возвращения Константина в Палатий. Вдовец вступил в государственный брак с престарелой базилиссой Зоей, которой был нужен верный человек, чтоб надеть диадему и править ее и своим именем. Мать Анны не жаловалась на жизнь, ее смерть от болезни была удачей. Когда подданного удостоивают государственным браком, препятствия к нему могут убрать решительным образом.

Базилевс Константин поселился во дворце вместе со своей возлюбленной, красавицей из рода Склиров. Переместили во дворец и дочерей Константина — из приличия, ибо отцу до них по-прежнему не было дела. Невенчанная базилисса Склирена следила за порядком в покоях девушек. Их будущее? Брак с подданным по воле отца либо монастырь. Дочери безгласно присутствовали на дворцовых церемониях, имели место на хорах храма Софии в гинекее. Склирена, если не забывала, брала их иногда в закрытую галерею храма Стефана, откуда они развлекались, невидимые, состязаниями и играми на ипподроме. Далеко и плохо видно. Лучшие места занимала чернь на открытых трибунах. Величие обязывает к жертвам. Впрочем, женщин вообще не пускали на открытые трибуны ипподрома. Особенно смелые одевались мужчинами и прятали лица. Они были так далеки, что казались существами иного мира. Но лишь на трибунах. В жизни такие женщины были рядом — служанки. Родители дают детям смертную плоть, бог посылает младенцу бессмертную душу — эту очевидную истину Анна узнала слишком рано. Истина осталась сама по себе. Жизнь была другой. Как книги. Псалтырь, четыре евангелия, описания деяний апостольских, послания апостолов и Апокалипсис апостола Иоанна, великолепный словами, притягивающий ужасом величия видений. И другие книги, земные, в которых было много языческого, как в историях Прокопия из Кесарии, в хрониках Малалы, Арматола, хотя они были написаны христианами. Но увлекательнее всех был язычник Плутарх. Римляне распоряжались женщинами, создавая союзы между правящими. Это называлось политикой, греческим словом, имеющим много значений. Кто-то из старых греческих философов назвал человека «политическим животным». В его времена политикой назывались правила жизни в городе. Город — «полис» по-гречески.

Слова меняются, завися даже от мест, а не только от времени: в одно и то же время речь господина отличается от речи слуги. Русский посол, который от имени сына русского базилевса, Андрея-Всеволода, обручился с Анной, владел греческой речью с изяществом книжников. Переговоры велись долго, а для Анны события длились неделю от дня, когда ей объявили волю базилевса Константина. Патриарх напутствовал дочь базилевса, внушая неуклонно соблюдать православие, во всем слушая духовника, святого человека, которого дарит ей Церковь. Русские недавние христиане, во многом держатся языческих обрядов, во многом вера у них только внешняя. Отец торжественно благословил дочь в собрании сановников империи и сановников Церкви. Анну, чтоб почтить величие империи, вели под руки на корабль в порту палатийском Буколеон под пение двухсот певчих святой Софии, и храмовые хоругви тонули в серых волнах ладана. Узенький извилистый пролив прошли на веслах. Скоро русский посол заглянул в помещение, которое устроили для Анны.

— Княгиня, выдь, если будет угодно тебе, пожаловать последним взглядом греческую землю.

Когда с кормы Анна глядела на зеленые горы — пролива между ними уже не различишь, — глядела впервые в жизни и в последний раз, — русский объяснил ей:

— Князя нашего, ныне отца твоего, звать Ярославом. Имя Георгий по-русски называют крестильным, и мало кто из русских знает, кем крестили князя. Мужа твоего звать Всеволодом, Андрей же — его крестильное имя.

Так быстро подтвердились слова патриарха! Но русский посол думал об ином. Угадывая тревоги — могло ль их не быть! — молоденькой гречанки, он говорил:

— Все наше прошлое — и твое — только рождение сегодняшнего дня твоего. Не сожалей, что с тобой могло быть иначе. Бывшее подобно скале, и оно завершилось. Прими же сегодняшний день. Не рань себе рук о неисправимое. Неисправимое — это имя прошлого. Другого названия не должно давать прошлому, если ты хочешь быть свободна для нынешнего дня.

Духовник Анны вмешался:

— Каждый текущий день посвящай богу, думая о царстве небесном.

Русский возразил:

— Заботиться следует о нынешнем дне, и не об ином. И не слабость в мечтах. Коль ты сегодня сделал свое дело, ты и завтрашний день себе подготовил, — и обратился к

Анне: — Жизнь наша уподоблена тысяче уподоблений, хотя бы и дереву, ветви которого разрастаются с каждым днем. Нет дней дурных. Верь, княгиня, сердцу твоему.

Исчезли зеленые вершины, море, морщась под ветром, заменило твердую землю. А есть ли твердая земля, бывает ли у человека постоянная опора, которой нет даже у гор?

Языческого было много, церковный брачный обряд незаметно утонул в русских обрядах, а длились они семь дней. Теперь сыну семь лет, второму — четыре и дочери — два, и муж велит — не теряй времени. Он прав, дни нельзя собрать вновь, как бусы рассыпанного ожерелья, так как прошлого нет.

Отец из Палатия присылал четырежды в год письма с торжественным титулом базилевса вверху пергамента, с обращением: от его величия по милости божьей возлюбленнейшим дочери и сыну. Буквы были расцвечены золотом, киноварью и зеленью. Их не писали — сотворяли умелыише писцы, и базилевс-отец, посылая их руками свои благословения, подписывал торжественные слова. Слова без смысла, как их назвал Всеволод после рождения первого сына, после дней, когда они оба почувствовали себя поистине в браке. Отец-базилевс скончался через два года после отъезда дочери на Русь и через год после рождения Владимира. А письма и сопутствующие им подарки продолжали приходить. Содержание менялось мало, ибо палатийские писцы знали свои обязанности, и Анна оставалась дочерью империи — для империи, а не для нее. Русский священник заменил первого, посланного патриархом, для общего блага: грек слишком старался уберечь от язычества свою духовную дочь, принимая русские обычаи за грех. В те поры митрополитом Руси был тоже грек, но тонкого склада, в нем жесткий блюститель князей совести не нашел опоры. Сделавшись помехой, высокоученый монах вернулся во Влахернский монастырь, убедившись: женщина подобна сосуду из мягкой глины (по-русски — из скудели). Воистину так! Года не прошло, и дочь базилевса сделалась русской! Монах поспешил с обвинением. Однако ж и в этой неправде была, как бывает, и правда.

Но греческой науки Анна не забыла, и вскоре Всеволод в том убедился. Его первенец овладел греческим письмом будто играючи. Что за диво, греческой речью мальчик владел и раньше не в ущерб русской, однако же. Сам Всеволод легко говорил по-гречески, по-латыни, по-германски, по-печенежски, по-варяжски, не считая чешской и польской речи, схожих с русской, как братья с сестрой.

Для княгини Анны греческий язык стал как русский, ее мысль как бы сама брала ту или иную плоть. Цена слов? Они обозначают нечто, и отнюдь не всегда что-то значат. Греческий язык стал для Анны похожим на русский. Копилка познаний не так уж велика. Каждый, кто убедился в чем-то, считает несогласных ошибающимися. Все правы.

У молодого Владимира учителей хватало с избытком, а молодое сердце горячо гордостью. Кто-то сказал ему, безусому юноше: «Что наряжаешься? Коль в посконном платье в тебе не узнают князя, то и прямь, какой же ты князь?»

С тех пор и пошло: хорошее стал надевать для чужих только в городе. Ехать куда-либо, на охоту ли, дома ли в своем дворе — домотканина, пестрядь, посконина да сермяжное сукно, другого не хочет. Отец посмеялся, потом разрешил: «Но сумей же показывать князя, иначе день-деньской заставлю по лесам и полям шарить с охотой, весной землю пахать, осенью хлеб убирать!»

Сказано — забыто. Дни длинные, летом от первой зари, по-русски Денницы, по-гречески Авроры, когда люди просыпаются по первому лучу, чтобы звезды проводить на покой, до первой вечерней звезды, когда голова сама ищет подушку. Осенние да зимние дни продляются светом свечи да лампы, то книжные вечера. Зато годы были коротки, как бывает с ними, когда дни полны дела.

В 1068 году, когда киевляне изгнали князя Изяслава и посадили на киевский стол Всеслава Полоцкого, началась княжеская жизнь для Владимира Всеволодича. Шел ему тогда шестнадцатый год от роду. Впрок ему стали воинское ученье да охоты, и верхом, и пешком, на любого зверя — туров, диких лошадей, оленей, волков. Молоденький княжой сын дотянул до полного роста, стал широк костью и незаурядно силен телом не только для своего возраста, но и для двадцатилетних.

Князь Изяслав ушел к полякам искать убежища да помощи, а князь Всеволод, побоявшись возвращаться в свой Переяславль — и на себя, и на Переяславльскую землю беду наведешь, — отправился в земли Святослава — в Курск, а Владимира послал сесть в Ростове, чтобы, по согласию со Святославом удержать Ростовскую землю. Дальняя дорога в славный город Ростов Северный. Всеволод дал сыну больших дружинников-бояр, дал младших, и вышли они из Курска пятью десятками. Торные дороги вели на Кром. Старый Кром сидел, как все или почти все русские

города, под речной защитой, на мысе, при впадении малой речки Недны в большую — Кромю. До Оки по Кроме-реке рукой подать, верст двадцать.

Лето повернуло на осень, древесный лист потемнел, зарозовели рябиновые ягоды, птица подавала голос лишь по тревоге, и уже шныряли по кустам бойкие синицы, и белка готовила зимний запас, и на полянках стеснились, как крыша, грибы-перестарки, точеные червем, проеденные скользкой улиткой.

В туманной прохладе утра пчела, боясь отяжелить сыростью крылья, не лезет из борти и ждет, когда солнце подсушит водянистый воздух, чтоб потрудиться над скудным взятком, который неохотно дает вдруг оскупевший лес. И утром находишь большую от холода работницу, которая вчера, не рассчитав силы и забыв, что день сократился, не смогла вернуться домой и ждет солнца, чтобы согреться. Но выдался пасмурный день, и с ним — смерть.

- Зато комар ослабел, смирились оводы, нет хищной строки, и днем лошадь понапрасну не тратит силу, и ночь сулит отдых. Для дальних походов хорошо осеннее время. О коне заботятся больше, чем о всаднике. Человек сильнее и может вынести столько, сколько будет не под силу любому зверю. Кроме волка. Волк по стойкости, по терпению и по уму стоит на краю всех зверей, исключен от них, вышел на кромку.

Скрылась гора, омываемая рекой Гускорью, на которой стоит город Курск. Молодой князь велел троиm дружинникам, родом курянам, ехать вперед, удаляясь по месту на версту, на полторы. С собой Владимир оставил десяток дружинников, остальным указал ехать сзади, не выпуская его из глаз. Нападенья не ждали, но любое войско должно ходить с опаской. Свое первое воинское распоряжение Мономах сделал по правилу, пусть и правит.

Вступали в черные леса, в области закрытой земли, где солнце ее ласкает не по своему выбору, а где лес позволит лучам проникнуть сквозь крышу листьев, где кустарники согласятся разойтись, где лесные травы раздвинутся. Много ль таких мест найдется? Нет таких мест. Разве после пожара, но редки пожары в лесах. Там солнце достигает земли, где человек постарался. Но и человек здесь редок. Потому-то и пел вполголоса кто-то лесную песнь, а остальные ему подпевали в четверть голоса:

Понавесился лес, позаставился,
будто дремлет в дреме дремучей,
будто заснул он, будто стоит он.

Ан нет, сну лесному не верь, он обманывает.
Глянь-ко! С горы он ползет. Переставляются
всковые дубы с березами. Как сеятели,
мечут они пригоршней по ветру семя бессчетное
да под землей ножку-корень протягивают.
Брода нет — через реку прыгает,
брод есть — бродом идет, что ему!
Эко же войско великое! Век ему вечный отпущен,
идет, не торопится, в неоглядную даль,
в необъездные поприща.
Слава тебе, лес великий, слава!

Рассказывают-передают за истину истинную, что в стародавнейшие лета степь — Дикое поле — заходила далеко на север и на запад. Лесисты были истоки реки Волги сверху до нынешней Твери, и граница лесов от Твери шла прямо на восток через Ростов Великий на Кострому, Унжу, Котельнич, а на юг степь лежала. На западе степь подходила к Смоленску, левый берег Десны был степным.

— Слышал ты, княже, — говорил Владимиру боярин Порей, — и в сказке, и в песне, что поссорились лист со хвоей, и хвоя, переборовши колючкой, выжила чернское дерево на юг. В этом есть правда. Ссора не ссора, однако же сам увидишь, как сосна с елью идут вслед за чернским лесом и глушат его. В старину под Черниговом не было ели с сосной. Пришла, и чернь потеснилась. Старики куряне по месту указывают, где лес на их памяти высунул пальцы в степь. Все лесные опушки движутся, но жить долго нужно на одном месте, чтоб заметить. Только плуг с сохой останавливают лес, и нет ему иной преграды.

Лошади идут по лесной дороге шагом, для беседы удобное время. Собрав поводья в левой руке, всадники дают коням волю, но не совсем. Легко-легко, но посылают, привычно прижимая голень к лошадиному боку. Носок также привычно приподнят и хоть и вложен в стремя, но пятка опущена и икра напряжена сама собой. Лошадь, чувствуя всадника, идет широко — пешему не угнаться. Начав в семь лет, Владимир к шестнадцатому году уже старый конник, в седле ему удобно, и он, как и бывалый боярин Порей, сидит не думая: что ни случись, руки и ноги сделают нужное сами.

Порей — богатырь телесной силой и боярин в дружине по праву ума — возрастом далеко не стар, немногим за сорок ему. Был в Новгороде, в Смоленске, в Киеве. Вместе с князем Ростиславом Владимировичем ушел в Тмуторокань. После отравления князя хотел поднять тмутороканцев на войну против греков и поднял было, но корсунцы опередили, побив убийц камнями. И Порей ушел с сурожского

берега. Поссорился. Он, Ростислава любя, и с ним начал ссориться за нежеланье взять под себя Таврию.

— Бог все дал Ростиславу, — говорил Порей, — не дал удачи ему, и дядья с ним не умно поступили. Боялись его, озирались на Тматорокань. Зря. Он же хотел усилить Тматорокань не для себя. С касогами начал дружить. Говорил — силой привязываем, лаской прикуем. Срок себе давал он лет шесть. Мечтал с юга на половцев так ударить, чтоб за Волгу их вышибить, чтоб Русь была сплошная по всему Дону, Донцу и Днепру. Старые греки говорили: кого боги любят, тот умирает молодым. Нет, несправедливо бог попустил умереть Ростиславу.

Мать Анна наставляла сына: все в воле божьей, божьи пути для человека могут быть непонятны — смирайся. Тому же учит святое писание, священники. Бог терпелив — и молчит. Боярин Порей осуждает бога попросту, не думая ни о грехе, ни о христианском смирении. Инок Антоний-пещерник говорил: «Бог среди нас». «Где?» — спрашивал Владимир. «Да здесь, здесь, — рукой показывал инок и объяснял: — Он же невещный и сразу пребывает везде, он в твоём сердце-совести». — «А на небе?» В ответ инок рассказывал, как, будучи в Греции, он встречал людей, поднимавшихся на высочайшие горы, где воздух холоден и под лучами солнца снег не тает, но превращается в лед. И чем выше, тем холоднее, ничто не растёт, никто не живёт. Не то что звери, там нет даже мушки иль муравья. «Но почему же обиталище бога указывают на небесах, так и молитвы сложены?» «Такое нужно понимать не вещественно, но в духе, — отвечал инок. — Душа человеческая не внемлет слову, если слово не вложено в сравненья. Бог на небе? Понимать надлежит в смысле его величия только. Привязать же бога к одному месту есть язычество».

«О-ох, отче, — шутя упрекал, шутя же и скрывал смех князь Всеволод, — в ересь клонишь и сына моего молодую душу колеблешь. Вольно тебе на Руси. Греки бы тебя в темницу всадили без света. По-латыни — ин паце, а по-гречески забыл».

«И я, грешник, забыл, право, забыл, — не без лукавства смеялся Антоний, хоть, несомненно, и знал. — Однако ж греки под землю меня не ввергали. Ведь я-то подобное на Афоне-горе втолковывал самому святейшему игумену. И преподобный меня не оспорил. Простому люду невещественное непостижимо, от сложности пояснений появляются в вере ереси, лжетолкованья. Потому-де и надобно простолюдыю бога объяснять просто же. Потому-

де, иконы рисуя, изображают на них не только Христа, который ходил по земле в облике человека, но и бога-отца. Полностью истину могут постичь высокоученые духовные и боговдохновенные святые».

«Стало быть две веры? Одна ведома духовным, другая — для нас, темных мирян?» — не отставал князь Всеволод.

«Так почти что и я возражал святейшему игумену, — не отрекался Антоний, — он же горячился много и заклинал, дабы я против обрядов не шел, лжеучений не проповедовал. Я разве проповедую? Ты спросишь, скажу, как понимаю. Чего не знаю — не знаю. Добро от зла, князь, отличай. Бог есть любовь».

Лесная тропа то расширится, то сузится так, что два коня рядом едва проходят. Жилистые корни, крепкие, как костяные пальцы, сплетаются на виду, живые, хоть и обнаженные от земляной одежды. Кое-где можно заметить след колеса — кора сорвана, древесина гладка, будто отполирована, и на ней темный узел — сустав. На Кромье из Курска есть дорога пошире, поторней, но эта — короче. Где чуть влажнее — виден свежий отпечаток копыта, оставленный только что прошедшим передовым дозором. Но положен он не на гладкую землю, а сверху сотен и сотен звериных следов. Широкое копыто лося, острые олени, такие же острые, но помельче — косульи следы. И острые, раздвоенные кабаньи копытца. Зверь любит дороги. Даже кабан, которому чаща нипочем, бережет силу; пробивая свои тропы, охотно пользуется чужими: как и люди. Трудно узнать, да и не к чему допытываться, кто эту дороженьку первым пробивал, человек ли, зверь ли.

Крупного зверя сейчас не увидишь. Передний дозор шел — кого потревожил с места, кого предупредил. Да и сами всадники идут без опаски. И песня, и беседа. Не на охоту собрались, зверь же, не зная того, опасается. Зато лесная куница глядит без страха. Умный зверь. Рыжую шкурку прячет за стволом либо к развилку сучьев прильнет, как льняная прядь, только и показывает, что носик черный да глазки — черничные ягодки. Пока не шевельнется — век будешь прямо на нее глядеть, да не углядишь. Белка же смела по-ребячески — не твердой душой, а детским неведеньем, хоть и учат ее ласка, все ястреба — большая семья, — учит филин с совою, та же куница. И — не научат. Стало быть, не в учении сила, не в учите-

лях, не в науке. Так в ком же? В ученике. И коли бы знать заранее, кого учить, а кого так пустить, то и ученых стало бы в сем свете поболее, а учителей потребовалось бы куда поменее. И были бы учителя те слабы числом, но велики мудростью.

Так-то, молодой князь, учись. Мать Анна говорит: больше книг читай. Отец Всеволод перечит ей: верь больше глазам, меньше ушам. Как же так! А так, что чтение есть тот же разговор. Без чтения нельзя, однако же книга так же лгать умеет, как живой человек, и многие книги для обмана написаны, когда писатель с чужого слуха брал без проверки. А чем мерить? Знанием да опытом.

Прыгают белки, не таясь от людей. Беличье мясо вкусно, получше оленины, а медвежатина и кабанина против беличьего, как падаль. Белкой брезгают от сытости, да и на мышь она похожа ободранная. Так рассказывал боярин Порей. Ему довелось всего пробовать.

— Пишут, что хозары брали со здешних дань по белке с дыма, — сказал князь Владимир, — пока мой пращур Святослав хозаров не разогнал. Дешево брали...

— Кто пишет? — отозвался Порей.

— Погодную запись я видал у отца.

— О белке и я слышал. Да еще в других местах будто брали хозары по шелегу с плуга. Это притча. Сам видишь, какая в лесу белке цена — шелег, монетка медная, тертая.

Владимир слушал, не мешая. Боярин рассуждал:

— Белка. Горнослап. Шелег. Все равно, что ржаной сноп либо горсть льна. Ничто. Иносказательно нужно понять.

Четыре способа даны, думал Владимир: книга, ухо для чужих речей, глаз, чтоб самому видеть, да разум, чтобы правду найти в каждом малом деле. Молчание — золото для ума, чтоб самому себе не мешать. Свое слово вылетит — его не поймашь, и лучше довить чужие слова, эти птички сами в сетку летят.

А сердце? А совесть? Глазу легко отличать от белого черное, зеленое от желтого... Бог знает. Бог-то бог, да сам не будь плох. Слабого не обижай, бессильного защити, больному помоги, голодного накорми. Такого целый мешок наберешь, а вдуматься, почему один слаб, другой же силен, один сыт, другой голоден, и делаются слова бесчисленны, как опавшие листья или как солома: лежит горой, а зерно снизу зарылось, не видно. Через мысли трудней пробиться, чем через лесные чащи.

Род приходит, и род проходит, а Земля пребывает веки. Но лицо ее меняется. На высоких горах находят скорлупу морских раковин, речные рудо-желтые пески проступают на высоких местах близ Днепра, леса идут в степи, и верно поется в песне о древесных полчищах, поистине уподобляет певец корни ногам, сучья — рукам, а морщинистую кору — богатырским доспехам. Мир хоть и пребывает веки, но изменчив он, нельзя войти дважды в одну и ту же воду так же, как не поймашь уходящее время. Владимир не бывал на горах, не его мысль о текучей воде. Откуда ж взялось? Молодой князь не помнил. Много слышано, немало прочитано и не улеглось в голове, да к чему же знать имя сочинившего книгу. Запомнилось сказанное не для того, чтоб щеголять ученостью, как делают книжники, а чтоб понять нечто в себе и в других. Наука бесконечна, как жизнь, — так кажется юноше.

Впереди посветлело, будто бы лесу конец. Тропа вынесла коней на поляну и разбежалась звериными тропочками, вблизи от опушки еще видными, но исчезли и они. Зверь, как и люди, привыкнув в тесноте ступать в чужой след, выйдя на волю, недолго держится стеснительной привычки.

Вместе с окрестным лесом широкая поляна изгибалась вниз, вниз, как изогнутый щит, и падала, поглощенная лесистым яром. Пониже опушки шагов на четыреста стояли сторожами несколько старых дубов в пожухлой от осени листве. Близ них ждали и спешившиеся дозорные, а с ними еще какие-то люди.

Сблизившись, князь Владимир поздоровался первым с чужими, и те ответили ему медленно, вразнобой, без стеснения приглядываясь, и старший, с непокрытой головой в стриженных под горшок, битых сединой волосах, спросил:

— Ты и будешь сын Всеволода-князя, Ярослава сына? — И, получив подтверждение, пригласил: — Гостюй в нашем лесу. Меня зови Приселко, по-крещеному Алексей.

Объяснил он, что град его отсюда будет верстах не то в пяти, не то в шести.

— Пути-то не мерены, да дорога-то нехороша, сам ты видал, да и в сторону от твоего пути будет, и, коль к нам пойдешь ночевать, назавтра тебе, княже, тем же путем сюда выходить надо будет, и, стало быть, ты вроде да как бы и с места не сдвинешься, ведь по дорогам у нас не поскачешь, мы вот пешком по лесу конного обгоняем, — и для наглядности показал, как шагает пошире аршина длинной ногой, обутой по-вятицки в ладно плетенный лапоть. — А

над лаптем не смейся, в нем цепко ступать, и ногу бережешь, и ноге легче будет, чем в твоём сапоге, однако есть у нас и сапоги, лапоть же носим для удобства в лесу. Ты же не взыщи, хочешь, к нам провожу, отдохнете, коль устали, оно ведь за угощением-те мы не встанем, мы на достатки-те не жалуемся. Так-то, оно ведь косточки-те твои мягкие, не привыкли на жестком-то.

Длинную свою речь вятич сплел, как лапоть плетут — будто из одного лыка сплетен, концов не видать, — однако не запнулся ни разу, не спешил, слов не мял, где нужно — передыхал. Кончил, и остальные вместе с ним поклонились — приглашают, а ты как хочешь: примешь не примешь, была бы честь предложена.

Услышав про мягкие косточки, Владимир решил — здесь ночевать и, спрыгнув с коня, отстегнул подпруги, снял седло и отнес к ближнему дубу, примолвив:

— Вот изголовье.

Вечерело, и дозорные объяснили, что далее к Кромам, за речкой, которая течет в яру, до следующей поляны за светом не добраться.

Подходили остальные, спешивались, расседывали лошадей и вели их вниз через кусты, где по яру лесная речка несла ясную воду прекраснейшей свежести, со вкусом земли, листьев орешника, лесных трав, ивы, папоротника: на память всего не перечислишь, но складывалось оно вместе, и из многого получалось единое. У каждой речки свой вкус, как нет на этом свете двух одинаковых людей.

Вятицкие хозяева — пятеро их было — казались одной семьей, на первый взгляд отличаясь лишь возрастом. Все крупной стати, рослые, все в кафтанах грубого некрашеного сукна, которое валяли из разномастной шерсти, и цвет получался дикий — шел он к лесу, одетому в разноцветную кору. Штаны из толстой пестряди — лен с пенькой, — шерстяные онучи, толсто навитые до колен и прихваченные крест-накрест бечевкой. На голове низкий суконный шлык.

Многочудно стало на поляне, но скоро шум утих. Стреноженные кони выели овес в торбах и паслись отдыхая. Назначив, кому стоять в первую стражу, кому во вторую, кому в третью, молодой князь собирался сам лечь, довольный, что из назначенных им никто не возразил, что никто из старших бояр его не поправил.

Приселко, о котором Владимир, занятый делом, не думал, пригласил:

— Пойдем-ка, княже, к нам ночевать, будет тебе поудобнее.

— Куда же?

— А вот!

Приселко указал вверх, где в темнеющем небе черной горой сливались головы дубов. Подведя Владимира к стволу, который едва охватишь втроем, Приселко указал на узкую ременную лестницу, свесившуюся сверху.

— Полезай, а я подержу конец, чтоб тебе без привычки руки о кору не портить.

Путь показался долгим до квадратного выреза в толстых досках. Опершись руками на пол, Владимир подтянул ноги и встал сначала на колени, а потом во весь рост. Не успел он оглядеться, как Приселко был рядом. Нагнувшись, Приселко приподнял крышу-творило, ходившую на петлях, как в погребах, и закрыл вырез:

— Добро, теперь не угодишь вниз...

Вятицкие, люди лесные, умели не то что жить на деревьях, но прятаться на них, обороняться и нападать сверху. Владимиру не доводилось бывать в подобных гнездах. Пол он успел оценить на ощупь, крепок и ровен, плотно сбит, как в доме. Синяя мгла едва кутала лес, а здесь из-за ветвей было совсем сумрачно. Приселко высек огня, раздул трут и зажег масляную светильню. Покой был шагов семь в длину, пять в ширину, с широкими, но низкими окнами, с низкой же крышей — рукой достать. С одной стороны — дверь, с другой — проем дверной, но дверь не навешена. Дом как дом. В углу — горка выделанных овчин выдавала себя знакомым запахом холодного времени года. У стены — лари, плотно сколоченные, с хорошо пригнанными крышками.

— Там, — Приселко указал рукой на неприкрытый вырез двери, — вторая хранина наша, мои парни уж спят. Мы, княже, здесь переспим. Но сначала отведай вятицкого гостинца, не побрезгай.

Разогревшись, масло, в глиняной лодочке с длинным носиком для фитиля, освещало воздушный покойчик не хуже, чем восковая свеча. Открыв ларь, Приселко достал чистую рядницу, которую расстелил прямо на пол, поставил широкую чашку с медом, положил каравай хлеба, копченое бедро косули или оленя. Разобрав овчины, устроил два мягких ложа и позвал Владимира:

— Ложись, княже, разувайся, раздевайся, дай телу-то отдохнуть, поешь и — спать. Не взыщи, столов мы в гнездах наших не держим. Мы с тобой здесь по-птичь. Иль, коль хочешь, возляжем по римскому да греческому обычаю. Выводится тот обычай. Однако, поверь оче-

виду, мне доводилось видеть пиры, где гости ели на ложах.

Подавая пример, Приселко уселся, развязал бечевки на онучах, сбросил лапти, размотал онучи, снял кафтан, стянул штаны и, оставшись в исподней одежде, растянулся на овчинах: хорошо!

С.удовольствием раздевшись, лег и Владимир, ощущая приятную истому, как бывает после дня, неспрадно проведенного в седле на дороге по новым местам. Но это было уже привычно. Ныне другое — первый день княжеский. Не охота — поход, дальний путь, люди, из которых старшие тут же оспорят, тут же поправят, когда скажешь или сделаешь не то по неопытности. Шаг один — и явятся няньки. Старшие дружинники, бояре, привыкли спорить со старшими князьями, юнца же не пощадят, научат. Первый дснь колобком прокатился. Что-то дальше?

Приселко споро нарезал несколько добрых ломтей копченого мяса, почал каравай — кусок князю, кусок себе — и усмехнулся:

— У вятицких зря хлеб не кромсают. Привычка. Хлеб нам дороже мяса. Ай! Воду-то я не подал! — И пошутил: — Вина нет, мы ведь по-дикому здесь, люди лесные, пьем лошадиный напиток, зато не пьянем.

Гибко поднявшись, Приселко принес корчажку с водой, в которой, зацепившись длинным хвостом за край, плавал серебряный ковшик, напоминая утку формой своєю и длинным носиком. Лег Приселко, и из-за пазухи нарядно выскользнул золотой диск на золотой шейной цепочке.

Бывают мгновенья, когда знакомое даже, увиденное с необычного места и в непривычном освещении, поражает наше сознание своей новизной. Владимир не успел еще сказать себе, что хозяин его изменился весь в движеньях, в речи с минуты, когда зажегся светильник. Еще не успел удивиться упоминанью о греческих пирах. Золото на вятицкой груди его поразило и открыло глаза.

Велика ли заслуга удивить юношу! Сняв через голову длинную цепочку, Приселко предложил Владимиру поглядеть на особенную вещь. Как видно, золото отливалоь в форму. Массивный овал с крепким ушком был толщиной в четверть пальца, шириной — в три пальца, а длиной — в шесть. С одной стороны был выпуклый крест, над ним детская головка с крылышками — ангел, по кругу русская надпись: «Боже, защити душу и тело раба твоего Алексея». С другой стороны — в пояс обнаженное женское тело, над красивым лицом вместо волос извиваются змеи и надпись:

«Ум, совесть и сердце оберегая от зла, побеждает змея змеями же и молнию — молнией».

— Талисман мне по заказу сереброкузницы сделали в Афинах, — сказал Приселко. — Слышал, такой город есть в Греции? — Владимир кивнул. — Я много ходил по свету, — продолжал Приселко. — Знал отца полоцкого князя Всеслава и его самого. Знал меня и твой дед Ярослав. В Константинополе служил базилевсу в избранной дружине его. Плавал по морям. Умею биться любым оружием на суше, на кораблях. Крещеное имя мое Алексей, это правда. А русское имя было иное. Вятицкие меня нарекли Приселкой — я к ним приселился. Тебя я видел малым парнишкой — где тебе помнить меня. Ты мне напоминаешь твоего внучатого дядю, Ярославова брата — Мстислава. Славный он был воин и большой души человек и князь. Но что ж ты не ешь?

Ели быстро, но не спеша, и быстро насытились.

— Да, ты лицом похож на Мстислава, — продолжал Приселко. — А кем будешь, сам не знаешь. Если ж и знаешь, никто не предскажет тебе, кем быть сумеешь. Молчишь — хорошо. Видел я, как ты распоряжался — будто старый князь. Не обидься, знаю, что под твердым словом у тебя лежало и лежит сомненье в себе. Будешь бороться с собою. Трудное дело, но кто тебя выкует? Ты сам и враги твои, ибо сталь точат о жесткий камень, мягкий камень сталь портит, и ничего никому не построить, когда никто не мешает. Понял ли меня?

— Нет, — отозвался Владимир.

— И хорошо, — одобрил Приселко. — Хорошо, что не стыдишься сказать, и никогда не стыдись. Хорошо, что не понял. Молод ты. Берешь на память, хочешь не хочешь, но вспомнишь много дел, много слов сравнишь с делами, тогда и поймешь, взяв своей силой. Коли б людей со слуха учили мудрости, давно все были б умные, давно каждый заране знал бы, что делать. Ты старые книги читал, тысячу лет тому назад писанные?

— Читал, только еще мало.

— Больше прочтешь, больше согласишься со мной. Да и так дойдешь, волю потоптавши жесткую землю. Вспомнишь вятицкие дубы. Не из похвальбы говорю. Знаешь, куда прошедшие дни, прошедшая жизнь девается? — спросил Приселко и сам ответил: — Здесь все, с тобой оно, ты на себе носишь иль в себе, все равно. Ноша великая на нас наложена от сотворенья мира, каждый день добавляет груза. Человек велик, и старится он только от этой тяготы, а

не как конь на работе. Ноша теснит, как удав-змея. Время неверно сравнивают с рекой. Речная вода уходит, а время хоть и течет, но с тобой остается. Уставая, человек все менее любит жизнь. Не будь того, мы бы вечно жили, как бог. Утомил я тебя?

— Нет, — возразил Владимир. — Скажи, ведь ты христианин?

— Да.

— Речи твои странные. Среди вятицких, говорят, много людей, не принявших крещения.

— Есть и такие, — согласился Приселко. — Но я навиделся куда худших. С молитвой на устах они поступают хуже язычников, а сами хвалятся, что суть старинные христиане с древнего времени. Чтут, исполняют все обряды, посещают храмы, исповедуются, приобщаются, увидев священника или монаха, бегут под благословенье к нему, в речах ссылаются на священные писанья. Скажу тебе, худшие язычники, которых я видал, суть два базилевса империи и один патриарх! Не назову их, все трое уже держат ответ перед богом. На словах благочестивы, на деле черного от белого не отличают, в государственном деле гонятся за выгодой, перед силой гибки, для слабого подобны львам, ворвавшимся в стадо овец. Без малого десять лет я прожил в Восточной империи. Не будет ей добра. Души многих людей истощены, подобно огороду, никогда не удобренному: жестки, бесплодны. Слыхал я там не раз пословицу: ум на задворках, совесть в ссылке, а сердце проткнуто ножом.

— Возражают же против зла, раз такие речи ведут! — пылко воскликнул князь Владимир.

— Верно, княже! Из молодых ты, да ранний. Да, не все люди плохи, добрая слава лежит, худая бежит. Сколько хороших-то? Помнишь, в писании сказано: без семи праведников город не стоит. Но что жутко честным среди бесчестных, о том не сказано: сам понимай.

Замолчали. Заметили оба — ночь укутала землю, и казалось — святильня ярче горит. Прямо под полом лошадь звучно жевала овес, и было слышно, как встряхивает она подвязанную к морде торбу, чтобы достать со дна остальные зерна. Все спали, исключая десяток сторожей, спали сладко, как малые дети, и никто не храпел. Храпеть отучали с юности. Считалось недостойным мужчины и воина нарушать покой ночи. Приселко, приложив палец к губам, показал Владимиру на что-то. Тот повернулся и увидел в оконном прорезе два больших ярко-желтых глаза,

которые, не моргая, глядели из черной, как в колодеце, глубины ночи, и нельзя было сказать, близки они или далеки.

— Филин, — шепнул Приселко чуть слышно, но глаза исчезли как по приказу. — Закрыв очи-то, — уже громче сказал Приселко. — Хитрый. Знает, что глаза его выдают. Он сюда любит наведываться, сегодня мы ему помешали.

— А ты как в здешние леса залетел? — спросил Владимир.

— Случайно. Поднимался по Донцу Северскому. На переволоке на Сейм встретил троих здешних. Они туда вышли людей посмотреть, себя показать и заодно меха предлагали проезжим купцам. В Курске купцы-де обманывают. Но и там константинопольские купцы захотели их провести порченными номизмами. Я помешал. Отсюда дружба пошла. Я хотел идти в Ростов Великий, как ты. По дороге к ним погостить заехал и — остался.

— Не скучно в лесу после широкого света?

— Нет. Я счастлив. Не один — с женой. Жена у меня добрая женщина, мне отвечает, и я ее понимаю. У вятицких я, как бы сказать, за воеводу. Они бытуют по-старинному. Слышал, все наши пращурьы жили градами на полянах, управляясь выборными князьями? И эти так сидят за лесом, будто за крепкой стеной. У моих засевают в трех полях десятин полтораста хлеба. Хватает. Скотина хорошая, дичь — лови, не хочу. Дикие, думаешь? Нет, из грамотных не я один. Их никто никогда не воевал. Чужой не проберется. Ни хозаров, ни печенегов они у себя не видели.

В вятицкий град приезжает по весне и по осени из Курска священник с дьячком, служит литургию — обедню и всенощную в часовенке, поставленной в полуверсте от селенья на былом погосте. Погостом называют место, где в старые годы стояли русские боги — Дажьбог, Стрибог, Хорс, Велес, Перун. Туда собирались для общих молений. Погост не рушили, изваянья богов не жгли, их изъело время древоточцами, плесенью, мхами, ибо давно уж никто не поддерживал былые святыни. Иные вятичи еще чтут то место, не дают поляне зарастать деревьями, и скот там не ходит: поддерживают жердяную изгородь. Там каждый год вырастает бесчисленное множество белых грибов, и дети ходят их брать, день за днем, и таскают берестовые кузовки, пока дома не насушат, не насолят запасу на зиму и весну.

— Окрестят родившихся младенцев, повенчают молодых, соберут подаяние себе за труды, на курский соборный храм, для епископа и уедут, — повествовал Приселко. — От курского тысяцкого однажды в год приезжают за княжчиной, дают и ему, по обычаю, по привычке: Курск-то нужен. А ты, княже, усомнился, христианин ли я! — упрекнул Владимира Приселко.

— Я слышал от духовных, будто в лесах есть еще много язычников, — оправдался Владимир.

— Не слушай их, они принимают за язычество древние обычаи наши. Вот что недавно случилось у нас. Забрели к нам двое монахов, посвященных в иноческий сан в Киеве Феодосием-пещерником. Весной они ^{шли}, вскоре после отъезда нашего священника. Их мои подобрали в лесу. Они, сбившись с тропы, не чаяли остаться в живых. От голода оба опухли и стояли на смертном пороге. Выходили их. Они же, придя в силу, стали нас обличать. Белок едим? Нельзя, похожа на мышь. Для нас беличье мясо вкуснее говяжьего, а белка зверек чистый, ест ягоду, семена, грибы. Посты не соблюдаем. Сходимся с соседями на играх-праздниках, березку завиваем, град опахивают женщины, летом через огонь прыгаем — всего не перечислишь — грех, язычество. Очаг чтим, огню дарим — грех. Поминальные трапезы по мертвым нельзя строить, это, мол, тризна языческая, и нельзя к могилам с дарами ходить в отцовские дни. Грибы на погосте поганые, ибо растут на прахе идольском. Погост распахать, чтоб и следа от прошлого не было. Ходили они из дома в дом, и до того дошло, что их не пускали. У нас-то! Где и запоров нет нигде.

Передохнув, Приселко продолжал:

— Спорили с ними. Говорил тебе, не один я грамотный. Христос сказал в евангелии: не в уста, а из уст. Кем же пост установлен? Людьми. Почему белка нечистая? И нигде не сказано в писании, чтобы не веселиться. Объясняли мы им, что с незапамятного времени не было среди нас убийц, воров, блуда. Говорили: ищите греха в вашем Киеве, там и найдете. Вы, мол, на внешнее смóтрите, вы в душу глядите. Один было поколебался, другой его укрепил, и вышли мы хуже грабителей. Они ж проклинать начали, и, князь, пойми, люди озлобились. Или пусть монахи добром уйдут, либо оставить их без пищи и воды — ничего есть не давать и к колодцам не пускать. И еще худшее обещали. Инокам — ничто. Убейте нас, говорят, а мы божье дело делаем, ваши души спасаем, себя не пощадим.

Внизу и в стороне, у края поляны, испуганно метнулись лошади, топоча спутанными ногами. Послышался окрик, и все стихло.

— Зверь лесом прошел, и его кони почуяли, — объяснил Приселко и продолжал свою повесть: — От смуты князь со стариками решили иноков вывести от нас. Набили мы им мешки хлебом — иной пищи они не принимали, — и вывел я их сюда, к дубам. Вели в мешках, на головы одетых, чтоб они к нам не вернулись. Здесь я им дорогу в Курск указал. Отказались. Пойдут-де в леса проповедовать. Я их проводил по дороге на Кром. Иного нет здесь пути. А там — как хотят. И вот о чем была моя с ними последняя беседа. Я их просил:

«Помягче, святые отцы, будьте. Ведь у вас и совсем дурно может получиться».

Старший инок, Кукша по имени, меня сыном дьявола назвал. Я ему:

«На Руси о дьяволе не слыхали, это латиняне без дьявола ступить не умеют. Не было на Руси злого язычества, брак соблюдали, женскую честь чтили». — И еще предостерег их: «Не озлобляйте людей!»

«А мы и так пришли за венцом мученическим!»

Спрашиваю:

«А что тем будет, кого вы в убийство введете?»

«Вечная мука!»

«Так вы их вечными муками себе приобретете царствие небесное?»

Младший, Никон, будто бы дрогнул. Проводил я их за яр, через речку, и пошли они той же дорогой, где тебе завтра ехать. Спорили они на ходу, легко понять о чем. Я стою. Разом они оглянулись, одинаковые, как опенки, один руку поднял, проклинал, то ли прощался... Так-то, князь. Ты помнишь сказку о буре с солнцем?

— Какую? — отозвался Владимир.

— Ехал в степи всадник. Буря с солнцем поспорили: кто сильнее и сможет с него шапку снять? Буря рвала, трепала, с коня сбила. Но — не одолела. Натянул всадник шапку на самые уши, клещами рви — не сорвешь. А солнце как пригрело, так всадник сначала шапку сбил на затылок, а там и вовсе снял да еще песню затянул про доброе солнышко. Поверишь ли, я эту сказочку на десять ладов слышал на разных языках да в разных землях. Все знают, что сила в уме да в добре, в насилии же слабость да смерть-разоренье. Однако же клонят к насилию. Оно легче насильничать: ломать — не строить. Кончу же тем, чем

начал: если б мудрости со слов учились, давно все мудрые были. Не взыщи за мое многословие.

— Нет, — твердо, по-мужски сказал юный князь. — Не взыскивать, а благодарить тебя мне подобает.

Прозрачно-осеннее звездное небо роняло невидимые холодные хлопья на замерший лес. Владимир закутался в овчины и, пригревшись, мгновенно заснул. Приселко потушил светильник, погасив и глаза филина, который со странным для непонятливых людей удовольствием глазел на огонь, слушая людской голос. Род человеческий не обижал род филинов, и хоть окрестил их смешным прозвищем пугачей, но кто ж обижается на слово! Груздем назови, да в кузов не клади.

Внутри человеческого гнезда стало темнее, чем наружи. Когда глаза филина отдохнули от слепящего света, крупная птица, величиной чуть меньше степного орла, пошла шагать с ветки на ветку, выбираясь на простор — у филина в чаще дубовых ветвей были свои тропы, как у человека на земле. Вот и место, где можно распустить крылья. Подпрыгнув, филин беззвучно оперся на воздух мягким пером, косо взмыл над поляной, без усилий помчался над вершинами леса на запад. За время, которое человек тратит, чтобы на быстром коне проскакать версту, филин одолел добрых шесть и уже парил в воздухе над полем вятицкого града, приютившего Алексея-Приселка. Хлеба убрали, мыши искали уроненные зерна, а филин искал мышей. Чем больше мышей подберет филин, тем меньше их, закончив с полем, отправится на грабеж хлебных кладей.

Утром вброд перешли через верховье реки Усожи, которая текла по яру, и вскоре выбрались на большую дорогу из Курска в Кром. Владимир вперед послал не дозорных, а вестников, чтобы предупреждать и встречных, и кого обгоняли: не бойтесь! Сын князя Всеволода Переяславльского мирно идет с конными.

Большая дорога положена широкой лентой от Курска на Кром, и бывала она в это время года многолюдна. Весной купцы, одолев переволоку из Донца в Сейм, под Курском поднимались Тускорью, а в верховье Тускори переваливали в Оку. Навстречу им тянули купцы, направляющиеся на юг. Осеннее мелководье закрывало Тускорь. Зато находилось достаточно телег, лошадей и людей на сухом пути, и берег Сейма под Курском являл собою подобие большого торгового пункта. Сюда, окончив с уборкой урожая, съезжа-

лись хозяева, ближние и дальние, иные верст за сто с лишком, из старых вятицких градов, запрятанных в лесах, из новых поселений, из самого Курска. И каждый справедливо по-хозяйски рассуждал, что и себя, и лошадей все равно кормить нужно и в безделье, и за делом. Разве что лошадям побольше овса придется задавать, так ведь хозяин и в стойле коня не морит на одном сене. Заодно можно себя показать и людей посмотреть, под лежащий камень вода не течет, а земля слухом полнится не сама, а встречей с людьми.

Единовременно сотни возов собирались на пологом берегу под Курской горой. Кто шалаш себе ставил, кто спал под телегой, накиннув на поднятые оглобли полотнище вальянного дома сукна, которое никакой дождь не пробьет. Курские жители тут же торговлишку заводили, потчужа желających и вареным, и печеным, и жареным, угощая и медом ставленным, и черной брагой простой, и черной брагой хмельной, и брагой белой мучной десяти разборов на все вкусы, пей-ешь, не хочу. Подводчики приезжали неспрвадные, со своим товаром, и у них покупали все — в лесу все есть: от медвежьей шкуры и собольего меха, от пшеницы, ржи, гороха и железных поделок до деревянных ложек и липовых долбленых кадушек, хочешь с цеженным — чисто янтарь! — медом, не хочешь — пустую бери. А не так — иди себе с богом, добрый человек. И идет добрый человек, приценивается, никто двух цен не скажет, никто не позовет покупателя. И верно, чего звать-то? Нужно, сам придет. И ходят добрые люди вежливо. Задремал хозяин — потрясут за плечо: что есть да почему? Очнувшись, ответит или покажет на кого-то: его, мол, спрашивай. Это значит — впервые приехал и посылает к старшему опытом. В новом деле дурак лезет своим умом, умный чужого ума не стыдится занять. На торгу ведь как? Купец — что стрелец, оплошного ждет, простота хуже воровства.

Таких мест в годы, когда ссорились Ярославичи, было не одно и не два в княжествах Чернигово-Северском и Переяславльском. Сочтем, сколько же было путей по рекам и сколько было волоков.

С Днестра шли в Десну, с Десны волоклись в Оку, а из Оки да по Оке иди куда хочешь: реки-притоки приведут в глубины всех восточнорусских земель, и на всех них покупай и продавай. Ока же сама приведет в Волгу. Вниз — плыви в Каспийское море хоть к персам. Вверх — сворачивай в Каму и там иди под самый Камень — Уральские горы.

С окских и волжских верховьев и притоков можно вернуться на юг, в Сурожское море, и из него в Русское — Черное: пройдя в Оку, подняться по Упе и Шату в Иван-озеро и переволоком — в Дон, по Дону выходишь в Сурожское море.

С Оки же идут на Дон через реки Зушу и Быструю Сосну. Тоже путь торный.

Есть с Оки и в Оку с Дона дорога через реки Проню, Ранову, Хупту на Рясский волок и с волока — в реку Становую Ряску и Воронеж-реку.

А через волок из Донца в Сейм уже сказано.

На каждом волоке проделана дорога. Товар выгрузят и повезут на телегах, ибо грузчики и перевозчики везде найдутся. Для них приработок, для купца удобства. Малые лодьи поднимают и везут на дрогах. Большие могут прокатить на катках. Дело налажено. Утром выволокут, к вечеру на десять—двенадцать верст откатят. Издали глядеть — тяжелая работа. Со сноровкой — посильная.

Можно лодки и лодьи совсем не таскать. Щедро старые русские боги засеяли лесом верховья рек и речные долины. Тут же близ волоков живут плотники-корабельщики, у них найдешь любую лодью, покупай и — плыви. Твою лодью у тебя возьмут в обмен, или купят, или примут на хранение. Поедешь назад — уплати за хранение и бери свое добро.

Все слажено, все подогнано как на заказ: ладилось с незапамятных времен, по-русски — от пращуров. Дальние купцы — греки, армяне, арабы, турки, инды, суны, персы, италийцы, евреи — радовались мягкости наших водяных дорог. У них все на спинах — верблюды, осел, мул, лошадь. В иных местах выючат товары на овец, на коз. Идет караван в сотню выючных животных, а сложил — и все вошло в одну русскую лодью. Ни падежей, ни иссохших колодцев, ни жгучего ветра, несущего вместе с горячим песком смерть невинным животным и жалкую гибель людям. Плохо другое — нижние течения рек доступны кочевникам. Язык пользы понятен и им, и они пропускают купцов за плату. Постоянный грабеж разорвет дороги, и кочевник лишится дохода уже навсегда. Однако же порою грабят, бывают годы, когда нет прохода ни по Днепру, ни по Дону, ни по Волге. Русь отрывается от юга, от востока, по рекам ходят только свои купцы, торговля, замыкаясь, слабеет. Плохо: иноземцы весной не поднимались — не пойдут назад осенью, и свои вниз не плывут. Построенные лодьи сохнут на берегах, заработка нет, волоки пустеют,

около ненужных катков поднимается трава, муравка затягивает дороги, и вороны, сидя на кольях у заколоченных летних изб, каркают: не то удивляются, не то рады людским неудачам.

Порей говорил:

— Не зря киевляне разъярились на Изяслав Ярославича. После смиренья печенегов шли годы свободных дорог, человек же к доброму привыкает быстро, чуя разумом и совестью, что на хорошее есть у него права от рожденья. Потому-то неблагодарное дело лезть в людские благодетели: забота о людях не доблесть, но обязанность князей, они за заботу свой кусок получают. У киевлян многие торгуют на юге, многие же за товаром туда плавают. У одних — родственники, у других — должники, которые на заемные деньги обороты делают. Кто ж прав? Князь Изяслав иль киевляне? — закончил свои рассуждения боярин Порей, и князь Владимир рассудил в пользу киевлян, и боярин Порей похвалил юного князя за справедливость.

— Столько ли здесь должно нам было б встретить, — заметил Порей и умолк, продолжая про себя невеселые размышленья.

Однако дорога на Кром после первозданного молчанья вчерашней тропы казалась оживленной. Пролегала она полянами, с которых человеческая рука понудила лес отступить. Через овражки были брошены бревенчатые мосты, попался и большой мост через обедневшую водой речку — на высоких сваях. Здесь половодье не рвало путь. За поворотом догнали обоз телег в тридцать. Крепкие кони тянули тяжелогруженные возы, покрытые просаленными кожами, — везут соль. Возчики кратко ответили на приветствие.

Следующий обоз был покороче. Около него, разминая ноги, шли четверо иноземцев, ведя в поводу местных лошадей. Эти первыми вскинули руки, здороваясь не по-русски. Владимир решил — италийцы. Иностранных людей ему довелось видеть много в Киеве, Переяславле, Чернигове, и он научился их различать. Придержав коня, князь спросил по-латыни: «Откуда вы, из каких городов? — Увидев по лицам, что не понят, Владимир сказал: — Прощайте». Это короткое слово понимали и те италийцы, кто не знал по-латыни. В Италии от времени изменилась речь. В храмах служили по-латыни, которую понимали лишь ученые люди. Книги писали по-латыни, на латинском языке говорили послы. А купцы, простые люди, умели считать, а написать и прочесть могли бы лишь долговую расписку.

Италия — страна десятков разных наречий, и один итальянец не понимает другого, хотя места их рождения отдалены одно от другого на половину дня ходьбы. Владимиру вспомнилось, как он был удивлен, впервые это узнав. На Руси тмутороканец, полочанин, муромец, киевлянин, новгородец говорят одной речью, Русь же куда обширней Италии. Да, ни о себе по другим, ни о чужих землях по своей судить нельзя: не пяль свою шапку на соседскую голову.

Встречные останавливали расспросами: что с половцами, где они, какие они? Хвалили черниговцев за доблесть.

Совсем не то, что вечерняя беседа с Приселкой. Тот, сидя в лесу, смотрит на белый свет, будто с горы, и правду тянется искать в совести, уходя вглубь, как за жемчугом. Этим людям белый свет по-иному нужен.

Через каждые верст шесть либо семь — жилье при дороге, и обязательно близ яра или ярика, где есть живая вода. Во двор наезжен отросток с дороги к воротам. Заборы высокие, прочные — лесу-то много, бери, не хочу. Однако не в лесе дело: это заезжий двор. Усадьба обширная, у лошадца на козлах наставлены долбленные корыта поить лошадей. Хозяин продаст овса, гостей накормит: промысел, подспорье к хозяйству. Подалее — другой двор, третий. К первому дворнику приселяются, коль он позволит. Ибо первый, и без посторонних, делясь с сыновьями, принимая зятьев, дает основанье селению. Корень, ствол, ветки — живое родословное древо захватывает землю. За усадьбами плешинами расползаются поля, лес безгласно сжимается перед злым топором. И разрастается, когда с людьми случается беда: будущее предсказывают ежечасно, но никто еще его не прочел.

Перед воротами — гостеприимный хозяин двора выпустил ограду почти что на дорогу — парень, сняв обеими руками кунью шапку на беличьем подбое, поклонился проезжим.

— Доброго пути князь Владимиру Всеволодичу! — бойко сказал он. — Браги не пригубите ли? Есть простая, есть медвяная двух поставов: хмельная и сладкая. Всех угостили.

Владимир и боярин Порей свернули к воротам.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил молодой князь, а Порей, приглядываясь к парню, спросил:

— Тебе сколько годов?

— Девятнадцатый скоро пойдет.

— Силушка-то, вижу, есть, — продолжал Порей. — Оставь-ка дома бочата с брагой да мягкие подушки. Выво-

ди из конюшни лошадь, седлай и нас догоняй. Князь тебя возьмет дружинником. Чего не умеешь — я научу. Вот тебе, чтоб с отцом расплатиться за лошадь, — и Порей достал из сумки золотую монетку константинопольской чеканки. — Не милостыню даю, расплатишься!

Парень надел шапку и покачал головой:

— Нет, боярин! Мы живем сами по себе. Из отцовской воли не выйду, он же меня не пустит, нечего проситься, да и сам не хочу. Вон там, — парень махнул рукой, — новую избу ставим. Для меня. Брагу-то уже наварили. Я ж князю предлагал не для торговли — для почету. И невесту уже мне привезли! Оставайтесь на свадьбе гулять.

Вновь, сняв шапку, парень поклонился уже пониже, достав рукой землю.

Догоняя своих, Порей рассказал:

— Жаль, глаз у меня верный, был бы из него воин. Так же как думал взять я его, князь Владимир Ярославич, старший из твоих дядьев и отец Ростислава, поднял меня на седло с порога отчего дома. Время-то, время! Более двадцати лет тому минуло, а был я в твоих, князь, годах. С той поры не бывал в родных краях. Я из замуромских. Сколько-то раз посылал гостинцы своим, от них отписки получал. Три года тому назад купец обратно гостинец привез. Куда-то моих поманило на лучшие места, под самый Камень, соседи сказали. Да и что я? Отрезанный ломоть. Жизнь моя широкая, ихняя — узкая. Иногда же думаю иначе: мои годы пестро прошли, их же годы — как озеро. Волны большой не бывает, но солнце в него глядит и луна ему светит, как моему морю. Пошлет бог этому парню настоящую жену да сердца им откроет, и будет он счастливей меня. Про любовь песни поют, сказки сказывают, были рассказывают, в книгах пишут. Все правда. Но дается она из тысяч много что одному. Мой бывший князь Ростислав Владимирич был такую любовью любим. Но сам ли любил ответно — не знаю.

Нарушив свое решенье не спрашивать, Владимир задал вопрос:

— О княгине его ты вспомнил?

— Нет. Ту, о которой я говорю, мы рядом с ним погребли в Тмуторокани. Не звала она к мести, как я, на княжой гроб не бросалась. Молча ушла ему вслед. Верю, нашла его. Так-то, княже, любовь не в словах, а на деле. Мне хорошо. Не вернусь с поля — поплачут, облегчат сердце слезами. И — ладно.

Владимир вспомнил Приселка, бывшего дружинника, счастливого жизнью с женой в лесном вятицком граде.

И дорога уходила назад под копытами коней, и, чередуя шаг с рысью и скачкой, дружинники молодого князя стремились на север, на север, и встречные спрашивали все об одном — свободен ли путь по Донцу от половцев, и хмуро глядели придорожные дворы, лишившиеся приработков, и никто не спросил, кто сидит в Киеве, и где бежавший князь Изяслав, и для чего дружинники князя Всеволода спешат на север, когда беда живет на юге.

К вечеру по мосту прошли реку Кром, тут же открылся и город Кром, поставленный на мысу при слиянии речки Недны с Кромой. Вблизи — ни деревца, лишь на самых речных берегах осталась ольха с березами да ивы с тальником. Место давно обжитое, лес давно вывели для пашни, для огородов, и Кром стоял, как бывшие русские грады при первых князьях, — среди своих полей, по которым не подойдешь, не подкрадешься, — не оправдывая своей обнаженностью данного ему нескогда имени.

Кромский тиун Лутовин встретил гостей открытыми воротами княжого двора. Предупрежденный посыльным, Лутовин успел распорядиться. Полусотня жадных ртов пала как с неба, а всем хватило и вареного, и жареного. Хоть и загудели незавидные покойники дома людьми, как улей растревоженными пчелами, да ведь красна изба пирогами, а не углами. Догадался Лутовин попросить помощи у соседей, и доброхотные конюхи занялись проводкой горячих лошадей, освободив всадников от наибольшей заботы: коль горячего коня сразу выпойть и задать овса, пропадет, клячей больной станет, а не конем.

Не счесть, сколько сотен, не тысяч ли поколений живет лошадь в руках человека, разума же своего не прибавила. Отдавшись человеку, во всем на него положились, так и живет.

Князя Владимира, Пороя и еще нескольких бояр Лутовин увлек в особый покойчик, где ждал их стол под белой скатертью с заежками, и хозяин просил отведать хлеба-соли, ссылаясь на недостатки: в лесу живем, сосне молимся, не в Киеве, не в Чернигове, не в Переяславле славном. Однако ж одних грибов разного приготовления было выставлено десятка два мис, сколько-то блюд с рыбой — заливной и жареной, с телятиной, с копченой запеченной свиной, с кашами — пшеничной, из толченой ржи, из

гречи; в стеклянных посудинках краснела брусника моче-
ная, с ней соперничала луговая клубника, которую собира-
ют в сенокос, а хранить умеют до весны.

Только сели, как с подносом явилась красивая девушка
и с поклоном предложила молодому князю отведать чару.
Обычай. Хозяйка пригубила, князь, поцеловав ее, отпил,
сколько хотелось, и пустил братину по кругу. По виду, ем-
кости было втрое поменьше, чем в конском ведре, но фор-
ма ему подражала. Ведерко было собрано из полированной
тонкой клепки, сбито серебряными обручами и ушки вы-
ставлены — не хватало лишь дужки. Забрав назад осушен-
ную братину, красавица, которая, ничуть не стесняясь,
следила за гостями, истово поклонилась, зазвенев бусами.
длинными серьгами, вышла и тут же вернулась, принеся
уже на другом подносе глубокие мисы с горячим варе-
вом — по одной на двоих гостей, — и ушла совсем.

По одежке, по открытым волосам на Руси девушку
отличают от женщины за версту. Боярин Порей, полагая,
не вдовеет ли Лутовин, похвалил хозяйскую дочь и спро-
сил о жене.

— Здорова, — отвечает Лутовин, — она с другими рас-
порядается, а дочку, вишь, к нам послала. Что там стару-
хи! Дочка-то ровесница тебе, князь, будет. И жених есть
хороший, — добавил Лутовин, чтоб его правильно поняли.

Ели усердно. Лутовин спрашивал о здоровье князя Все-
волода, о княгине, о князе Ростиславе, младшем брате
князя Владимира, о сестрах, о князе Святославе Ярославиче,
о его семейных. О киевских же делах и не заикнулся,
будто ему дела нет.

Князь Всеволод велел сыну в Кроме оставить лошадей
и, взяв лодьи, идти далее Окой. Спросили Лутовина, и он
князь Всеволодов оспорил приказ: времени-де лишнего по-
теряете, хоть и немного, да дня упущенного никто не под-
бирал в суму, потому-то и время, как старые люди гово-
рят, дороже золота: золото лежит, а день от тебя бежит,
день не конь — аркана на шею не накинешь.

— Летом дождь шел заказной — на всходы, на сте-
бель, на трубку да на колос, — объяснял Лутовин. — Ко-
совицу начали — не мочил. Снопы вывезли — задождило
под осенний гриб. Ныне десятый день сухой, в Оке вода
опустилась. И еще опустится, от мелей и перека́тов ночами
стоять придется. Дождю не бывать еще с неделю. Тропа на
Мценск сухая, торная. Во Мценске у боярина Шенши, ко-
торый город держит, людей много. С северу-то гости шли, а
с югу, из-за половцев, такого прихода не было. От Мцен-

ска на лодьях пойдете Зушей в Оку. Зушь-то Оку полноводит и в сушь-то, — привел Лутовин вятицкую поговорку.

В обличье Лутовина князь Владимир находил пригладевшуюся уже вятицкую статью. И спутники Алексея-Приселка, и парень, отказавшийся идти в дружину, и другие, примеченные в Курске и по пути в Кром, могли сойти за родственников того же Лутовина. Высокие ростом, широкие костью, но сухие, вятичи казались вопреки сухости тела тяжелыми, будто кости в них из железа. Большелобые, крупноносые, темно-русые, с глубоко посаженными серыми глазами, с лицами, высеченными из светлого дуба, вятицкие люди привлекали очевидной своей надежностью, но чувствовалось — зря не задевай, такой однажды отломит — за год не срстется.

Спросив глазами боярина Пороя, Владимир решил идти в Мценск верхами. Сказал — никто не персчил. Вспомнилось не то прочитанное, не то кем-то сказанное: управлять — не столько приказывать, но больше угадывать волю управляемых, тогда держава прочна согласием. Хоть и в малом, но все ж угадал и был доволен не мелочью, а тем, что сначала ступил, а потом вспомнил правило. Кто начинает с поиска правил, тот всегда поступит неправильно: расчестется мыслью, поддастся сомнениям. Нужно, чтоб получилось само собою. Это Владимир знал по собственному опыту. Всадник не должен думать, что обязан он сделать руками, ногами и туловищем, заставляя лошадь идти по приказу, а не по ее желанию. Пока будешь думать, конь тебя унесет, задумавшийся ездок — недоучен. Стрелу ли пуская, меча ли копье, рубясь ли мечами, не найдешь времени для размышленья, что и как делать пальцами. Воинское молодею князь выучил, если и не хватало чего, то лишь полной силы — она же прибывает сама. Так бы и с мыслью!

Лутовин рассказывал о себе: коренные вятичи, самосевом вошли мы на лесных полянах да опушках, далеко от леса не отходили, сунемся в степь — вольно, хорошо, степные надавят — отойдем, лесом отгородясь. Имя Лутовин либо Лутова — от липы это прозвище; вернее, от лыка, вятицкие лыком шиты, на лыке ходят, под лыком спят: так соседи дразнят, но вятицкие не обидчивы, на лыке ходят для удобства, а сапоги у каждого есть. Оленья жила не прочнее лыка, разве что жилкой шить удобнее. Лутовин знал свой род до четырнадцатого колена: безродный — что ветка отломленная, сохнет без сока, без рода нет чести. Вятицкие свои рода помнят, русские имена носят рядом с

крестильными. Предок был именем Лют или Лютослав, время переделало на Лутовина, ведь слово живое, язык его трет, точит, на нем же, на слове, новая кожа нарастает, и не поймешь, что раньше иным словом люди сказать хотели.

Задумавшись, Лутовин прервал речь, и глаза его, устремленные вдаль, обрели глубину, будто увидел он нечто и вбирал в себя. Владимир же понял — такой человек праздного вопроса не задаст. Да и задаст ли вопрос вообще? Проезжие через Кром сами ему рассказывают, что где делается. Знает он про Всеслава и про бегство старшего Ярославича. Не кличет князь Всеволод людей на помощь из Крома, из Мценска, — значит, не собираются младшие Ярославичи силой гнать Всеслава из Киева либо на полонцев ныне идти. Но сам Владимир не удержался:

— Не было никакой засылки от Всеслава?

Глубоко, как из колодца, Лутовин глянул в глаза молодому князю.

— Нет, — ответил, как отрубил. Сам-де понимай силу краткого слова. Не сказал я тебе — не знаю, либо — будто бы не было, либо — не видел я. Нет — значит знаю, что не было никого, значит, Всеслав не собирается теснить Ярославичей за Днепром, и напрасно князь Всеволод тревожится за Ростовскую землю. Напрасно? Так почему же Лутовин советовал ехать скорее? «Коль не говорит сам, не спрошу», — решил Владимир.

— Счета-записи не проверишь ли, князь? — спросил Лутовин, и глаза его обмелели.

— Нет, отец не приказывал, — отказался Владимир.

Спутники его, разоривши стол, вставали, чтоб, дохнув на дворе свежего воздуха на сон грядущий, завалиться до утра где придется.

Лутовин предложил князю приготовленную ему постель в доме. Владимир отказался — привык-де укрываться небом. Хозяин помянул — перед зорькой быть заморозку, и, не настаивая, дал князю шубу.

Хорошо очнуться под едва бледнеющим небом и, вдыхая острый воздух, чистейший, чем вода в горном ключе, ведомом лишь птице да храброму человеку, увидеть в отсвете звезд припущенную инеем и от него девственно-чистую, для тебя лишь сотворенную землю. Очнувшись, открыв очи, хорошо почувствовать, как пробуждающиеся чувства подарят тебе запах лошади и запах кожи седла,

служившего тебе изголовьем, хорошо, когда твой проснувшийся слух — верный, неторопливый слуга — вводит тебя в мир звуков, и они приходят один за другим, чтобы в краткий миг, когда ты еще на пороге между сном и явью, ты понял: звуки — это толпа. Но, может быть, лучше всего чувство силы и бодрости тела, но не ощущение тела. Ты начнешь чувствовать тело, когда к тебе приблизится старость. Не бойся, ты не заметишь этого дня. Такого дня нет. Так как всё — переход и оттенки, нет лестницы, границ-рубежей, нет порогов. Именуемое самым главным ты теряешь, не замечая, не зная, и в этом, говорят, есть лучшее свидетельство мудрости мироздания.

За кромской поляной версты на две лес был разрежен порубкой дров и подходящих для дела лесин, но след человеческих рук был обозначен резкой границей. За ней вновь встала нетронутая чаща. Торная тропа шла левым берегом Оки. То лес выталкивал тропу на берег, то прихоть извиистой реки вдавливала в лес круглый локоть излучины. Глазу открывалась ленивая, светлая полоса, коротко обреченная следующим витком, и была видна вторая тропа, протоптанная людьми и лошадьми, которые бечевою поднимали лоды против течения. Пустынно и скучно было на холодной реке.

Встречались тропки, которые, отходя от дороги, напоминали о вятицких старых градах, подобных принявшему бывшего дружинника-путешественника Алексея-Приселку.

— Князьи подданные сидят там, отгородившись лесом лучше, чем морем. Море для всех, в лесу: хочу — пушу, не хочу — не пролезешь, — шутил боярин Порей. Он рассказывал о французах — нормандах, герцоги которых Гийом недавно завоевал Британию — Англию. Предок герцога приплыл из Норвегии, отнял добрый кусок земли у короля франков и, взяв себе часть, всю остальную роздал дружинникам, по достоинству каждого, вместе с завоеванными людьми. Норманцы построили себе замки, укрепили города. Получившие от герцога много земли уделили часть другим. Все владетели обязаны воинской службой, младший — старшему, все вместе — герцогу.

— Там все законники, — усмехался Порей, — все кладут на пергамент, кто кому чем обязан, кто сколько платит дани. Приходилось мне встречаться с купцами из Нормандии, — говорил Порей, — наших порядков они никак не могут понять.

Видимые одним птицам лесные вятицкие давали священникам за требы, епископу — на построение храмов и

бедных; давали и князю: по необходимости выходить из лесов в города для торговли соглашались с пошлиной. Порей и князь опять вспоминали о древней дани, наложенной Святославом Игоревичем: векша или горноста́й с дыма¹. Ничтожность дани говорила о добровольности подчинения. И сегодня опасно лезть в лес без спроса по вятицким следам. Тропы заваливают, с деревьев стреляют — безумный сунется. Здесь по-нормандски землю не соберешь, будь трех пядей во лбу. Нужно умом и добром.

Кромский княжой посадник Лутовин умел ладить с людьми. Он говорил князю Владимиру: живу с лесными вятицкими дружно, княжой казне есть прибыток. Солнце и буря...

Доро́га доро́га новизной, к которой редкое сердце не чутко. Доро́га красотой, ибо внове редкое место не одарит тебя за первый взгляд. Еще дороже радость познания. Под лежащий камень и вода не течет — не про мошну пословица сложена. Редко русские пословицы поучают прибитчиков да любителей пожитья. Деда умели глубоко брать. А выгода? Э, дело пустое! Сегодня убыток, завтра прибыль. Время растратить жалко, его не вернешь. А храбрости лишиться — все потерять. Не потому ль деда заглядывали поглубже да повыше? Сосна, распустив корни поверху, главный посылает вниз, как продолжение себя под землей. И бурелом, ломая здоровые деревья, не может их согнуть. А камыши послушно ложатся под ветром, чтоб потом, встав прежнюю шумной толпой, закрыть остродлинной листвой тела неосторожных собратьев своих, которых они же и сломали, не полегая от ветра.

Каждому свое, не будем судьями, вынося приговоры в сравнениях. Сравнение, обманывая очевидностью, поспешно и жестоко, а человек прочнее гор. Недаром кто-то зывал: «Не пошли нам, о боже, все, что люди способны вынести». Недаром в столь удаленной древности, с которой имена давно осыпались трухой, а мысль сохранилась, изображал себя человек знаком звезды, окруженной беспредельностью им же сотворенного пространства, и давал своему всемогущему богу свои собственные черты лица и вид своего тела. Большие люди сами ограничивали свою гордость смиреньем, чтоб ненароком не разрушить сотворенное ими.

¹ Еще в 1900 году шкурка горноста́я стоила 8 копеек, шкурка белки — 6—7 копеек.

В седле трудом тела, чувств, мысли молодой князь Владимир творил свою дорогу, одолевая отцовский удел, обладая им, приобретая движением. Ничего не получил бы он, если б некая сила несла его в мягком гнезде и он без усилий наблюдал движение земли под собой, скучая однообразием дикого сборища деревьев — все, как одно, — однообразием тусклой осенней реки, и только бы думал — когда же конец путешествию.

Лутовин предупреждал — тропа на Мценск не столь торная, как из Курска до Крома. Ан и сюда доходит рука кромного хозяина. Через ручьи — мостики, через речки — мосты, не ветхие, со следами заботы: изношенные бревна заменены свежими. Через Цон, верстах в тридцати с лишним от Крома, мост длиной сажень в сорок был строен здесь заново. Сохранив прежние сваи, рядом с ними вбили вторые, усидили переводины, уложили настил.

Миновав Цон, всадники опустились в широкую долину, по которой струился Орлик, тихо вливаясь в Оку. Здесь напоили лошадей, задали в торбы немного овса и, не слишком медля, пустились дальше, чтобы лошади не остудились.

Орлик — не простая речка. Идет Орлик из самого сердца вятицкого леса. Верстах в двадцати выше устья Орлик принимает речку, нареченную Орлицею. Еще далее, верстах в тридцати, на речном разделе есть урочище Девять Дубов. За ним на двадцать верст залегли болота, из которых течет река Снежить. За болотами стоит древний вятицкий град Карачев, а вниз по течению Снежети, при ее впадении в Десну, есть город Дебрянск, тоже старинный вятицкий град, взявший свое имя от лесных дебрей¹. Вверх по Орлику через Девять Дубов доходят до Карачева, от Карачева Снежитью до Десны верст пятьдесят. С Десны же ступай куда хочешь: вверх — на переволоки к Новгороду, вниз — в Днепр, к Киеву, а там весь свет открыт.

Этим путем, через Девять Дубов, в старину вятицкие никого не пускали. Там были их святые места. По вятицким преданиям, там после потопа завелся вятицкий корень. Есть другая вятицкая древность — Дедославль, либо Дедилов, на реке Шиворони, при Белом озере, между реками Уперть и Шат. Это будет от Мценска много дальше ста верст.

— На Десну, проходя в Киев, при прадеде твоём князе Владимире Святославиче шел из-под Мурома знаменитый

¹ Ныне — Брянск.

богатырь Илья, о котором песни поют. Он с малой дружинкой не стал на кружной путь, а пошел прямо Орликом вверх на Девять Дубов. Там вятицкие его встретили, сев на дубы. Илья же их сбил, воеводу Соловья взял в плен и в Киев отвел. С той поры вятицкие начали признавать русских князей.

Так, показывая руками по странам света, как, куда да откуда, рассказывал Владимиру об Илье встреченный им на краткой остановке у Орлика человек — кромиш, посланный с двумя товарищами от Лутовина. Проживал он в деревне, разбросавшейся десятками четырьмя дворов по открытому месту близ орлицкого устья. Жители здесь воспитывали большие стада на отличнейших заливных лугах. Жирная земля рождала всякую овощь, и в воздухе пахло спелой капустой, которую снимали в самую пору. Запах особенный, хочешь — нюхай, не хочешь — отвернись, однако без кислой капусты зимой не жизнь. Местные бортничали, поделив меж собой урожаи, рыба ловилась хорошо, и вятичи, занятые делом, не бросились глазеть на всадников. Но кто едет — знали заранее, и три девушки вынесли проезжим сладкий осенний гостинец — решета сочных кочерыжек. Одна из девушек, напомнившая Владимиру лутовинскую дочку, кроме кочерыжки поднесла князю кузовок отменной моченой брусники: помни Орлик, такой ягоды нигде нет. Пригласила:

— Ночуйте, ночь не за лесом уже!

— Нельзя, спешим, красавица, далее.

— А невеста-то есть у тебя? Нет? Отец, князь, тебя не жалеет, как видно. Видно, ждать тебе повелел до большой бороды? — смеется, смелая, что ей? У Владимира на усах и бороде начинал курчавиться темный нежный пушок.

Нет времени, нет. Владимир спросил кромиша:

— С той стороны, от Девяти Дубов, проходят люди? Кромич ответил:

— Тех нет! — И подмигнул: — Для того и живу здесь с товарищами, чтобы следить. Не прозеваем. И у Дубов есть глаза-то живые.

В Кроме Лутовин ничего не сказал Владимиру: Выяснилось — расставлены дозоры на чародея Всеслава. Боятся его. Прыгнет барсом и глаза отведет. Слава — великое дело...

Отвлекая от новой мысли, провожатый, данный в Кроме Лутовином, ехал рядом с Владимиром, дополняя рассказ об Илье-богатыре. Был рассказчик родом из вятицких, кому же не хочется счесть свойством-племенем

с таким человеком. Прадед рассказчика видел живого Илью.

— Был тот ростом немногим более, чем боярин, — вятч указал на Порея, самого крупного и могучего статью спутника князя, тоже богатырской породы. — Илья выдался еще шире Порея, глубже грудью. Руки у него были особенной длины, и пальцы такие, что мог он, к примеру, обычного человека одной рукой за шею охватить, и пальцы сходились на затылке. Характером смирный, голос низкий и, когда говорил, бородой ворочал, будто трудно ему силу удерживать, которая из груди рвется. Лук его был сделан из турьих рогов, луковище вдвое толще обычного — при таких руках с простым луком делать нечего, — тетивы жильные тройного плетенья, стрелу слал — глазу не видно, и стрелок был Илья прирожденный, и тетива гудела, как его голос. Копье тяжелое, по его силе, а меч обычный, легкий. Илья бился булавой или шестопером, меч носил для чести.

Хоть сухой, но тяжелый он был и заботился о своих конях, чтобы не перетрудить до времени. В походе больше пешим шел, поручая вести свою лошадь.

Шаг у него был широкий, ноги длинные, ступня же чуть не вдвое длиннее обычной, хотя бы моей. Почему знаю? Прадеду довелось с Ильей вместе купаться, он сапоги свои с Ильевыми сличил.

По лесу Илья ходил — ветки сухой не сломит, зря не наступит, его не слышно было, как медведя. Уж ловок был! Ему вятцкое наше имя было Оляб, Олябыш — колобок, так его в малых парнишках прозвали за верткость, за прутьость.

Девять Дубов, где Олябыш-Илья бился с Соловьем, до окончанья мира простоят. Вятцкие, идя в Карачев, на них спят, там поделаны крытые полати, от человека, от зверя, от непогоды спокойно.

— А в грозу? Молния не ударит? — спросил кто-то.

— А! — ответил вятцкий провожатый. — Сколько раз молния дубы била! Им ничего. Сами полати мы всегда ставим отступя от ствола¹. Кто за собой вину знает, тот в грозу не полезет.

Охотно бежали сильные лошади под сильными всадниками и ровно, будто земля сама уходила на юг, будто сама

¹ Автор часто находил дубы с вершинами, пораженными молнией. Верхний мертвый сук обычно торчал среди перерастающих его живых ветвей, а само дерево вполне здорово. Упоминаемые Девять Дубов в урочище того же имени еще стояли в начале нашего века.

несла их на север, но каждый удар копыта был умен, не случаен. И глаз не заметит, и нет такого мелкого счета для времени — секунда не короче сажени, — чтобы увидеть, чтоб заметить и чтоб сосчитать то кратчайшее время, за которое лошадь умеет понять и решить, едва прикоснувшись зацепом копыта к дороге, можно ли этому листику почвы доверить двойной груз, своего тела и всадника, иль там опасно? И успеть распорядиться нервами и мускулами послушного тела, чтоб опереться на другую ногу, чуткое копыто которой уже подсказало надежность найденной им опоры. Такую умную работу лошадь совершает на каждом движении. Всадник пользуется ею, у него свои заботы, через его душу течет другая жизнь. Он обязан и хочет успеть отобрать ему нужное. Подобие сети, о которой он ничего не знает, пропуская одно, останавливает другое. Действительно ли взято нужное? Нужно ли взятое? Что было упущено вчера, сегодня, что из захваченного служит напрасным бременем, сколько железа в бурой руде и сколько шлака? И что за сеть внутри меня? На вопросы нет ответа.

Молодой князь Владимир кормил жадные глаза широкой долиной устья Орлика, пока кромич, сторож долины, не вывел проезжих к броду. Широкая отмель. Через галечную насыпь Ока мирно переливала холодную воду, и на дне был виден каждый камешек. Сновала мелочь. Стая крупных осетров, испуганная вторженьем, взбуровила воду, спеша пройти опасное место.

Переправились, едва замочив стремена. На том берегу кромич протистился:

— С богом идите, тропа торная.

Усталые лошади спотыкались о корни. Тени деревьев слились в сумрак, лес становился для глаза чаще, чернее. На поляне несколько дворов, крупные вятицкие псы встретили проезжих толстым лаем. Спали на соломе. Из каждого куста зверем глядела хмурая ночь. Собрались тучи, походили и разошлись в другие места. Не быть еще дождям, правильно предсказал в Кроме Лутовин. Кому ж знать повадки здешнего неба, как не вятицким лесовикам.

— Скоро дошли вы, — приветствовал своих мценский посадник Шенша.

Мценск, или Амценск, устроился на многоверстной поляне, как Кром, как все города, какие знал Владимир, на мысу с крутыми берегами, который вместе построили речки Мцена и Зуша. Доскакали до города в сумерки, и един-

ственное, что успел там увидеть Владимир из местных чудес, — громадину твердого камня на тесной площади, над которой был устроен навес от дождя и от солнца.

— По старине нашей, — рассказал Шенша, — этот камень считают священным. Доныне, но втайне камню делают приношенья — кусочек дорогой ткани, колечко, монету. И просят помочь. Весной какой-то прохожий остался в городе, дав обет высечь из камня образ Николая, чудотворца Миров Ликийских. Живет, режет камень. Имя ему — Репня. Откуда он? Отвечает — из мира пришел. Корвет и заботятся о нем, как о мирском пастухе. Шел он в Киев к другу своему Антонию-пещернику. Во Мценске его наш камень остановил.

Утром Владимир Мономах пошел поглядеть на работника и необычайное дело его. Взгромоздясь на подмости, умелец постукивал молоточком по долоту. Он шел сверху. Лицо святителя уже смотрело из камня. Знакомый, русский лик!

Умелец-резчик спросил князя, известно ли ему, что Николай-епископ происходил от русской семьи? Он малым ребенком был похищен степняками, продан греческому купцу в Таврии, отвезен в Константинополь. Там ему удалось учиться, впоследствии принял он сан.

— Я, помнится, иначе слышал о нем, — попытался вспомнить Владимир.

— Знаю, знаю, — помог резчик. — Некоторые производят род его от славян, которые однажды, еще при языческих императорах, переселились в Азию. Я спорить не буду, никогда не любил даже словесной борьбы. Истину говорю тебе: этот камень, будучи искони русским, может принять образ только русского святителя. Другого в нем нет. Точи его, руби, теши — в песок рассыплется, но не поддастся.

— Камень веками служил идолопоклонству, — возразил Владимир.

— Эх, князь! — упрекнул резчик. — Не добро тебе будет, когда ты отречешься от пращуров. Да не отвергнет никто отца, не устыдится рода. Мы Дажьбожьи внуки. Есть время сеять, есть время собирать жатву. Понимаешь ли? Тому веку — свое, тому — другое. Авраам и древние пророки и князья приносили древнему богу кровавые жертвы и рассекали людей на алтарях. Соломон, князь израильский, сколько жен имел? Так не суди же пращура твоего Святослава и деда Владимира — многоженцев языческих. Ты себя унизишь запоздалым судом. Не обижай

Русь, не черни предков, наследник. Не грехи, а то прах наших отцов, погребенных в курганах, станет горек и отравит истоки рек.

Три крепкие, заново просмоленные лодьи выбрал Шенша для молодого князя с дружиной. Погрузили седла с конскими оголовьями, взяли запас еды и пустились по Зуше к недалежней Оке. Сухая осень поубавила воды, в прозрачной Зуше виднелись обманчиво близкие каменные гряды, но прав был кромский тиун Лутовин: воды хватало.

На каждой лодье — по четыре пары весел, на каждом весле — по гребцу. Сидели на веслах в черед, молодой князь греб вместе с другими. Сколько крылось в том недавнего мальчишества, которое заставляет нас спешить равняться со взрослыми, сколько мужественного желания не быть праздным? Никто не искал ответа, никому не было дела до того, что в те же годы в других землях было бы и отмечено, и истолковано. В своих дальних и трудных походах князь Святослав, о котором Владимиру напомнил мценский каменный резчик, сам сживал за веслом и на Волге, и на Кубани и кормил разгоряченным телом комаров в ветвистом устье мутного Дона. В посконной одежде сам бил веслом Святослав дунайскую воду, возвращаясь на левый берег после свидания с базилевсом Цимисхием. И они глядели один другому в глаза, пока еще различались лица, и Цимисхий знал судьбу Святослава, проданного им печенегам. А своей судьбы базилевс не ведал, она же ждала его в походной палатке, в руках приближенного лскаря, готовившего своему покровителю яд за деньги, щедро данные и еще щедрее обещанные домашними врагами Цимисхия.

На Руси пока еще не играли с ядами, но только с железом. И молодой князь греб и греб, попросту чтобы развезть скуку.

На каждой лодье был очаг на носу; песок в ящике защищал доски от огня. Дважды в день ели горячее варево на всех трех лодьях в одно время, ставя лодьи рядом где-либо у берега, и, чуть размявши ноги, спешили на весла.

Из ночи в ночь становилось холоднее. Плыли и ночами, но уменьшали ход, оставляя на веслах по четверо гребцов, и кого-либо клали на нос, чтоб глядел в оба: извилиста Ока, перед ней змея пряма, и можно ударить в берег в потемках. Смыкался лес, лось глядел не страшась, на серой осенней зорьке спугивали робких олсней, волчий вой

проводил, заменяя весенние соловьиные трели, несоборные стаи уток поднимались на крыло чуть ли не из-под носа передней лодки и, отлетев в сторону, тут же садились опять, давая людям дорогу. В холодной воде охотились на рыбу выдры и норки в непромокаемом мехе. Дикие свиньи обжирались желудями в дубравах. Не раз и не два проходили по небу, закрывая его на добрую четверть, гусиные табуны, и воздух был полон их головами. Посменные луга казались тесными от пасущихся журавлей, лебедей, серых гусей и мелкого гуся — казарки. Все пролетные уходили на юг, на юг, а лодки бежали на север.

— А на Белоозере-то уж снег, — замечал Порей.

— Ильмень-озеро тоже стынет, — откликнулся другой.

С серого неба падала мелкая морось. Кутались в плащи из валяного сукна, которого дождь не берет, чернели голицы на руках, и от гребцов шел пар.

Встречались селенья, выдавая себя острыми шапками стогов на лугах, встречались отдельные дворники, ладно уставленные, крепко огражденные надежными тынами — не от людей, от зверей. Сидя на обмелевшем берегу под кручей, матерой медведь пудов на пятнадцать весом, вытянув островатую морду, злобно пялил красные глазки на проезжих и привставал, готовясь к драке. Пора такая — спать приходит время, а оловость не удастся. То ли логово подходящего не найдет, то ли лег уже, да вода невзначай подошла в берлогу, либо встревожил кто. Такого зовут по-русски изъедухой — за злобу. И человек, которому спать не дадут, может зря обидеть первого, кто попадет под руку. А с медведя какой спрос! Не попадается такому, бросается хуже бешеного пса, и без всякого разума. Белка цокнула — обида, в ярости лезет на дерево. Птица взлетела — за ней кидается, будто она во всем виновата.

Ока вела уже на восток. Третьей ночью река незаметно дала колено.

Дальше и дальше, без остановок. Сизые тучи тянут навстречу, пригнетая к земле стаи пролетной птицы. На четвертые сутки в воздухе вместо мороси явились белые точки — первый снег, крупка.

Под этой-то крупкой, реденькой, не застилающей даль, Владимир заметил в речной пойме косулю. Бежала она прямо к реке, и не понять было сразу, чего же она так топчется. Но как скатилась она с бугра, следом обнаружилась злая погоня. Тройка серых вылупилась за ней на полном маху крепких лап.

Встав в рост, Владимир заметил, как по бережку с двух сторон бежали другие волки, и так точно была рассчитана облава, что косуле суждено было попасть в волчьи зубы в конце короткого уже пути к реке. К берегу! Лодья повернула, и загонщики замялись — лодья шла прямо навстречу косуле. Серые не решились спорить с людьми. В одно время нос лодьи уперся в берег, и к нему выбежала косуля — безрогая важенка. Выбежала и встала в трех шагах, видно решив, что люди не так страшны, как волки. Двое спрыгнули с носа — косуля чуть подалась назад, телом лишь, а копытца вросли в песок. Подошли — не шелохнулась. Взяли в руки, охватив ноги, поднесли к лодье и крепко спутали, чтоб сама не побилась.

— Твое счастье, князь, — сказал Порей, — береги.

Он берег, чувствуя, как вначале быстро-быстро, а потом ровнее и ровнее под коричневой шубкой билось испуганное сердце. А волки исчезли. Не идут ли берегом, стережа упущенную добычу? Выпустили спасенную на другом лугу, обжитом людьми; вдали конные пастухи водили изрядное стадо. Волки не сунутся, а если решатся, косуля забежит в стадо, а там ее в обиду не дадут.

Случилось это малое событие перед поворотом на ссвер. Его прошли ночью под затянутым небом и не заметили, как звезды на небе ушли в сторону.

Трудились на веслах, в помощь себе распевая отрывистую гребцовскую песню:

Э-гей, ты матушка-д Ока,
уж долга-то ты, долга,
нет тебе конца-начала,
укачала-д, уваляла,
д-силушки у нас не стало,
эй, бей, э-ей, бей,
руки-д, спину не жaley,
эй, э-ей, эй, эй!

На пятые сутки по левой руке над лесом явилась золоченая маковка-луковица с крестом на темечке. И поднималась она колокольней, показывая один ярус, второй. А третий закрылся крышами города.

Город Коломень ставлен на границе княжества. На запад от него в скольких-то верстах будет ничем не отмеченная грань Смоленской земли. Свернув к левому берегу, вошли в устье Москвы-реки, к коломенским пристаням. Вышли, бережно подтянули лодьи на отлогий бережок, распрямились, поглядели друг на дружку. Короток путь на веслах, всего верст пятьсот, но успел и он подсушить молодцов, личики поосунились, рученьки повытянулись.

Город Коломень — Околица, как значение Мценска, или Мченска, — Пчельник, от мцелы — мчелы — пчелы, а Кром — от укромной реки Кромы. Слова, пристав к месту, твердеют и отстают от движения речи.

С тяжелыми товарами люди продолжают плыть по Оке и, миновав Муром, входят в Клязьму, по которой поднимаются до Залесска¹. Летом можно идти в Залесск верхом, зимой грузы возят на санях. От Залесска Ростов близко. Сухая дорога раз в пять короче водной.

— Не такие леса, как вятицкой, придется тебе повидать, князь золотой. Пойдешь Мерьской землей. Есть широкая тропа. А без проводника и она тебе будет не в помощь, — заботливо рассуждал боярин Бакота, правивший тиунство в Коломене. — Все дам, и лошадей, и проводников мерьян, проведут, как в руках принесут.

Владимиру Коломень напомнил было южные, переяславльские города, крепкие, поставленные с заботой, чтоб и путь был, и вода под рукой, и поменьше труда ушло на укрепление. Удобней всего речные устья, мысы при впадении малой реки в большую, тут тебе и дороги, и водопой. Около рек рыть колодцы — верное дело: сколько ни высок берег, до воды дойдешь. Так ли, иначе ли, но тут же малгород Коломень увиделся Владимиру и совсем иным, чем южные, родные ему города.

Ранним утром следующего дня, который пришелся на воскресенье, звонкий колокол позвал к обедне. За ночь земля от мороза охрящевела, лужицы вздуло мутными пузырями, иней выбелил тесовые крыши. В обширном для малого города храме тесно не было. Стояли семьями. Куда заметнее, чем на юге, проявлялось разнообразие людское, собранное на речном мысу за невысокими валами города. Суровый вятич в черной бороде до самых глаз, в длинном кафтане бурого сукна, с тяжелой гривной червонного золота на шею, которой он украсился для праздника. Южанин, с низовьев ли Дсны или из Переяславльского княжества, в белом плаще с вышивкой, с длинными усами, но с голым подбородком или с подстриженной бородой. Рядом с ним скуластое, узкоглазое лицо в редкой бороде, через которую просвечивает желтоватая кожа, — этот из мерьян или из муромы. Он в черном, в руке колпак черного сукна. Встретившись глазами с сухим, остроносым мужчиной в кругло подстриженной смоляной бороде, князь Владимир подумал

¹ Впоследствии — Переяславль-Залесский.

было — знакомый, но потом сообразил: да он не то из торков, не то из печенегов...

После обедни иерей отслужил молебен о здравии благоверных князей Всеволода, Святослава, Изяслава и всех близких их, помянув первым младшего из Ярославичей, как своего князя, о всех странствующих, путешествующих, болящих и пленных. Закончил, помянув боярина Бакоту и молящихся в храме. Затем вышел из алтаря, и все, как стояли, потянулись неспешной чередой прикладываться к кресту. А после, за трапезой у боярина Бакоты, иерей без жалоб, но жестким голосом рассказал проезжим, ни к кому особенно не обращаясь, что здесь едва ли не половина жителей, особенно в округе, суть двоеверны: не отвергая Церковь, исполняют древнеязыческие обряды в рощах, а также у рек, а также и у курганов. Уклоняются от похорон, предпочитая сжигать тела, а пепел собирают в сосуды из обожженной глины и прячут в старых курганах.

— А впрочем, — заключил пастырь духовный, — Христос терпел и нам велел. Я и отец Иван — он ныне в разъезде — пашем ниву и сеем посильно. — И, ободрившись, добавил: — Училице содержим. Бакота с иными нам помогает. Каждую зиму учим, уча — проповедуем. Сорок три мальчика и отрока в наступающем году обучаются и девочек одиннадцать. Чтение и письмо. Правила счета. Святое писание. И греческий язык по желанию. Есть родители, которые сверх того просят наставлять и латинской речи. Ибо для заморской торговли такая речь полезна.

— Как, отец, ученики, хорошо успевают ли в науках? — спросил князь Владимир по-гречески.

— Не все одинаково, сиятельный, — по-гречески же ответил священник. — Просвещаем сердца по мере желанья их, по мере способностей.

— Трудно вам вдвоем справляться со многими учениками, — перешел на латынь князь Владимир.

— Имеем помощников, господин, — возразил священник на латинском языке. — За двадцать лет служения в Коломене многие обучены, доброхотно содействуют просвещению. Помимо них наши с отцом Иваном силы давно бы иссякли.

Коломенскую трапезу Владимир вспомнил в седле со стыдом, на который способна только молодость: и ученостью своей выставился, и священника испытал, и, в довершение, кичился познаниями перед теми, кто, кроме русской, никакой речью не владел.

Подобные обиды, которые человек сам себе причиняет, гордыми людьми помнятся долго: такие себя учат, если хватает ума. Еще одно увез из Коломена князь-ученик: историю города. Был он основан выходцами из Новгорода, людьми опытными и дошлыми до всяких доходов. Стык Оки с Москвой-рекой выгоден для торговли, через Москву есть путь переволоком в Истру либо Рузу, из Рузы Ламским волоком — в Ламу и Шошу. К новгородцам подсели вятицкие, подселялись мерьяне. Но кроме них шли переселенцы с Днепра, Ворсклы, Сейма, Дона, Донца. Этих влекли не богатые земли, не щедрые леса, эти шли не за бобром и соболем. Беглецы, они уходили, наскучив постоянной угрозой из Степи. Степь близка к Коломену, в нем оседали немногие пришлецы с юга. Тянули они вверх по Москве-реке, уходили дальше по Оке, за Муром, садились в Ростове Великом, на залесских полянах. Были и такие, кто уходил Костромой-рекой на Сухону, Шексной до Белозера: все равно, дескать, коль снялись с места, так поищем поглубже.

С первых разумных, хоть и детских лет Владимир Мономах слышал о Степи. Дядька, подведя мальчика к коню, читал над ним старинное заклинание, призывал Дажьбога, Стрибога, навьих на помощь против Степи. И приказал матери не говорить — ты ныне воин. В сказках и сказах Степь присутствовала изначальным злом, как первородный грех Ветхого завета. Битвы, стычки, походы, победы и поражения. Пленники, угнанные в Степь, и чьи-то слова: в печенежских жилах немало-то русской крови течет.

В Коломене Владимиру явилось нечто до сих от него скрытое и поистине страшное. Степь не только убивала, угоняла в плен, грабила. Степь давила, Степь выгоняла русских на север. Как зверь, загнанный борзыми собаками, бросается в логово, тем спасая себе жизнь, так русский уступал место другим, заслоняясь лесами. Не все же бежали! Уходили слабые, робкие? Были и такие, но отступали и сильные, храбрые. Они не могли примириться со случайностью существования. Хотели строить надолго, хотели обладать возделанным полем, домом, думали о будущем детей. Сколько беспечных, сколько ленивых прикрывались смелыми словами, а на самом деле у них не хватало храбрости оторваться от насиженных мест!

Впоследствии Владимир Мономах рассказывал, что в Коломене-то и обещался он перед своей совестью бороться со Степью. Так ему вспомнилось, так он верил, хотя подобное вряд ли является внезапным озарением. Что с то-

го! Мы невольно переставляем внутренние события, произвольно связывая их с внешними вехами. Бывшее остается, и рука, производящая поиск, ошибается бескорыстно.

Дорога от Коломеня на север, к Залесску и Ростову Великому, легла западной межей края, обитаемого мещерой, или мещорой, оседлыми, мирными людьми. Там не покочуешь. Мещеряк живет по гривкам, сея хлеб и кормясь из лесу. Числом их мало, всё леса и болота. От одного мещерского поселка в другой на лошади проедешь весь день, пробиваясь между болот. Пешком — три версты, по кладям, переброшенным через мшистые хляби.

Ехали будто бы стороной, однако ж такого дикого леса Владимир не видывал. Еловая роща. Ели стоят — вверх посмотришь — шапка с головы сама падает. Хвоя на аршин лежит и под ногой пружинит, как тетива. Под каждой слью круговое углубленье, сидит ель, как в лунке, потому что сама под себя хвою не роняет, не доходит хвоя через сучья. Пусто внизу, солнце не дотянется, ничего не растет, кое-где гриб увидишь или кустик костяники. Тихо. Ветер поверху шуршит, а вниз тоже не может пробраться, и шуршанье его по вершинам вниз падает не в голос, а шепотом. Не видно и живого, кроме белок. Урожай, видно, был на шишки, и белке праздник на всю осень и зиму. И еще — рябчики срываются: «фррр, пррр», и — тишина. Эта птица в полете немая.

Кончатся ели, тропа ведет краем болота и взводит на гривку, в сосны-красавицы. Здесь веселее, воздух вольный, и сосны гудят, и крупные черные птицы сидят высоко — едва достанешь стрелой. Не попадешь — стрелу жалко, ищи — не найдешь. Попадешь — тоже мало счастья. Растопырив крылья, добыча застрянет в сучьях. Доставка-ка! Лесные тетерева-глухари. Курочка пестровата и помельче, а петухи бывают на полпуда. Им и летать нелегко. Сорвется с ветки и, будто большой, падает вниз, ветки трещат, пока не наберет воздуху под крылья. Здесь их ловят волосяными силками на приваду, а еще насыпают красные ягоды в берестяные кузовочки, внутри смазанные клесм. Сунет голову птица, прилипнет кузовок, тут руками берут.

— Живут в этой дебри и русские отдельными займками, мещеряков не обижают, и те их любят, — рассказывал проводник.

— Не скучно ли? — спросил боярин Порей. — Я бы лета одного не прожил, не то что зимою. Волком взвоешь с тоски.

— Волки воют, — согласился проводник, — волков везде много. Заимщики на зверя не жалуются. Не силой сажают их в лес, сами садятся. Своими руками что сделает человек — и любо ему, дороже купленных хором. К нам, в Коломень, приезжают продать и купить. Веселится на народе: лучше князя любого живу, ни надо мной, ни подо мной никого нет, вся забота — моя. Другого послушай: нужно изнутри жить, из своей души все добывать, там, мол, все есть, умей лишь окошки открывать.

— Богачи болотные, — усмехнулся Порей.

— Да не из бедных, сразу видать, — подхватил проводник, чувствуя, что верх остается за ним.

Так ли, иначе ли, но в заколоменских лесах в глухую пору года, в стылом воздухе, под серым небом, от которого, кроме белых мух, ждать нечего, — оно и снежило лениво, да настойчиво — поход был тосклив. Пусть и легок, не то что гнать по Оке, соревнуясь друг с другом в силе, в выносливости.

Всадник, вполне овладевший искусством, в седле совершенно свободен. Дремлется на шаг — спи, не упадешь, тело проснется само, когда передний всадник пустит лошадь рысью или вскачь и твоя лошадь потянется за ним. Успеешь проснуться, если лошадь споткнется. Не дремлется — думай, что хочешь, лети мыслью за сто верст, за тысячу. А коль нет мысли, коль мозжит душа пустой скукой? Тут позавидуешь глухарю-заимщику, помянутому быстрым в слове коломенцем.

Книжная наука блестит, как золоченые маковки на киевских храмах. Любо-дорого выйти по родительскому кивку со словом к иноземцам, которых князь-отец угощает за своим столом, и в речах к месту вставить здесь изречение из святого писания, там обмолвиться — «так говорил Аристотель», оспорить написанное базилевсом Цимисхием о войнах Святослава, указав, что в записях своих базилевс о том-то и том-то пишет со слов, но дела сам не исследовал, а арабы склонны к чудесному и, начиная делом, сами себя изобличают подробностями, которым место в сказах.

Люди — книги, читать их — княжья наука. Кто-то из греков так сказал или из римлян? Нет, это свой. Кто же?

Владимир искал в памяти имя киевского писателя, не нашел, но уже спорил с ним. Почему же только княжья наука, разве не каждому нужно, разве не каждому хочется знать, кто твой товарищ, твой слуга, твой старшой и твой князь, наконец?

«Дни короткие, ночи длинные», — жаловались проводники, будто бы от них зависел порядок, установленный творцом. Сберегая светлое время — от зари до зари, — не делали привалов, давая отдых лошадям и себе спешиваньем и проводкой в поводу. Ночевали в затишном месте, не обременяя себя долгим устройством. Нарубил еловых лап — вот и постель. После полудня второго дня вброд перешли реку Клязьму. И, поднявшись на высокий берег, обрели перемену. Лес, потеряв плотность строя, рассыпался рощами, появились дубы, шелестевшие железными от заморозков листьями, ежились от холода дикие яблоньки, голые, узнаешь по коре и по веткам. Сосны стали кряжистой, пошли не болота — озерки в ольховой кайме с березовой пробелью, и тропа привела в селенье, где и стали нючлегом.

Залесское Бунино — по первоселу прозвищем Буня. Дальше будет Красное Бунино — по Бунину сыну и соснам. И третье Бунино — Черное, по лиственному лесу. От первого Буни осталась память в названии, ныне здесь свыше полусотни дворов, хозяева которых собирались и от кривичей, и из вятицких, и с днепровского юга, подобно Буне. Таково было преданье, подтвержденное словом «Залесское». Ушел Буня, ища покоя, пробрался через лес, огляделся и тут же сел на тропе, сказав: «Вот поле мое, а здесь быть моему дому».

Лесополье или лесная степь — не поймешь — даже в серое предзимье чаровало глаза. Все-то по-своему, ни одна опушка на другую не похожа, все гривки свои собственные, каждая роща своя; вот дремучий лес, выпал тучей, заслонив небо, тропа повилывает опушками, прыгнет в чащу, и, гляди-ка, кончилась одна лесная пуца, другая начинается. И везде по тропе поселения. Но чем дальше от первого, от Залесского Бунина, тем дворов меньше, и среди них чаще видны новые дома, недавно поставленные службы, ограды, еще не вычерненные солнцем и дождями. Князь Владимир понимал и не спрашивал.

Не часты церквушки-часовенки и не высоки колоколенки с малыми звонницами, в которых чаще увидишь старинное било, дубовый щит, чем колокол, да и тот пуда на два, не больше.

Земля богата рудою, которую копают в болотах, плавят в домницах и сами себе делают из кричного железа все, потребное в хозяйстве, — от печного ухвата, гвоздей, конских удил, амбарных замков до рогатинной насадки, меча и шлема. Народ бывалый и гордый. Женщина без бус и ожерелья из дому не выйдет. Ведро несет на коромысле, скотину гонит со двора, сама в домашней посконине, а на шее ожерелье из кованого золота с разноцветной эмалью, в ушах серьги тонкой работы — здесь златокузнецы в почете, и дела им хватает, а куют из золотых монет, арабских, греческих, все годны.

Видишь селенья, и помнятся они, но более другого помнишь пустые поляны, помнишь леса, рощи без следа рубки. Обнаживши от листьев рощи, осень открыла глубины их, дико-нетронутые стены переживших все сроки деревьев, проломы, которые сделали поваленные старостью древние кряжи. Ручьи, запруженные бобрами, затопили округу, из воды торчат острые пни от срезанных умным зверем деревьев. Но тропа поднимает всадников на высокую гриву, и видишь кое-где крышу, кое-где поднимается дымок, то ли из очага, то ли из ямы, где пережигают дрова на уголь для плавки железной руды. Пахнет человеком, но слабо.

На шестой день увидели Берендеево озеро. Оно неглубоко, берега заросли камышом и по самой воде острова из камыша. Тропа вела берегом к речке Трубежу, которая спускает лишние воды берендейских ключей в другое озеро, на запад от Берендеева, — в Клещино-озеро, или Клещеево. У истока Трубежа высокий холм, по бокам поросший сосной, с плоской вершиной, без леса, но не лысой. От Трубежа были видны стросня за расплывшимся, отлогим валом.

— Кто там живет? — спросил князь Владимир. От торной тропы в сторону холма здесь и там отходило несколько узеньких тропочек, едва заметных в битой заморозками мертвой, серой траве; тропки терялись среди сосен, и было видно, что редко по ним ступала нога. За валом над изломанной, изрытой грядой почернелых крыш и стен, потерявших крыши, одно зданье главенствовало необычно острым шатром. Запустелое, печальное место.

— Почти никого там нет, — рассказывали проводники, — давно уж заброшено все, а держится и будет держаться, если молнией не зажжет, еще хоть сто лет. Все

ставлено из дубового бруса, его и червь не берет. Живет, ютится сколько-то чуди, по-здешнему — берендсев¹.

Владимир хотел поглядеть поближе, его удержали — не хорошо, не любят берендейские старики чужих, и глаз у них дурной. Не трогай их, и они тебя не тронут.

В стародавние годы здесь был город берендейского князя. Большой дом островерхий — его двор. Около, в особом строении, — берендейские боги. Берендеи поклонялись Солнцу, главному богу, чтили Луну, жену Солнца. Князь был богат, в город приезжали восточные купцы, продавали свои товары за меха. Погибли берендеи от мора в давние годы, еще до князя Святослава, когда на Руси начинались первые князья. Жили берендеи не отдельными дворами, не по-русски, а любили селиться большими общими домами сразу на много семей и все добытое и собранное делили по необходимости дня, откладывая излишек в общий запас, из которого и торговали через своего князя. От тесноты мор их погубил сразу чуть не всех, после чего подняться они не могли. Рассказывали, что в городе у них зарыто много золота, серебра, разных вещей. Но никто явно искать не ходил. Худо брать чужое, выморочное, заклатье на него наложено, лучше своего наживать, чужим богат не будешь, своего лишишься.

Миновали селенье при Клещином озере, богатое, многолюдное, с простым названием — Залесское. Еще день, еще — и явился Ростов Великий, издали видный: он вышел на самый берег озера Неро и встал гордо: гляди, мол, я весь здесь. И стоял, прочный, давнишний. А направо с него, отделенное и озером, и немалым куском земли, что-то блстело золотом.

Тропа повела левее и вверх. Ростов скрылся и вышел опять с возвышения, где приток Неро речка Сары делала колено, будто нарочно приготовив его для крепостцы Деболы, которую Ростов прикрывался с юга. Так-то! И дрвний, и Великий, и сильный, но без крепкой двери не жил и о дверях думал и укреплял их всегда.

Вот и конец пути. По деревянным мостовым новгородского образца проехали на княжой двор, пустой и холодный, — сторожа не ждали гостей. Зато оглянуться не успели, как из бани дым повалил: банька-то лучший друг с дороги.

¹ Предания о живших здесь берендеях держались еще в начале нашего века. Кроме названия, эти берендеи, вероятно, не имели ничего общего с южными кочевниками.

И, расседлав лошадей да расставив их по стойлам обширных конюшен, не спеша пошли все разбираться в холодном предбаннике, а оттуда, прикрывшись по обычаю, шагали, кланяясь низенькой притолоке, в самую баню. Ставлена баня при Ярославе новгородцами. В ней было всего побольше: не один котел, а четыре, не одна каменка — шесть, не две бочки воды — восемь, а полков, чтоб париться, и лавок для отдыха — все по тому же расчету.

Тела белые, шеи и лица от загара темные, будто приставлены. Раскаленные камни вздыхают от поддачи и тут же сохнут. Хорошо! Подсмотрев, что русские в банях делают, какой-то заезжий в те годы ужаснулся и без шутки, описав страшными словами горячий банный дух и березовые веники, заключил: никто их не мучает, сами себя мучают. Суждение это потрудились записать русские летописцы с улыбкой: умный не скажет, дурак не поймет.

На следующий день с княжого двора к Успенскому соборному храму двинулся торжественный ход. Впереди в белых стихарях шли ученики епископской школы, они же соборные певчие, шло ростовское духовенство в ризах, в золототканом облачении шествовал епископ Леонтий. Перед ним на чистых полотенцах несли дар Ростову Великому от князя Всеволода Ярославича — образ божьей матери, которую писал известный всей Руси иконописец Алимпий-киевлянин.

Образ писан на пальмовой доске, собранной из нескольких кусков поперечными врезанными связями того же дерева так искусно, что ни сырость, ни жар, ни холод не могли ее покоробить. Икона была одета в серебряную вызолоченную ризу, на которой тиснением изнутри повторялась закрытая часть; лица, руки божьей матери и младенца Иисуса были открыты прорезями ризы.

Образ несли князь Владимир и староста Успенского собора ростовский боярин Вахрамей Шляк. Сзади, смсшавшись с горожанами, шли княжие дружинники.

Плоский ящик из тонких досок, пропитанных олифой, набитый козьим пухом, засмоленный и зашитый в кожу, сохранял образ от поврежденья на длинной дороге.

Утро выдалось тихое, с легким морозцем; осеннее солнце в такие дни будто бы набирает силу. Подтаивал иней на крышах с юго-восточной стороны, деревянная мостовая почернела и делалась скользкой. Голубой благовест соборных колоколов — звонили торжественно и радостно, по-

пасхальному — сливался с благовестом трех других ростовских церквей и, разносясь по Неро, был слышен далеко по округе. От княжого двора до собора было не более полутысячи шагов, но шли долго. Епископ Леонтий велел пронести икону по городским концам — улицам. Сворачивали, поворачивали. Привлеченные пением и неожиданным в простой день звоном, ростовцы встречали дареную икону у ворот, крестясь, кланялись и присоединялись к шествию. Но не все. Иные, хоть и сняв шапки, не крестились и оставались на местах даже в русских улицах. Бывало, что муж оставался, а жена, забежав в дом, чтобы заменить затрапезную шубейку на праздничный шушун, переобуться и повязаться узорчатым платком, одна догоняла шествие.

Прошли мерьским и чудинским концами. Здесь к шествию мало кто пристал. Так же как в русских улицах, обитатели выбегали к воротам, так же ребятишки висли изнутри на оградах, выставя на улицы головы. И шапки снимали, и кивали черноволосыми либо беловолосыми нерусскими головами с нерусскими лицами, но не больше, чем из уваженья к чужому обычаю. Здесь-то и поскользнулся ростовский преподобный Леонтий так, что упал бы, не подхвати его сзади сильной рукой боярин Порей.

И все же в соборном храме не хватило места для всех. Снаружи остались сотни четыре, слушая оттуда благодарственный молебен, которым епископ встретил дорогой дар.

Угощая князя с дружиной и знатных горожан скромной трапезой — день был постный — на епископском подворье, преподобный Леонтий с шутливой досадой вспомнил о своей неловкости:

— Завтра в Пужболе, в Шурсколе, в Кумирне будут говорить — главный поп поскользнулся не к добру для себя. И пойдет бессмыслица расширяться, как круги от камня, брошенного в воду. Дойдет до Мурома, влезет зверем в леса, и бог весть что наскажут.

— Пустое, владыка, темные люди, однако ж просвещаются, — заметил ростовский боярин Шляк.

— Я говорю к тому, — возразил Леонтий, — чтоб молодой князь знал. Здесь язычников едва ль не большая половина. Ты, князь, не видел, когда подъезжал, за озером против города нечто блестело?

— Видел, — отозвался Владимир.

— Это и есть Кумирня. Видишь, в виду Ростова Великого стоит идол! Будто слон непомерный вскинулся на задние ноги. Сложен из дерева. Голова громадная, в ней человек помещается. Вызолочена — она-то и блестит. Снизу

есть дверца, внутри идола лестница. По ней главный ихний вешун, именем Кича, поднимается в голову и оттуда кричит, через идольский рот.

В Ростовской земле русских было меньше, чем иных народов. Даже из русских есть люди старой веры, что ж говорить об иных, — рассказывал Леонтий. Свою паству он ласкал по-святительски, пугал по слабости человеческой. И не нужно бы, а сорвется. — Терпение есть высшая добродетель, князь милый. Прадед-то Владимир мудр был, мудр. Князь Борису дал он Ростов, князь Глебу — Муром. Почему? Добрые были они сердцем. Крестить — не мечом рубить. Но епископов он послал из греков, не было наших-то. Греки же не выдержали. Оба преподобных — и Феодор, и Иларион — удалились, не постыдившись сказать, что бегут от ярости язычников, избегая неверия и досаждения от людей. Такими словами записано в Ростовской летописи, и осуждения епископам-беглецам не высказано, ибо они те же люди и так же смерти боятся, особенно в чужой земле, где они подобны немым.

Ростов Великий был заложен новгородцами в древнейшие годы старых князей, когда и Киев еще едва начинался, как рассказывал князю Владимиру Шляк, ростовский боярин. Лет не меньше четырехсот тому назад новгородские первоселы от Белоозера пошли Шексной в Волгу, Волгой — в Которосль, Которослью вышли на Неро-озеро и восхитились месту. Раньше этой легкой дорожкой ходили малые ватажки торговать с мерью да и самим поохотиться. Переселиться же вздумали по ссоре. Праотцы наши не поладили из-за девушки, именем Сбислава. Сама шла замуж, отец с матерью не отдавали, выкрали ее. С того времени пошла вражда, и двадцать три, двадцать четыре ли семьи вышли из Белоозера на Неро. Сели они вначале в сарском колене, где нынче крепостца Деболы. Стали расти. От тесноты вышли сюда, землю купив у мерьян за две золотые гривны.

Шляк был поместный ростовский боярин, не княжеский, но родовой. Владел изрядной землей, стадами, в своем большом хозяйстве управлялся силами закупов, наймитов и холопов. В холопах у Шляка были купленные им пленники из торков, из печенегов, были и русские, взятые за неоплаченный долг. Таких, как Шляк, в Ростове насчитывалось более ста человек, именовавших себя старым боярством. Ниже их стояли меньшие богатством землевладельцы. Занимались и ремеслом, однако же каждая семья владела пашнями и держала скотину. На ростовском торгу

бывали четыре раза в год большие съезды. Приезжали иногородние купцы даже из Новгорода, из более близкого Муром, из молодого Ярославля, из Гороховца и Стародуба-на-Клязьме, с нижней Оки из Коломена, Борисо-Глебова, Ожска, Козаря, Рязани, Копонова. Приплывали и приезжали болгары из волжского Булгара. Болгары продавали восточные товары, шелка, ароматы и женские притирания, сушеные плоды, сахар, перец, яркие ткани тонкой выработки, шкурки мелкозавитой овчинки, серой и черной, называвшейся каракуль. Вместе с болгарами такие же товары привозили арабы. Иноземцы покупали воск, мед, неоправленные клинки оружия русскойковки, кожи крупного скота и пушные меха: соболя, бобра, лесной куницы, норки, выхухоли, горностая, белки, и грубые — медвежьи, волчьи, рысьи. Приезжие не могли купить за свои товары все, что хотели, и всегда оставляли много золотых монет разной чеканки, разного веса. Такого уж золото, ходит и ходит по всему белому свету, пока не изотрется в руках и в сумках так, что перестает быть монетой и берут его только на вес.

Ростов Великий принимал княжеского посадника, но управлялся тысяцким по выбору веча. На вече голос давал каждый свободный человек, как и в Новгороде. Будто бы в древности Новгород и пробовал сохранить за собой Ростов, как пригород, присылая от себя посадника. Коль такое и было, то память о том твердо не сохранилась. Ушло от Новгорода и Белоозеро. Теперешние ростовцы считали своим Белоозерье почти до Онежского озера, коренного владенья Великого Новгорода. Тянула к Ростову и вся Клязьма, и волжские верховья с Тверью, Ржевом, Зубцовом и Волоком Ламским. За то Ростов и звался Великим, подобно Новгороду, родине, но удаленной во времени так, что о родстве помнят, в делах же родством не считаются.

Спокойно в Ростове Великом. Нет и не ждет никто засылки от Всеслава. Нужны ли ростовцам смуты и персмены, нужно ли им примерять себя к князьям, князьям — к себе? Не к чему. Пользы в этом для ростовцев не было. Однажды в год на общем вече ростовцы подтверждали раскладку дани, платимой на князя. Раскладку составлял ростовский тысяцкий по богатству домохозяев.

Через несколько дней молодой князь пустился в новую дорогу, в Суздаль. Путь короткий, все-то сто верст с небольшим. По высокому мосту на крепких устоях через Ко-

торось проехали в большое село Угожи. Там князя встретили с теплой дружбой, заставили сойти с коня и повели в красивую церковь, посвященную святым Кирику и Улите. Старый, но заботливо подновляемый храм размерами был не менее ростовского соборного.

Отслужили молебен, угожане не выпустили князя — понравился им он молодостью, обхождением. Может быть, и тем, что одет был просто, не выделяясь в десятке своих спутников. Год хорошо урожайный, и жители Угожей рады были случаю лишний раз попировать. Гостей завели в лучший дом, кому под крышей места не хватило, для тех столы на улице поставили, благо день был с сухим, легким морозцем. Здесь, пробуя разных грибов тридцати способов соления — к грибам в Переяславле не привыкли, — Владимир узнал причину угожанской любви ко княжескому дому. В год, когда его прадед и тезка приехал в Ростов звать русских креститься, угожане первыми прибежали, ибо среди них было достаточно людей новой веры, не как в Ростове. Нашлись старые старики, помнившие Бориса и Глсба. А тех, кто видал Владимирова деда Ярослава, оказалось не один десяток. Первый раз Ярослав приходил в Ростовскую землю тридцать пять лет тому назад усмирять язычников. Были дожди с весны, все лето лило, хлеб и вся огородная овощь вымокли, получились недостатки и голод. Язычники проповедовали, что тому виной новая вера, что надо все храмы пожечь и понудить христиан поклоняться старым богам. Князь Ярослав с дружиной несколькоких волхвов побил и язычников испугал. Он по Которосли вниз спускался до Волги, где город своего имени поставил, нареча его Ярославлем. А до того там был безымянный поселок из пятка дворов. Жители держали перевоз через Волгу на луговую сторону. Тогда же на Ярослава бросилась нечаянно потревоженная им медведица. Князь перебирался через овраг, ведя коня в поводу, и зверь на него навалился сдуру — при медвежатах медведицы злобны, особенно старые. Ловок был князь Ярослав, ножом одолел матерую, было в ней более двенадцати пудов. Город Ярославль стоит между Волгой и Которослью, а с третьей стороны у него этот овраг, с той поры прозванный новоселами Медведицей.

Наутро отпустили от себя угожане гостей. Трех верст не прошли по Суздальской дороге, как за перелесочком, будто нарочно, как стенка, оставленным на южной меже угожанских полей, открылись поля мерьской Кумирни. Небо синело поздним рассветом короткого дня, тоненький

слой снежной крупки пробивала щетина жнивья, по вялым озимям ходил скот. Мерьские дома заслонялись высокими кладями снопов, свидетелями щедрого урожая; все, как в Угожах, не будь в середине селенья высокого холма, не будь на холме мерьского Кумира.

В Переяславле, в Чернигове, в Кисеве князь Владимир привык видеть мраморные статуи старых эллинских богов. Их издавна привозили из Тмуторокани, из Таврии, из греческой империи. Их любили за красоту, так же как камнегеммы с выпуклыми изображениями человеческих голов, людей, зверей. В мерьском идоле было нечто от эллинских статуй по соразмерности частей тела, и Кумир не был уродлив. Однако же дерево не мрамор, и строитель не отделил рук от тела; спустив их вниз до локтей, он сложил кисти на животе Кумира. От пят до темени Кумира было сажен пять. Пояс его был охвачен золоченым железом с кольцами, с которых свисали канаты, плетенные из ремней, чтобы укрепить Кумира в ветреные дни. Безбородос лицо напоминало личины, которые еще теперь надсвали в греческих театрах. Ниже пояса Кумир был укутан меховым плащом. Позолота на голове была свежа, как наложенная вчера.

Скуластые, узкоглазые мерьяне встречали князя с его малым поездом, приветствуя по-русски — «здоров будь», и кланялись по-русски же, и пришлось Владимиру кивать в обе стороны, держа в руке бровную шапку с оторочкой из рысьего меха, подарок боярина Шляка. Миновали холм с Кумиром, недалка была околица, как путь преградили с сотню мерьян, мужчин и женщин, стоявших не толпой, но двумя плотными рядами. Навстречу широким шагом вышел нестарый мерьянин в белой льняной одежде повсрх шубы и обеими руками поднял над головой очень высокую шапку горностаевого меха.

— Это Кича, ихний главный колдун, а за ним вся старшина, — негромко объяснил проводник.

Владимир спустился с коня и сделал несколько шагов навстречу Киче. Тот, надев шапку, протянул руку, будто пытаясь остановить князя, и спросил чистой русской речью:

— Скажи, что есть зло?

— Ложь, беззаконие, насилие, убийство, воровство, — быстро ответил Владимир.

— Так, так, — кивнул Кича. — А что есть добро?

— Правда, закон, любовь, — так же просто сказал Владимир.

Кича, повернувшись к своим, прокричал что-то померьски и, сняв шапку, низко поклонился со словами:

— Будь же князем долгие годы, когда получишь отцовскую отчину. Будешь по правде, по закону жить, мерьяне твои люди. Будет ложь, беззаконие, убийство — не твои будут мерьяне.

Расступившись, мерьяне открыли низкую скамью, покрытую чистым рядом, и глубокую мису с ковшиком в ней. Кича, захватив полный ковш, дал князю.

— Пей, да будет всегда мир между нами!

Выпив густой браги, Владимир вернул серебряный, тонкой работы, ковш, и Кича, зачерпнув, выпил сам и передал ковш соседу, и пили все, один за другим, и мерьяне, и провожатые Владимира, а в мису добавляли и добавляли брагу, таская ее из ближнего дома.

Молодой князь всю зиму кружил по Ростовской земле, беря с собой по несколько человек из дружины, и ростовцы про него говорили: «Волк голодный столько перессков не набродит, сколько наш молоденький наскакал». Владимир побывал и в Ярославле на Волге, в Рубленном городе, как называли первое поселенье за валом, венчаным рубленой из бревен стеной с шатровыми башнями. Не любя тесноты, русские уже перелились за стену, и являлся новый город, молодой, за земляным валом, по которому и кличка ему была — Земляной град. Показывали ему и место в овраге, где, не желая того, дед Ярослав осиротил медвежат. Ныне через овраг бросили мост, соединивший Рубленный город с Земляным.

В первую свою поездку из Суздаля Владимир отправился к югу на Клязьму, по зимним тропам, прямым и удобным. Такими же тропами его провели в Муром на Оке. В этом пути молодой князь встречался с язычниками — муромой, племенем, куда более в себе замкнутым, чем ростовская мерь. Гостеприимство оказывали неохотно, беседовали еще неохотнее, ссылаясь на незнание русской речи, хоть и знали все нужные слова.

Трижды Владимира захватывали снежные бури, трижды выручал лес, где, нарубив еловых и пихтовых лап, путники спасали себя и лошадей, уставляя заслоны между деревьями, накладывая те же лапы на жерди, как крыши, и сидеть могли бы до лета, будь что на зуб положить и себе, и коням. Оголодав, тащились пешком и за собой тащили за повод изможденных лошадей, но ни одного человека не потеряли. Однажды матерой сохатый вбил Владимира в снег и раздавил бы грудь рогами, не будь высок сугроб и не по-

моги князю боярин Порей, успевший достать острым клинком широкое лосиное сердце. В феврале, когда волки свадьбы гуляют и становятся смелы почти что как люди, злобный зверина крупной лесной породы махнул на круп княжой лошади и схватил ездока за плечо. Владимира спасла толстая одежда да собственная ловкость — и в седле удержался, и рукавичку сбросил, и нож успел вытащить, и рукоять не скользнула в кулаке, не изменили и сила с меткостью вместе.

То все — пустое. И в ночлегах на снегу, и в седле, и волоча за собой отощавшую лошадь, и под лосем, и под волком Владимир по праву пожинал посеянное за девять лет богатырской науки, которую проходил с семилетнего возраста, учась охотно, не прося и не давая себе поблажек. В своих походах по Ростовской земле Владимир заметил, что и устает-то он будто бы менее других, и лошадь под ним бывает к вечеру свежее. Конь под умелым всадником облегчен на четверть груза, как считают бывалые конники.

Иное было значительным, иное заботило: люди. После союза с мерью, заключенного мерьскою брагой, Кича, проводив во главе сбежавшейся толпы гостей до околицы, там сделал знак своим, чтобы отступили, а княжьей свите махнул — поезжайте, мол, и обождите, сам сел на жерди, князя сесть пригласил и сказал:

— Ты, князь будущий, храб и доверчив. Не задумавшись, испил ты первым из чужого ковша чужой браги. То — добро. Что ты будешь за князь, коль ты станешь трястись перед глотком и раньше тебя будут пить и жевать ковшники со стольниками. Тебя отец с матерью хорошо учили. Ты мне ответил не своими словами, а ихними.

— А откуда ж ты знаешь? — перебил князь Кичу.

— Быстро ты ответил, не по мысли, а по заученному говорил, — усмехнулся Кича, забирая превосходство опыта над младостью. — Но, слушай меня, заученным не проживешь. Ты мне полюбился. Другой же, по твоей простоте, угостит тебя смертью в ковше. И — не убережешься. Одно нам, князьям, спасенье: сумей жить по словам, которые сказал. Различай злое от доброго. Доброе сильнее, да труднее. Нам, князьям, большая забота: все по совести делать нельзя, а сколько можно делать без совести, того нигде не показано. Ступай, будь удачлив. Пока на тебе ничьей крови нет — пей, ешь, не думай. Я на твое имя заговор сделаю для добрых дел.

В городе Муроме посадник черниговского князя Святослава жаловался старшему племяннику своего князя на

дикую мурому, племя упорное, закоснелое в язычестве: плохо дани дают, хоть и легкие дани наложены, не хотят платить, чтобы на храмы да на попов деньги-де не шли. Жаловался и приходской причт. Обиды были, как видно, взаимные. Город на вид беднее Ростова Великого, а люди — богаче. На муромских лесных полянах хорошо родился хлеб, в пойме Оки отгуливались стада, леса были щедры пчелиными бортями, пушшиной. Рук не хватало, чтоб поднять землю, взять богатство от леса и рек. В Муром приходили купцы из тех же стран, свои, не столь дальние, и недалекие болгары, и далекие арабы с греками. Сотни лет меняли, давно пробили дорожки, давно покупали, привыкли делить между собой торги: кто шел в Муром, кто в Ростовскую землю, кто на Белоозеро. По Костроме-реке поднимались до Сухоны-рски, спускались в дальние новгородские земли, искали прибылей на широкой Двине, которая уходит в соленое Белое море. Русские купцы шли навстречу иноземцам, вызная цены на свои товары и гонясь за большей прибылью, чем получали, сидя на месте: под лежащий камень и вода не течет.

Ближе к весне путь был в Галич Мерьский, который стоит на реке Вёксе, текущей из обширного Галицкого озера в реку Кострому. Подобно селеньям на берегах Клещина-озера, подобно Ростову Великому и Мурому, город Галич был устроен на широкой поляне среди лесных пущей. Из Галича Владимир съездил в Чухлому, стоявшую тоже на поляне и тоже вблизи озера. Чухлома — выселок Галича и столь же древня, как самый Галич.

Едва успел Владимир вернуться в Ростов Великий, как пошли с гор потоки, на полянах снег осел, в лесу изрыхлился, на соснах забормотали лесные тетерева-глухари. Вся птица возрадовалась, синички-сестрички порхать стали парами, а бескрылым не стало ни проходу, ни проезду, а всего более заключила весна человека: И воздух особенный, и вдаль тянет куда-то, а ходу нет совсем — жди, пока не вернутся в свои берега радостные и грозные вешние воды. На озере лед всплыл, оставив между берегами и своей порыхлевшей и сорной поверхностью широкие забереги. Пролетная птица валила на север, на север все шла и шла стаями-тучами, падала на лужи, на забереги, и тесно в них становилось, как во дворовых загонах, набитых овцами, ошалевшими от весны.

Перед самым распутием прибыл последний гонец с отцовым письмом, с материнскою грамотою. Оба наставляли

сына, каждый по-своему. Писали — отец по-русски, мать — по-гречески. Слова разные, смысл один.

Ростовская весна странно запаздывала против переяславской, и — простое познается непросто—кто-то объяснил молодому князю еще одну разницу между севером и югом.

Необычно удлинились дни, короткие ночи озарялись сиянием северной части неба: там, за окоемом, в Белоозере, говорят, ночью можно вставить нить в игольное ушко. Тут с юга прибыла весть: князь Всеслав бежал из Киева, князь Изяслав сел на свой стол, а Владимиру велено спешить во Смоленск — охранять город от козней лукавого оборотня.

Собрались без спешки, зато быстро. Епископ Леонтий, отслужив молебен о путешествующих, благословил молодого князя и его дружину. Прощаясь, Владимир хотел остеречь ростовского святителя от рьяности в деле обращения язычников, слова приготовил, про себя речь повторил о том, что язычники перенимают у русских, учатся, отбирая полезное для себя из вещей, слушают они и поучения, когда поучающий не торопится. Пора бы начать, но Владимир спросил себя: а кто ты, чтоб наставлять епископа, он же тебе едва ль не в деды станет. И промолчал.

Владимир вспомнил о робости своего языка через несколько лет. Ростовский клирик, который плыл помолиться афонским святыням, рассказывал в Киеве:

— Преосвященный Леонтий спустился восточной Нерлюю в Клязьму, Клязьмой плыл до Луха-реки, Лухом поднялся верст более ста до места, где истоки. Там среди непролазного для чужих леса поставлено на изрядном поле муромское капище. Около живет много муромы. Преосвященный им три дня проповедовал истину неустанно. На четвертый день еще затемно пришли ко мне двое муромов толковать: ты-де скажи попу, шел бы он, откуда пришел, добром, не то плохо ему будет. У него на лице знак смерти положен, пусть в другом месте умрет. И собака его ныне ночью выла к худому, мы слышали. Что за знаки, мы, клирики, не видали, а собака выла, это верно. У преподобного собачка была небольшая, он из милости щеночка брошенного подобрал. Так было, — вздохнул клирик. — Ободняло совсем, а преподобный все спит, и собачка у него в ногах утихла. Мешала она ему ночью, он и заспался. Мы отошли — шестеро провожатых нас было, — судим между собой, как быть. Проснулся преподобный, нас упрекнул, что не разбудили его, и встали мы на молитву. Отец Леонтий отслужил литургию пред дерновым алтарем, нас при-

частил святых даров и сам причастился. День-то пришлось воскресный. Тут мы, к нему приступив, настаивали, чтобы проповедь закончить и назад нам идти. Преподобный сурово попенял, мне особо, да так, что стали мы у него прощения просить. Дескать, не о себе просим, а о нем. Он отвечал: «Я в жизни сей подвизался добрым подвигом, ныне стар, течение жизни совершил и веру сохранил. Чего да кого мне бояться!»

Оглянулись мы: много муромы сзади собралось, и женщины среди них, и дети. Преподобный Леонтий нам приказал: «Здесь оставайтесь, я один пойду». И пошел, а песик за ним потянулся. Преподобный цыкнул, вернулся песик к нам, но опять пошел к хозяину. Преподобный остановился перед муромой, а они — как стена, не пускают. Что-то он говорил, а потом крест поднял, они расступились, пропустили, сомкнулись за ним. Мы хотели повинование нарушить, за ним бежать, не тут-то дело. Наскочила на нас мурома с дубинами, с веревками. Приказали тут и стоять, иначе свяжут. А не дадимся вязать — дубинами перелобанят. Среди них те, кто со мной ночью говорил. Грозятся: поздно, теперь нет вам хода. Оружие у нас было кое-какое, в пути против зверя оборониться, но все в лодье оставлено по приказу преподобного. Да и то сказать, весь в броню оденясь; шестером против сотен не попрешь.

Ждем. Там поле к капищу поднимается, и мы видим, как преподобный идет по тропочке, а за ним мурома идет, спереди же, от капища, навстречу другие идут. Остановились примерно от нас в версте. Не слышим ничего, но видим, — преподобный крест поднял. Крест у него был в два аршина с половиной, деревянный, расписанный. Живь, думаем. И вдруг как из капища услышали мы гудение деревянного била. Сгрудилась мурома, крест упал. И мы со слезами на землю повалились. — Тут клирик без стеснения заплакал. Оправившись, продолжал: — Сколько-то времени прошло, не знаю, как мурома приказала — вставайте, ступайте туда. Встали мы. Вижу, толпа муромов расходится, уходят в свое капище. Побежали мы. Ох-хо... Всего-то переломали, затоптали, тут же палки на него набросаны, а пес визжит, кровь у него с лица лижет и на нас бросается... Собаку-то они не тронули.

Отнесли мы его к реке, обмыли. Пошел я к муроме и говорю: «Бог вам судья, дайте хоть колоду да меду дайте, чтобы тело домой отвезти, и возьмите, что хотите». Ответили — так дадут, даром, чтобы мы поскорее уходили. И

дали. Солнце не успело стать на полудень, как мы тело в меде утопили и от берега оттолкнулись. А песик пищу из рук брал, но тут же выбрасывал и на четвертый день подох. На бережку зарыли мы его.

Владимир рассказал о невыполненном своем желании. Клирик рукой махнул:

— Эх, князь, князь, ему и твой отец приказал бы, и митрополит запретил бы, все одно, что твое слово... Меж человеком и совестью только бог может встать, остальным — не поместиться. Будешь жить, испытаеть.

Тогда, получив благословенье епископа, Владимир пустился на юг, ко Клещину-озеру. Два дня ушло на дорогу, зимняя цена которой от силы верст пятьдесят, но в пору раннего лета к ним и все сто прибавишь. Зато западная Нерль понесла в Волгу сама. В Усть-Нерли, называвшемся с недавнего времени Кснятином — по храму святого Константина, нерлинские плоскодонки поменяли на глубокие волжские лодьи и на двух лодьях пошли по Волге против течения, держась затишных берегов, под которые не била струя.

Как прошлым годом на Оке, так и в нынешнем гребли все на каждой лодье, имея на отдыхе сменных на каждое весло. То ли недавний пух на бороде и усах начал курчавиться волосом, придавая молодому князю мужской облик, то ли нечто более для себя значительное привыкли в нем видеть дружинники, но на этом пути получалось, что распоряджений ждали не от боярина Пороя или от других старших возрастом, а от князя. Старшие дружинники-бояре привыкали спрашивать Владимира: что сделаем?

Волга была оживлена движеньем, подобно киевским улицам. И вверх шли лодьи тяжелогруженные, которые тащили бечевою лошади или люди, шагая по береговым тропкам, которые так и назывались — бечевники. Когда берег делался неудобен, лодью подтаскивали ближе, люди забирались на нее и веслами да шестами перепихивались к другому берегу. Как положено на улице, селенья большие, малые и совсем крохотные — в два-три двора; не выходили из глаз. Ни одни рыбные тони, ни одни заливные луга — к Волге тянул самый шум ее, сама ее многолюдность, легкая купля-продажа, совершавшаяся на плаву. И бечевою заработок, доступный, легкий: пара лошадей тащит вверх тяжелогруженую лодью, и всего-то нужен для такого дела один паренек лет двенадцати. К тому добавить работу по

поддержанию бечевника, которую делали общими силами все, кто занимался промыслом, каждый в своем месте.

От Усть-Нерли до Зубца, где устье Вазузы, — триста верст, а шли их трое суток. Вверх по Вазузе до города Былева и до Гривы-волока — сорок верст трудных: вода сильно шла, захватив поймы, и сильно сносила; на стремнинах едва пробивалась.

На Гривской переволоке людно, а тихо, все при деле или ждут дела. Чуткое на слово ухо здесь слышит «у» вместо «в». Договариваясь о плате за переволоку, артельный старшой скажет «усе соделаем» вместо «все сделаем». Но таковы уж русский язык и русское ухо: дня три-четыре будешь замечать смолянскую речь, будто порченная она, на пятый же сам будешь сажать вместо «в» «у».

На берегах вместо причалов поделаны для людей взводы, они же спуски. Два бревна концами втоплены, по-смолянски — «утоплены у воду», на сухом месте к их концам прирублены другие, далее — третьи. Размах между бревнами и в два аршина, и в сажень, и более, чтобы с воды между бревнами-ходами могла войти любая лодья. Изнутри ходовые бревна отглажены стругами, смазаны салом. Наставив лодью, ее за корму охватывают канатами и тянут либо людьми, либо лошадьми. Лодья идет легко до конца ходов, у которых ждут длинные дроги с такими же на них ходами. Дроги тоже разные — по лодьям. Привязав лодью, запрягают лошадей столько пар, сколько нужно, и везут по дороге спускать в Днепр по таким же ходам. Дело старинное, волоковые мастера опытные, работают споро: деньги-то получают не за время, а по ряду, им выгодно скорее от одного дела отделаться, к другому приделаться. На волоке не одна артель, не две, не три. Замешкаешься — отобьют заказчика. У каждой артели свои взводы-спуски, а волоковая дорога общая. Они же торгуют новыми лодьями. Старинные лодейщики умеют дерево выбрать, бревно выдержать, обводы распарить и выгнуть, собрать лодью, засмолить, и будет она служить тебе до твоей старости. Строят они и другие лодьи, грубо сколоченные из толстых досок и бревен, пригодные плыть только вниз, на одно плаванье. Такие совсем дешевы, и служат они тем купцам, которые спускаются в степные места, где, распродав товар, продадут и лодью для поделок, на топливо.

Князю с дружинниками покупать-продавать было нечего, менять свои лодьи они не собирались. Артельщики, не мешкая, выволокли обе лодьи по салом смазанным ходам, наставили на дроги и повезли к Днепру. Дорога верст де-

сять, не больше. Ее прошли пешком, разминая ноги, не спеша поспевая за дрогами. На сухом этом пути встретились знакомые переяславцы, черниговцы, киевляне, отправлявшиеся на Волгу, на Оку, новгородцы, плесковцы-псковичи, правившие путь на юг. Узнали новости не слишком новые: князь Изяслав сидит в Киеве, князь Святослав — в Чернигове, князь Всеволод вернулся из Курской земли в Переяславль. И другие новости, посвежее: князь Изяслав послал сына своего Мстислава в Полоцк. И полоцкий князь Всеслав, дабы не чинить своей земле разоренья, не дожидаясь, ушел из Полоцка, и где он — не вдают. А Мстислав Изяславич сидит в Полоцке и держит Полоцк для Изяслава.

— И сидели бы все, да сидели бы, князь милый, правду говорю, уж сидели б все дома бы, а уж мы-то, купцы-то, уж сновали бы, говорю тебе, князь милый ты наш, уж мы-ста, купцы-те, сновали-то! Вот, считай, загибай пальцы-те! Купец хлеб, кожу, сало, мед и всякое там у христианина купил, ему прибыло? Раз! Княжому тиуну вывозное заплатил, князю прибыло? Два! Христьянину за провоз до Волги, к примеру, уплатил, ему прибыло? Три! Лодью купил, лодейщику прибыло? Четыре! Гребцам платил, им прибыло? Пять! Артельщикам за перевозку платил, им прибыло? Шесть! Бечевникам за тягу платил, им прибыло? Семь! В Смоленск, к примеру, приплыл, за воз товару на торг платил, им прибыло? Восемь! Княжому тиуну привозное платил, князю прибыло? Девять! На свои товары другие купил, опять кому прибыло? Десять! Далсе оставим счет, не разуваться же! Эх, князь, князь молодой! Это ж невозможно сосчитать, сколько да кому от купца прибывает!

Так рассказывал Владимиру бойкий купец из Коломення, знакомый по прошлой осени. И он князя узнал, и князь его узнал, чем купца порадовал: один раз виделись в церкви, слова не сказали друг другу. Вот она, молодость-то, памятьлив глаз-то, раз один лишь заметил, поди ж ты!

— А князь молодой в себе поизменился! Омужел сильно. Оно ведь так, мужское дело-то, сначала в рост идешь, потом вширь, плечи — они-то раздаются, грудь глубже становится, вот он, голос-то, и гудеть начинает. Рубаху-то да кафтан небось к весне новые шить пришлось? Ну, омужел, ей-ей, омужел, — радовался бойкий коломенец. — Новая отцу с матерью забота приходит — сыну пора закон совершить. Невесту ищут небось?

— Хватит тебе, хватит, заговорил князя совсем, — перебил купца его товарищ. — Ты не гнись на него, князь. Мы с ним на паях торгуем десятый год. Я уж привык, а поначалу приходилось ему рот шапкой затыкать.

Кого-то не повидашь на путях-дороженьках! Коломонец правильно подметил. У Владимира был дар, пока еще им самим не замеченный, навечно запоминать людей, однажды виденных, и имена, услышанные хотя бы раз.

Враг, неприятель, недруг, противник — имен ему много, зови как хочешь — опасен более всего, когда неизвестно, где он. Подкупивши съестного, пообедав на переволоке горячим, заев пирогом со сморчками, раннелетним грибом, Владимирову дружина уселась в спущенные в Днепр струги и пустилась вниз.

Всего от воды до воды истрачено было времени часа три. Немногим скорее бы одолели такое же расстояние, идя на веслах против течения. Водяной путь хорош, когда на переволоках порядок. Волок — всего пути голова. В Смоленской земле сошлись главные волоки: с Волги через Вазузу в Днепр, которым Владимир прошел из Ростова Великого; с Днепра на Угру либо с Угры в Днепр у Дорогобужа; с Угры в Десну либо с Десны в Угру у Ельни; с Днепра через Касплю в Ловать у Усвята; из Двины Западной через Торопу у Торопца в Ловать же; в ту же Двину через Касплю. С помощью этих волоков, старых, известных, с мастерами умелыми можно проплыть-проехать во все русские земли и города и во все иноземные владения: к булгарам, арабам, туркам, грскам, латинянам в Италию, ко всем германцам, к датчанам, шведам, норманнам, французам, — словом, здесь путь во весь белый свет. Потому-то и погнал князь Всеволод сына своего Владимира в Смоленск на усиление князь Изяславова тамошнего посадника: чтоб Всеслав Полоцкий не учинил чего над волоками. Тут сраму не оберешься, на всю землю разнесут худой слух: князья города держат, а на волоках проходу нет.

По большой еще весенней воде Владимировой дружине удалось одолеть триста пятьдесят верст до Смоленска чуть больше чем за двое суток. Могли бы и быстрее дойти — вода помогала, сама унося лодьи за сутки верст на пятьдесят. Мешали камни в русле. Пока плыли до Дорогобужа, пробили дно одной лодьи. Хорошо, что село было близко, а там мастера справились быстро.

Вошли в речку Смядынь — смоленскую пристань. Вот и Смоленск на горе.

В субботу князь Владимир вышел из Ростова Великого. Через второе воскресенье, в понедельник, ступил на смядынскую пристань. Сколько выходит? Восемь суток дороги, прибыли на девятые.

Лето шло без покоя: ждали появления Всеслава. Мстислав Изяславич сидел в чужом для него Полоцке, будто в частом кустарнике: и впереди шорох, и за спиной шорох, и по бокам шуршит. Не поймешь, то ли зверь крадется, то ли мышь невинная возится. И чем более ждешь, чем более слух настораживаешь, тем шума больше, не поймешь, идет ли, ползет ли, летит ли, либо это у тебя самого кровь бьется в ушах, и собственное затаенное дыхание свистит.

Так же и в Смоленске было. Слухом земля наполнилась, и там Всеслава видели, и там о нем слышали. Получалось — в один и тот же день являлся Всеслав и под Менском, и в Дрютеске. Эти-то города хоть не так друг от друга удалены. Но как он мог в тот же день выгнать Всеволодова тиуна из Мстиславля! И тогда же забрать Торопец!

В Полоцке Мстислав Изяславич умер от болезни. Новые слухи пошли: кровью захлебнулся, от страха скончался. Его не любили за жестокость, с которой он в Киеве гнал людей, заподозренных в разграблении княжой казны после бегства князя Изяслава, да и в Полоцке он себя показал не добром. Люди осторожные к своей душе и благочестивые, поминая латинское присловье: о мертвых говори либо хорошо, либо ничего, избегали говорить о Мстиславе. Тем и они его осуждали.

По причине постоянной опасности князь Владимир не мог, как в Ростове Великом, утолить свою жажду к движенью. Ему довелось познать Смоленскую землю короткими путями. По Днепру плывал до Орши, сухими путями ходил на Касплинское озеро, а в другую сторону, на юг, в Погоновичи, Василев и Мстиславль.

Днепр — дорога ровная, верная. Редкая неделя кончалась, чтобы не было писем от князя Всеволода, от материкнягини, от младшего брата, Ростислава, от сестер. Вверх из Переяславля, из Киева, из Чернигова письма шли и восемь дней, и девять дней. Вниз Владимировы письма поспевали на двое суток скорее.

Перед становленьем рек гонец привез сразу два письма, от князя Всеволода и князя Святослава Черниговского, старшего отцовского брата. Святослав писал племяннику,

чтоб тот готов был подать помощь Святославу сыну, Владимирѹ брату двоюродному, Глебу. Глеб Святославич сидел в Новгороде. Отец велел Владимиру во всем слушать дядю Святослава, как если бы сам он, Всеволод, сыну что приказал. Речь же шла о Всеславе, будто бы полоцкий изгой собирается идти на Новгород. Пришлось Владимиру задуматься: почему дядя Изяслав Киевский молчит, почему отец с дядей Святославом не пишут, что Святополк Изяславич, посланный в Полоцк на место умершего Мстислава, должен против Всеслава делать? Почему ему-то, Владимиру, не приказали на помощь Глебу идти вместе со Святополком? Будто бы нет ни Полоцка, ни Святополка! Советоваться было с кем. Смоленский епископ славился умом. В дружине у Владимира кроме боярина Пороя были и другие надежные бояре, старые опытом. Русские князья советовались с дружинами. Законом такое писано не было, но обычай прочнее закона: закон выдумать можно, обычай от жизни идет. Порешив вместе с князем, дружина охотой за князем идет, доброй волей брони надев. Добрая воля сильнее клятв-обещаний и крепче крестного целования.

Однако ж молодой князь ршился про себя думать: дурак думкой богатест, умный и подавно. Владимир собирал, раскладывал, складывал, примерял. Получалось — не ладно между младшими Ярославичами и Ярославичем-старшим. Старший из рук младших принял Киев. В Кисве не любят Изяслава, тихо отъезжают к Святославу в Чернигов, к Всеволоду в Переяславль. Да и с криком бегут. Свободному человеку дорога не заказана, иди, куда хочешь, живи, где сможешь прокормиться. Да не каждому хочется покидать насиженный уголок и могилы отцов. Такие смотрят на досадившего князя как на помеху и ждут не обычного веча, где судят рядовые дела, а изрядного, когда Земля колыхнется.

Вспоминалась угроза: извергну тебя за то, что ты не холоден и не горяч, а только тепел. Нет у Изяслава большой вины перед Киевской землей, чтобы, покаявшись, искать мира, любви. Нет и заслуг, чтоб за него Земля держалась. И в Ростове Великом, и среди смольян говорят про Изяслава: отец у него князь был, а этот ни в тех и ни в сех.

Уже крепко ковал мороз. На Днепре лед был еще неснадежен, а на Смядыни держал лошадь. Снегу мало, со льда сдуло порошу, и можно было любоваться через лед, через прозрачную, как слеза девичья, воду дном, поросшим водяными растениями. Видно все, как рукой достать. Топор

уронили — вот он, лежит, зарывшись железом, приподняв топориче. Старая лодья, выставив поломанные ребра, на которых когда-то держались обводья, загрузла набухшим долбленным днищем в мягкий ил, сразу и не поймешь, что лежит. Рыбы проходят у тебя под ногами стайка за стайкой. Вдруг в сторону взяли. Им навстречу идет острорылый осетр по самому дну, как ползет, и под его церьями взмывают мутные облачка ила — как пыль на земле. Ребята долбят лунки для подледного лова. Но как же быть со Всеславом, с Новгородом? С братом Глебом Святославичем? Первое настоящее дело...

Довольно выдержав, Владимир собрал будто невзначай старших бояр. Достаточно было сказано неспешных речей — только слушай. Хватает лукавств в писанных книгах, не без хитрости живые книги. Городские бояре пустили корни, у них семьи, дома, имущество, земля, люди, они держатся места. У бояр, посланных с Владимиром, корни остались в Переяславле под надзором друзей, под охраною князя Всеволода. Им скучно в Смоленске, переписываются со своими, да что в письмах! Более года не видались. Каждый по-своему, каждый по-разному они встрепенулись. На Всеслава? Пойдем! Рассчитывали дороги, какую выбрать, сколько времени ехать и как. Спорили, но — важно — без шума. Своих немало — пять десятков мечей. Но против Всеслава да к Новгороду, в места плохо знакомые? Нужно брать с собою не менее сотен полтора смолян. Проводников надежных, не хвастунов.

По Каспле с Ловатю до Новгорода свыше шести сотен верст. Зимними дорогами будет покороче, но нет еще зимней дороги. Ехать в санях с обозом. Нужно сто двадцать—сто тридцать саней, чтобы все с собой увезти и ехать быстро, боевых лошадей вести за санями, с перепряжкой. За четыре дня успеем доехать до Новгорода, когда установится санный путь. А пока собираться и набирать смолян. Время есть: без пути не сдвинуться и Всеславу. Но где он?

Установился путь, нашелся и Всеслав. О движении его к Новгороду с вожанскими полками прислали грамоты из Холма на Ловати, из Торопца на Торопе. Гораздо ранее князь Святополк Изяславич писал из Полоцка: есть слух, будто бы Всеслав ходит с войском у Ильменя.

К Новгороду Владимиру с дружиной, со смолянскими помощниками не удалось поспеть. Глеб Святославич с новгородцами справился сам. Об этом узнали на третий день

после выезда из Смоленска, уже миновав Холм, от беглецов — не то из полка Всеслава, не то от испуганных битвой людей. А к вечеру встретили и самого Всеслава. Как волк охотника, так опытный воин, заранее подзрев новых противников, успел с дороги сойти и стать перед лесом, оградившись завалом из спешно срубленных елей.

Всеслав выслал своего старшего сына, Бориса, на дорогу к Владимиру с наказом остаться заложником, а Владимира Всеволодича просить на переговоры. Совсем светло, день выдался солнечный — все видели, что ни на миг не задумался князь Владимир, выслушав Бориса Всеславича. Ясным голосом ответил: «Добро, так и быть!» — и пустился к завалу, последней крепости изгоя Всеслава, напрямик. Снегу в те дни еще мало нападало — на четверть. Для саней по дорогам самая хорошая езда, а полем поезжай где хочешь: не нужно было Владимиру пользоваться следом истомленной крестьянской лошади Бориса.

Всеслав встретил Владимира пешим. Стоял он перед завалом, а за ним кто-то безоружный. Сам же завал, ошестиненный поднятыми к небу еловыми лапами, был будто мертв. Никого не видать. Но слышно, что тюкают топоры по мерзлому дереву. С мягким шумом упало еще одно дерево. Укрепляются кругом, что ли?

— Садись, Владимир Всеволодич, — пригласил Всеслав, и подручный принял коня.

Сели на сваленную сосну, на которую был заранес наброшен плащ, чтоб свежая смола не липла. Сидели.

— Что ж молчишь-то? — спросил Всеслав.

— Жду, — ответил Владимир.

— Ждешь... — согласился Всеслав. — Из ранних ты. То для меня хорошо. Буду я думать вслух. Для тебя. Нас здесь нет и шестидесяти. Лошади есть. Все голодные, ослабелые. Среди них ратных коней будет ли половина? — спросил князь Всеслав и ответил: — Нет! У тебя, — продолжал он, не глядя на Владимира, — дружинников сотни две, не считая конюхов при санях. И все вы, лошади и люди, сытые, а смолянских конюхов ты тоже не зря выбирал и не силой выгонял. Так? — опять спросил Всеслав и опять сам ответил: — Так!

— Ты можешь меня взять, — говорил Всеслав, — но я не дам тебе. Кормил меня Изяслав затвором, бог меня от затвора и смерти спас. Вторично не буду его искушать, затворным сиденьем я сыт. Новгородцы с Глебом Святославичем меня отпустили. Ты меня убьешь, но и твоей дру-

жины мало останется. Выбирай, брат-князь, ты. Я свою долю уже выбрал.

— Ты обещался новгородцам? — спросил Владимир.

— Обещанье под страхом отпускается, ты же в святых книгах ученый, — возразил князь Всеслав и, повернувшись всем телом, заглянул Владимиру в глаза. — Но ты, я знаю, не только в одних святых книгах начитан. Слышал же ты, как нормандский дюк Гийом, заманив Гарольда-саксонца, вынудил его клятву дать? Слышал? И не бог между ними решил, а Гийомова хитрость да саксонская горячая поспешность. На могиле Гарольда написано: «Несчастный» — и только. И на моей могиле если что напишут, то те же слова. Обещанье! Ты князь, и, запомни, на себе ты узнаешь цену обещаньям. Когда и как, не знаю, но будет день — и ты мои слова вспомнишь. Скажи, долговязый книгочей Святополк что тебе писал обо мне из моего Полоцка?

— Оповещал: ты ходишь под Новгородом и Новгороду грозишь, — ответил Владимир.

— Когда он писал, меня еще под Новгородом не было, — заметил Всеслав. — Но предвидел он верно, ибо предвидеть было легко. Почему же он сам на меня не пошел? Первое, боится он из Полоцка выйти, страшась моих людей, полоцких. Второе — он Изяславич, в Новгороде — Святославич. Если не знаешь ты, так узнай: все далее расходятся Изяслав со Святославом. Всеволод же в середине. Я Святополка выгону из Полоцка. Кривская земля наша, мы сами кривичи от древних князей. Кривская земля нас держится. Напрасно вы, Ярославичи, нас гоните. Наше кривское дело — стоять против Литвы. Вы, Ярославичи, нас поворачиваете, наше изгойство — ваш грех. Перед Землей грех. Так-то, князь. Теперь садись на коня, ступай к своим и нам побольше хлеба пришли. Ты небось хорошо запасся, не везти же обратно. — И Всеслав засмеялся: — Смолянские пироги от века славились мягкостью, пряники — сладостью!

Встали. Простились, обнявшись по-княжески, для чего Всеслав, будучи на полголовы выше Владимира, с неподражаемой гибкостью как бы уменьшился. И напоследок сказал:

— Еще тебе загадка, брат-князь. Почему новгородцы меня могли убить, но не убили? Ответ пришлю, сверь его со своим.

Никто из старших бояр ничего не спросил, когда Владимир, вернувшись с переговоров, не мешкая, наряжал обозные сани ехать к Всеславовой засеке. Смоленские конюхи весело, не запинаясь, отвечали Владимиру на вопрос: «А, у тебя в санях что?», помогая отбору запаса, даримого князю-изгою с его неудачливой дружиной.

Боярин Порей, бывший при молодом князе не то дядькой, не то главным советником, изготовившись к бою, сидел гора-горой на богатырском коне. Первым сообразив, что крови нынче не быть, он, с натугой перенеся правую ногу через переднюю луку, соскользнул наземь и чихнул по-медвежьи так, что конь отпрянул на полную длину повода. Видно, сила не в хитроумии шутики: можно веселиться, не уставая, одним и тем же, когда оно приходится к месту. Всеизвестный Пореев чох отозвался и смехом, и усмешкой, и быстрой шуткой, столь же известной, как само богатырское чиханье, и столь же неизносимой.

Дружинники слезали с лошадей, вынимали из конских зубов железа, отвязывали уздечки от оголовий, зацепляли длинные чумбурные ремни к задкам саней, расседывали и бросали седла в сани. Прежде всадника — лошадь.

Помогая друг другу, стягивали доспехи, надетые поверх полушубков, сменяли шлемы на шапки и влезали в овчинные шубы, чтоб мороз не пробрал на быстрой санной езде.

Около леса, за Всеславовой засекой, поднялся дым один, другой. Будут отогреваться, будут сытые, заночуют — что до них! На сколько-то времени князь Всеслав остался в прошлом. В настоящем же дне жил первый княжеский приказ. Владимиру довелось поступить в важнейшем деле собственной волей, без совета с дружиной, без долгих раздумий. Послушались его, будто старого князя. А не бывало ль, что спорили и оспаривали старейших?

Обозные, передав Всеславу запасы еды, догнали Владимира на ночлеге. Из двух десятков саней Всеслав оставил себе половину под своих раненых и ослабевших. Старшой обозный передал Владимиру деньги — плату за сани с лошадьми — и грамотку, красиво выписанную свинцовым стилосом на бересте, подручном русском пергаменте. Поблагодарив молодого Всеволодича за разумность — не за доброту, не за щедрость, заметил себе Владимир, — Всеслав давал ответ на свою загадку:

«Новгородская земля меня отпустила живым, ибо не пришло время, чтобы наши люди князей убивали. Придет и такое время, будут убивать, но нас с тобой тогда здесь

давно уж не будет. Тебя ждет долгая жизнь, брат-князь. Как меня. Молись, чтоб тебе не довелось жить, как мне. Знать, что нужно делать. Знать, как делать. Но не владеть силой для должного. И вместо силы прибегать к насилию. И сотворить из желанного едва ли десятую долю. Но делится ли желанное на доли?..»

В избыточном тепле, на соломе, устланной полушубками и шубами, лежат дружинники, лежит Владимир. В красном углу перед иконой богородицы богато яркостью киевского письма предстает крохотное копыто огонька неугасимой лампы. Богородица любима на Руси, киевские, черниговские, новгородские живописцы более всего заказов получают на лик матери с младенцем.

Спать бы пора... Отзвуки дня ходят в людских душах, просыпаются в слово, и тихая речь течет переключкой:

— Тука за плечо дергал князь Изяслава. Все твердил— послать в затвор да прикончить Всеслава.

— Смяли нас половцы на Альте, Изяслав не знал, что и делать.

— Потерялся он, и Земля ушла от него.

— Тука — воин знаменитый, а человек он злой.

— Кровь нерусская. Чудин, его брат, ничуть не добрее.

— Однако ж они оба верные люди, слову не изменят.

— На злое они умеют толкать. Не умеют иначе.

Владимиру вспоминается написанное рукой Всеслава. Сила. Насилие. Что это, как различить, кто укажет предел силы, границы дозволенного? Святое писание отвечает. Христос приказал Петру вложить меч в ножны. Христос побоями выгнал торговцев из храма. Бог с тобой говорит через совесть. Твой выбор свободен.

Переключка не гаснет:

— Всеслав нынче не захотел волком бежать, а мог ведь.

— Мог-то мог... Однако ж такой князь своих не покинет. За ним можно стоять.

— Он сам дался, когда его Ярославичи схватили. Дружину собой выручил и Землю свою спас от разоренья.

Поляна широкая, из-под снега торчат быльи — была летом живая трава, ныне мертвая стала, отжив до морозов и полностью совершив назначение жизни — семя дать, чтоб род; сохранившись, встал новой весной, ярким цветом не уступая умершим. Но старшие нового племени быльи стали, быльем поросли отцовские курганы. Живые Влади-

мир со Всеславом сидят на дереве, срубленном во время зимнего сна, — умерло дерево, не проснувшись. В полуверсте на дороге, пробитой через поляну, изготовившись к бою, ждали Владимировы дружинники, о чем решат молодой Всеволодов сын с изгоем Всеславом. И Владимиру кажется чудным, как же это он поехал на переговоры, не посоветовавшись со старшей дружиной, как это бояре его отпустили... И понимает, и боится понять, какое же страшное дело готовилось, если двести дружинников спрятались за спину молодого княжого сына. Среди них были матерые бояре старшей дружины, крикуны, спорщики, свои и смольяне. А он и не думал. Кто же решал — совесть?.. На долгую жизнь, — пишет Всеслав.

Прислушивается вновь. Слышит:

— Он родителей улестил. Она его не хотела.

— Помню, помню ее, красавица писаная, что цветок.

Как же они перешли со Всеслава на чью-то жизнь, совсем на иное?

— Он уверялся, что силой сумеет ее примучить к себе. От времени слюбится, дескать.

— Видал я их, сколько-то лет минуло. Она отцвела раньше срока. Он, видится, тоже своего не нашел.

— Через силу идти — какая любовь...

Так вот что, вот каким мостиком перешли ночные беседчики с княжих дел на любовь меж мужчиной и женщиной! Сила. Насилие. Веки сами сближают меж ресниц, отходит в бесконечное удаление лампадный светик. Перед внутренним зрением сон показал чье-то лицо и тут же пустился обманывать, подставляя другое, третье, четвертое, и не давал узнать ни одного. А из того далека, куда уходил огонечек, допевали отходную насилию:

— И дети не жили у них, а кои выжили — скучные, слабые...

— И хозяйство упало совсем...

— У людей урожай, у него прусик съел и солому...

— Рядом дождь бог пошлет, его поле град побил...

— И холопы у него бегут...

— А кто остался, вместо работы ворует...

Перекатилось Солнце на лето, а Зима пошла на морозы, пользуясь времечком, когда дни прибавляются не более чем на воробьиный шаг. Шаг! Не скачок — воробей прыгает борзо.

Изгой Всеслав барсом прыгнул к Полоцку, так широко прыгнул, что Святополк Изяславич без боя вышел из кривского стольного города и бежал в Туров. Туровское княжество, как и Владимиро-Волынское, держал Святополков брат Ярополк. В поспешном отъезде Святополк успел захватить не одни свои любимые книги, но и часть Всеславовых, который тоже слыл книголюбом. Князь Всеслав говорил: «До лучших моих книг Святополк не добрался», зная, что такое больнее сердцу книжника, чем потеря города.

Туров был поставлен на берегу Припяти при древнейших князьях, в месте низком, подверженном всенным затоплениям. Первоселам пришлось делать валы и для защиты, и от наводнений и поднимать жилое место насыпной землей. Город был дорог своею дорогой — рекой Припятью, по которой вниз идти — в Днепр, а вверх — во все волынские города, на Буг-реку, к полякам. Сеют рожь, гречу, овес, не зная неурожаев — воды хватает, зато полей нет, есть польца меж болот, называемые здесь островами. С острова на остров устроены переходы из бревен — леса хватает на все и про все. Молотят на островах же и зерно вывозят зимой по льду, ибо летних дорог для телег или лошадей здесь совсем нет. Зато и чужому сюда пройти трудно.

Получив от отца Изяслава подмогу людьми, Святополк решил вернуться в Полоцк. Пришлось спешить, упреждая конец зимы: с первым оседаньем снегов в марте дорога на Полоцк через Голотическ на реке Вабиче, удобная зимой, станет непроходимой, как и вся земля до Припяти. Святополк ко дню выхода расхворался, и дружины повел Ярополк Изяславич, второй сын после Святополка.

Под Голотическом Всеслав остановил Ярополка. Дружины схватились, увязая в глубоком снегу. С обеих сторон пало десятка два воинов, и Всеслав показал хребет Ярополку, бежав со всеми своими и с обозом, оставив победителям около сотни саней, груженных малоценным припасом.... Лошадей беглецы успели выпрячь.

Тут же пала оттепель, и дружина сказала Ярополку:

— Ты, князь, сам пропадешь и нас всех потопишь в разливах на потеху Всеславу. Пойдем домой.

И ушли, благо сделали себе и другим, так как весна пала ранняя.

Князь Всеслав потешался:

— На деревья надо глядеть! Как синички запрыгают парами, так и кончай воевать на нашей земле. Встал Ярополк на поле, поле за собой оставил. И знамя расправил. И домой пошел не солоно хлебавши.

Ярополк успел вернуться в Туров, не пропав в злых зажорах — так называют снега, напоенные талой водой. В этих словах не простое красноречие. Неосторожные тонули. Погибали и более осторожные от голода, холода, мокреты, отрезанные на гривке-островке без пищи. Не имея из чего костер сложить, чем укрыться, как высушиться, они коченели заживо, как трупы. Что ж тут особенного! У каждой земли свой нрав, и перечить ему не подобает.

Неумелому сухой жаркий песок такая же смерть, как ледяной холод мартовских разливов на Припяти. Не спросяся броду, не суйся в воду.

Летом в подгородном селе Берестове, близ Киева, на княжьем дворе. Домовые клетки грубо срублены из дубовых кряжей: углы не опилены, отрубы неровные, один дальше торчит, другого едва хватило зарубить лапу. Бревна ошкурены, но стругом не выправлены, торчат наплывы, суки сбиты, но не зачищены. Крыши все разные, есть круглые, острые, но каждое острие собой глядит, многогранные. Даже кровельная дрань спущена неровно.

Неровно прорублены окна, и все они разновелики. Наличники тяжелые, резьба чудная. Звери не звери, птицы не птицы. Будто бы резчик, начав одно, о другом вспомнил, третьим увлекся. А тут пора — и кончил четвертым.

Наружные лестницы на вторые ярусы, на крыши тоже разные — и ступени, и перила, и переломы у каждой по-своему.

Ставили клетки, связав их крытыми переходами от земли и до крыши. Одна клеть шире, другая уже. Нет чтоб дом построить, собрали кучу домов. Но все вместе они — одно. Как живой человек. Уши на глаза не похожи, руки не ноги, голова не туловище. Но отнять ничего нельзя: искалечишь, будет урод либо совсем убьешь. Все же в человеке, как в любой живой твари, есть и однообразие. Проведя мысленный раздел сверху донизу, мы делим все живое на две соразмерные части — правую и левую. Берестовский княжой двор, или палатий по-гречески, не поддавался разделу. Как ни ходи, как ни примеряйся, никак не получается, чтоб с одной стороны оставить подобье другой. И свои, и иноземцы старались постичь тайну, посредством

которой несообразное собралось в единство, где ни убрать, ни прибавить бревна.

Все строения и ограду, подобную старинному тыну из неоднородных заостренных бревен, князю Ярославу Владимировичу в последний десяток его жизни поставили двое умельцев — Косьма и Дамьян. Из черниговских оба. Прислышав, что князь Ярослав собрался сменить свои обветшавшие берестовские клетки, ставленные при Владимире Святославиче, черниговцы с ним подрядились.

— Надоело нам, князь великий, строить все из сосны да из ели, нас эти сосны да ели изъели. Оно дерево смолевое, сочное, доброе, родное, однако ж и от своего родного двора проехаться следует. Сам ты знаешь, что после хиосского вина, греческой диковины, или после дорогого лесбосского нет лучше черной браги, заведенной на кислой закваске. Так мы порешили побаловаться с дубом.

— А ну? А как? Покажите! — приказал Ярослав.

Показали черченье. Это вот спереди, это вот сбоку, а это со спины, а здесь второй бок, здесь третий, четвертый да пятый с шестым. Да еще здесь, глядь-ка!

— Сколько ж у вас боков? — подивился Ярослав.

— Много, — отвечают.

— Не пойму я, не вижу, как выйдет...

— Мы и сами еще до конца-то не видим, — признались умельцы. — Как что ему нужно, еще дуб себя покажет. По нему и сделаем.

Сговорились. Для себя Косьма с Дамьяном назначили малую плату: с дубом мы еще не работали. Полюбится — доплатишь по любви.

Ярослав был в долгих путях, увидел двор уже законченным и сказал:

— Красиво вышло. — Посмотрел, походил и поправился: — Нет, слово не то, что-то другое просится, чтоб назвать.

Митрополит из греков, которого Ярослав взял на смотрины, иное сказал:

— Величественно. Однако же гладкости и стройности нет. Не христианское. Дико-языческое строение.

Ярослав перевел умельцам слова митрополита и засмеялся:

— Он человек святой, да глаз у него чужой. А ведь подсказал мне — русское у вас получилось. — И наградил умельцев за удачу.

Будучи любителем голубиной охоты, Изяслав Ярославич, живя летним временем в Берестове, сам любил погонять стаю. Умельцы и для гостей сумели посадить теремок с удобным для гона выходом на крышу, с хитрыми перильцами, чтоб увлечшийся забравшей немислимую высь стаей охотник себе косточки не поломал. Сколь голубей не люби, крылья у тебя не вырастут.

Отсюда хорошо виден Днепр, текущий хребет русского тела. Да и гостей принимать хорошо. Хотя бы и на голубятне, места много. Голуби не любят чужих. Вернее сказать, хозяин ревнив, и если терпит наемного голубятника, то лишь по невозможности самому и кормить, и убирать, и гнезда строить птице.

— Княжеское бремя! — жаловался Изяслав Ярославич гостю своему, Бермяте, ближнему боярину князя Всеслава Полоцкого, и восклицал с горьчайшей обидой: — Не так живи, как хочется, а как господь велит. Да если б господь! А то — один того хочет, другой туда тянет, третий свое советует. Перенести бы мне эти терема на остров, я б рыбку ловил, голуби б летали. Знать бы такое слово, сразу сказал бы...

— Но ведь своим поступаться ты не захочешь, — заметил Бермята.

— Нельзя. Княжество не рубаха, которую писание велит отдать ближнему. Новгород взяли у меня. Я, не желая братоубийства, терплю. Глеб на словах держит город для меня. Поистине же слушается Святослава и доходы дает мне частью, частью — отцу. Лишили меня отеческого достояния!

— Ты же сам согласился на такое и не требовал, чтоб Святославов сын ушел из Новгорода, — возразил Бермята.

— Согласился! Ты, книжник! Как у Гомера сказано, помнишь? Добровольно поневоле? Сиж у меня между родной кровью, будто между двумя огнями. Там, за Днепром, Святослав, там, за Припятью, Всеслав твой. Земля же ко мне холодна. Им бы жить, добро копить да плодиться. От этого холода стал я чуток к огню. Потому и жжет меня.

— Князь Всеслав тебе не враг, — внушал Бермята.

Полоцкий посол был видом истинный кривич. Невысок, но кряжист, борода рыжеватая, глаза ясные, серые с искоркой, голос искренний, и владел он голосом, как певец. Да и вправду, петь умел хорошо и церковные песни, и свои русские.

— Вникни, князь, — просил Бермята. — Не мне говорить, не тебе слушать, будто бы Всеслав тебя любит. Лю-

бовь дело сердечное, а слово затаскали, не поймешь, что оно значит. Муж клянется любовью к жене, жена — к мужу, юноша — девушке, девушка — юноше, в ту минуту им смерть милее разлуки, а дунуло время своим ветерком и унесло любовь, как пушинку. Мой князь жил, живет и жить будет своею Землей, и чужая ему не нужна. Такое он всем доказал. Не старался он, чтоб его сажали на твое место. Ты это знаешь, не отрекайся! — еще настойчивей, еще вкрадчивей запел Бермята, и хоть Изяслав и махнул рукой, но не прервал. — И ты знаешь: сидя в Киеве на твоём столе, Всеслав не пытался утвердиться. Знаешь! Полоцкую дружину к себе не вызывал, киевлян не приманивал, не прикармливал...

— Киевляне! — подскочил Изяслав. — А кто их прикормит! Норов змеиный! Извиваются, а куда поползут и где укусят — никому не понять. Нынче покой, завтра на вече взрвут, и будет тебе горше, чем во рву львином.

— Не рви сердце, — утешал Бермята. — Каковы люди, таковы они есть. Богом созданы, не переделаешь.

— А Антоний-святоша? — вспомнил Изяслав. — Монахов-то гладил твой Всеслав!

— Антоний — дело особое, — возразил Бермята. — Он ни за кого не стоит. У него правда общая.

— Вот и общая! Связались святой с колдуном! Довольно на сегодня. Устал я от вас всех. Буду делать, что пожелаю. А ты иди либо сиди. Я с голубями душой отдохну.

И пошел Изяслав, ладный, росту высокого, свежий лицом, русоволосый, борода клином — не скажешь, сколько лет ему: и тридцать дать можно, и пятьдесят. На ходу сбросил кафтан на пол в горнице и блеснул в двери белой косовороткой.

Оставшись один, Бермята подошел к низкому окошку, по бокам которого на уровне верха в стену были вделаны для красоты два турьих рога. Подняв руки, Бермята взялся за рога, подтянулся, перекинул ноги через подоконную доску и удобно уселся, вывеса сапоги наружу. Там, под окном, шел чудной, как все здесь, не то мостик, не то переход, — ступив на него, можно было пройти на конец терема, пристроенного к этому, и в конце его усесться в подобие кресла между крылами некоего чуда-юда морского, точенного из дерева и травленного красной краской.

Бермята раздумал: и здесь хорошо. Сидел, забрав в кулак бороду, выгнув по-кошачьи спину, и, глядя на синюю дорожку Днепра, размышлял: «Довольно иль не довольно еще? Уехать или остаться еще? А? Как быть, чтоб вышло

получше? Эх, пройтись бы по крыше с князь Всеславом туда да обратно, сто шагов и сто слов; и было б довольно. Нет таких средств у тебя, посол. Были б, глупых бы послали, ты б дома сидел. Решай сам...

Изяслав Ярославичу нет счастья в жизни. Добрый человек, ему бы все повременить, воздержаться, пока дело само себя не сделает. Он, с душой помолвившись, полагается на бога больше, чем на себя, на людей. Таким только с богом и удобно: бог-то слушает, не устает. Одинаково легко Изяслав поддается убеждениям последнего советчика, кто на него сильнее надавит. Более других им распоряжается старший его сын, Мстислав. Этот знает отца лучше, чем себя: не диво, впрочем, — себя знать трудней, чем других... Мстислав не жалеет силы на убеждения. Убедив, согласие вырвав, действует сразу, опасаясь, как бы отец не передумал».

Сидит Бермята, решает. Решит. А князь Изяслав поднял стаю. Трещат, крылатые ввинчиваются в небо. Выше и выше уходят в голубые глубины княжие голуби. Князь свистит, как Соловей-разбойник. И до чего же родной этот свист дубовым теремам, поставленным на утеху русскому взору! Будто сами они свистят. Э-ге-гей! Стой! Держись!

Чу! В конюшне затопали испуганные кони — из новых, не привыкли еще. Не знают они — нет здесь разбойников, киевский князь свистит для забавы.

Голуби сильно и споро уходят вверх, вверх. Эх, быть бы птицей! Птицы небесные... Бермята одним глазом взглянул вверх. Вернуться... Нет небесных птиц. На земле — все земное. А жаль...

Ездил к Изяславу Бермята для умных бесед. И другие наезжали от Всеслава. Будто бы прятались они, будто бы таились.

Киев, говорят, что лес, люди в нем — листья. Любят люди красивое слово — оно понятней, доходчивей, его слышишь, как в руки факел берешь темной ночью: светится слово. И освещает.

Но думать, что в Киеве человек подлинно незаметен, может только новоприезжий, кто век вековой прожил в Коломене на Оке либо в Залесском селе на Клешином озере.

Шла и шла пересылка между Всеславом и Изяславом. Киевляне вольно судили о том о сем, не щадя своего князя. Для жителей других стран такое щедрословие могло бы

сделаться небезопасным. На Руси свое: что город, то норов, не любо — не слушай, а врать не мешай. Поминали Изяславу его возвращение за польской спиной. Не вмешайся князь Святослав Черниговский, сколько голов было бы бито! Хоть и умер уже Мстислав, сын Изяслава, не оставляли его в могильном покое: убивал, глаза колол, мстя за отца. Семейные убитых здесь, здесь же и слепцы.

Холодная к Изяславу Земля грелась недобрым жаром. Шатание явилось в Изяславовой дружине. Тука отъехал со своим добром к князю Всеволоду в Переяславль. Брат его Чудин, который посадничал от Изяслава в Вышгороде, тоже собирался отъехать.

— Какие столпы пошатнулись! — судили злорадные киевляне. — Выбор Тукою князь Всеволода понятен: Тука жестк, что камень. Всеволод помягче всех Ярославичей. Куда же Чудин подается? За братом потянет? Или пойдет к Святославу? Это уж будет кость на кость! Святослав ведь во! — и в пояснение слушавшему под нос совали кулак.

Развязка пришла в 1073 году. Святослав вызвал к себе в Чернигов брата Всеволода, но встретил его на полдороге от Переяславля, в Ольжичах.

— Звал я тебя советоваться, ты запоздал, я без тебя решил. Иду, прогоню Изяслава из Киева, прежде чем он вместе со Всеславом меня не высадит из Чернигова. Недобровать тогда и тебе.

— Худо на старшего идти, нет такого обычая, Земля тебя не примет, — возразил Всеволод. — И худо первому руку поднимать.

— А добро ли старшему на младших умышлять? — спросил Святослав. — А что до зачинщиков, то хоть ты и знаешь на пяти языках, но и я тоже начитан. Давно известно: напал не тот, кто первым оружие поднял, а кто первым умыслил напасть и первым готовиться начал. Это, брат, базилевс Юстиниан сказал, и тому минуло пять веков, что ли? Я на брата Изяслава ничего не умышлял, это он на меня копья острит в полоцких кузницах. Ты как хочешь. Иди со мной, иди домой. Я назад не поверну.

Переправившись под Киевом, князь Святослав — Всеволод с ним — пошел не в город. Со своей дружиной черниговский князь двинулся в чудесное Берестово. Спешил он медленно. Не для чего ему было встречаться со старшим братом ни с мечом, ни с горьким словом. Через Днепр переправлялись как сонные, берегом шли нога за ногу, за час две версты. Давали время киевлянам. Дрова были гото-

вы, котел налит доверху. Но какой огонь ни разведи, срок нужен, чтобы варево закипело.

Изяслав успел свое ценное вывезти в Киев. Навстречу его обозу текли шумные толпы киевлян. Пропуская княжьи телеги молча, люди вновь заполняли дорогу. В Киеве князь Изяслав собирался долго и тщательно. С большим обозом и малым числом дружинников Изяслав выехал из города через день после Святославова прихода в Берестово и направился на запад, в Польшу.

Киевское вече, собравшись в Берестове, единодушно посадило на княженье черниговского князя Святослава.

В день отъезда Изяслава Святослав пошел на освобожденный старшим братом княжой двор в Киеве. Всеволод сразу отправился в Чернигов, княжение в котором ему передал Святослав, как полагалось по порядку передвижения братьев с младших мест на старшие. Переяславльское княжество осталось за Всеволодом. Два Ярославича будто бы собрали Русь, не считая Полоцкой земли.

В Полоцке Бермята сказал князь Всеславу:

— Добились мы того, больше чего добиться нельзя. Ибо дела происходят от людей, а не люди от дел. Нам передышка пойдет. Помутились между собой Ярославичи. Изяслав поехал за помощью.

Болеслав польский, прозвищем Смелый, Ярославичам родственник. Мать Болеслава, жена короля Казимира Мария, была дочерью Ярослава Владимирича, сам Изяслав был женат на Гертруде, сестре короля Казимира. Четырех лет не прошло, как Смелый помог Изяславу вернуться в Киев.

Болеслав получил за это несколько земли с городами на Червенской Руси — она же Червонная — Красная — Красивая Русь. То есть доходы пошли Болеславу, а не Изяславу.

За Ярославом Червонным, Перемышлем, Санокон, Бардуевом — все эти города стоят в верховьях Днестра — начинается Польская земля. Польская речь сходна с русской, можно понять без труда, но все больше копилось различного между поляками и русскими. В Польше много крупных земельных владельцев, державших землю по наследству, собственников. Они раздавали землю от себя, требуя ежегодных платежей и военной службы от зависимых людей. Они, сильные владельцы, имели собственные дружины, могли поднимать собственное ополчение. От короля они мало зависели, король что дальше, то больше зависел от них. Отличались поляки и верой. Христиане, но

по римскому толку. Епископы ставились римским первосвященником — папой, польское духовенство имело в Риме сильную опору. Богу молились по-латыни, в храмах служили службу божью по-латыни. Не ведающие латинской речи твердили по-латыни вслед за латинским попом. Грамоте учились по-латыни же. Грамотность и так не каждому дается, даже на родной речи. Троекратно труднее познавать сразу и знаки письма, и сложение слова, и самую речь. Не научишься один от другого, как на Руси учились целыми улицами, где деловую простую грамотку знакомцу в другой город мог написать либо один сосед из двух, либо оба.

В Польше грамотность пошла поверху, среди людей с достатком. Такие охотно щеголяли латинским словом и пословицей. Известно, что сытый голодного не разумеет, а конный пешему не товарищ. С принятием христианства по римскому обряду в Польше достаточные еще быстрее и заметней обособлялись от малодостаточных. И без того от времени до времени конные все более удаляются от пеших. Тут добавилось прыти. Неграмотный слаб, написали по-латыни, перевели тебе правильно, неправильно, все равно подпиши. Связи общности по крови, по племени заменяются обязанностями должника перед займодавцем, исполщика — перед владельцем; на смену обоюдного согласия приходит понуждение слабого сильным, сильного — сильнее-шим.

Киевляне могли, собравшись на вече, выставить из Земли неугодного им Изяслава. В Польше в ту пору уже не было вече, которое могло бы распорядиться королем: король зависел от сильных владельцев.

Первый раз князь Изяслав-изгнанник поклонился полякам в удобное для них время. К тому же в ту зиму поляки успели понять, что воевать на Руси им будет не с кем, и не ошиблись. Сколько-то там русские побили из размещенной Болеславом дружины? Не в счет. Сегодня поляки опять воевали с богемцами. Настоящего мира на польско-богемской границе не было лет сто. То поляк чеху, то чех поляку лили за воротник кипящего сала, да так, что трескалась кожа и мясо лезло с костей.

Даже имея спокойный тыл, поляки не решились бы идти войной на Святослава Черниговского, ныне Киевского, чтобы встретиться в поле со всей Русью. Смелость без ума хуже отцовского проклятья. Болеслав встретил свояка крепкими объятьями и утешительными обещаниями. Обиженного князя чествовали знатные польские люди. Изя-

слав, видя сочувственные лица, открытые объятия, шапки, подметавшие полы, почтительные изгибы спин, щедро дарил. Настежь открыв лари с богатой казной, он уверялся: «С золотом добуду и войско».

Но дед его, Владимир Святославич, был мудрее, когда без счета дарил храбрых, приговаривая: «С доброй дружиной добуду и золото».

Едва ли не на три четверти знатные поляки облегчили Изяславовы клады, а дело его не подвигалось. Изяслав обижался, упрекал. Гуляли будто бы им сказанные обидные слова: «Ну уж и лошади польские: овес съели, а везти не хотят». Такое ему могли б и простить, не будь пересылки из Киева: князь Святослав сердится, хочет поднять Русь и ударить на Польшу. «Пока польские лапы увязли в богемской шерсти, нам самое время пощекотать польское брюхо русской колючей щетиной!»

Сказал ли такое Святослав Ярославич, или за него хорошие люди острили слова-копья, но выходило похоже на правду. Поляки смутились — знатные, с весельем набрав русского злата, с горькой печалью опохмелялись призраками русских полков.

С превеликим достоинством произносились речи на отличной латыни. С оскорбленным достоинством князь Изяслав отвечивал на той же латыни. Но смысл польских речей не менялся: вот тебе бог, а вот порог.

И поторопили. С улыбками, в которых, как сабля в ножах, сидела угроза чуть ли не смертью, доставили на границу.

Пока человек жив, он надеется. Еще до польских проводов-выпровождения князь Изяслав послал одного из сыновей своих, Ярополка, в Саксонию. Наследственный и независимый владетель Саксонии, маркграф по-германски, полноправный и равноправный электор — избиратель на выборах императоров Священной Римской империи германской нации, родственник Ярославичей по брачным союзам, через Ярополка советовал Изяславу ехать в Майнц, к императору Генриху, четвертому этого имени на престоле Священной Римской империи. Сам маркграф, как сильный владыка и электор, от коего империя зависит, просил императора о помощи русскому рексу-королю, несправедливо лишенному трона.

С горьких польских хлебов Изяслав поехал попробовать германских. С натугой добрались русские до Майнца, славного города при впадении реки Майн в знаменитый Рейн. Император Генрих принял изгнанного русского коро-

ля с почетом, обещал помочь. Взял богатые подарки. Особенно радовались германцы драгоценным украшениям работы русских златокузнецов с простыми и перегородчатыми эмальями и с чернью. Такого нигде не умели так красиво делать, как на Руси.

По поручению императора его доверенные вельможи вели с Изяславом длинные беседы, на которые германцы куда как горазды. Говорили, как все ученые люди, латыни, которой Изяслав, его сыновья и многие спутники беглеца владели свободно. Пришлось несколько привыкать к германцам. На Руси в ходу была латынь былых римских писателей и ученых. Учились говорить не быстро и точно. Поляки, учась латыни с Псалтыри и священного писания, в разговорной речи по своему характеру спешили. Германцы говорили медленно, как русские, но строили из латинских слов очень длинные цепи: от точки до точки по десять раз дух переводили. Расспрашивали о Руси, записывали для науки, были весьма благожелательны, содержали русских гостей щедро. Пищу поставляли плохую, грубую. Однако хозяева сами так ели, однообразно, скудно, и на плохой стол обижаться не приходилось: земля бедная, говядина не нагульная, свинина жилистая, домашняя птица тощая. Перец стоял в необычайной цене, на пирах столыники его подносили в особой посуде избранным гостям и сейчас же убирали, чтоб не пропал.

Улицы узкие, дома прочные, каменные, но сыро в них и воздух тяжелый. Бань нет, моются кое-как: простолудье летом иной раз лезет в реку, зимой же обходятся.

Император Генрих не однажды и подолгу самолично рассуждал с Изяславом. Человек пылкий, красноречивый, властный, он увлекся мыслью о распространении империи.

— Ни в чем не стеснена свобода маркграфов, герцогов, королей, равноправных сочленов общества, коим является империя: На великих сеймах они свободно, по собственной воле избирают достойнейшего из своей среды в императоры, возлагая на него и честь, и тягчайшее бремя быть защитником общей пользы. Могучая Русь, вступив в империю, найдет в ней и помощь, и защиту, и содействие в преуспевании. Облегчится торговля, увеличив общее богатство, власть русского короля упрочится. Русский король будет защищен силой империи от козней своих вассалов. В имперском союзе Русь будет самым большим государством. Русский король может быть избран императором, как другие электоры.

Увлечшись очевидностью благодетельного для всех вовлечения Руси в империю, император Генрих повторял одни и те же доводы, подобно продавцу камня-бриллианта, который, поворачивая перед свечой драгоценность, чарует покупателя игрой света на равновеликих гранях. В глубине тлеет будто бы пламень, и грани мечут лучи — кусок солнца в руке человека...

Князь Изяслав согласился стать королем, стать имперским электором, поставить и Русь в чудное здание Священной империи. Обрадованный император и грустный изгнанник обнялись, обменялись братским поцелуем. Договор, как и возведение в королевский сан, был отложен до дней возвращения Изяслава в Киев.

Во всем происшедшем не было ни обмана, ни обманщиков. Император Генрих видел благо людей в расширении империи. Князь Изяслав считал себя вправе ввести Русь в Германский союз: прочная дружба, взаимная помощь, облегчение торговых обменов, равенство.

Утром люди склонны меньше увлекаться мечтами, чем вечером. Дневной свет даже в серое ненастье отрезвляет умы, кипевшие в желтом свете свечи. Вечером говорят — сделай завтра, и верят себе и грядущему дню.

Завтра, завтра, завтра... Но сегодня — ничего. Поляки успешно воевали с королем Вратиславом Богемским, вассалом Священной империи: сегодня император был не в силах помочь даже Богемии.

Потому что Сегодня Генрих Четвертый боролся и со своими электорами, и с папой римским. Властвовало бесконечное злое Сегодня, требуя жертв, жертв, жертв. И прекрасное Завтра еще раз, еще раз и еще обаграло кровью алтарь беспощадного Сегодня.

Изяслав тосковал. Он старел в изгнании, считал свои ошибки, участь труднейшей из наук — самопознанию. Упрекать императора Генриха? За что? В писании сказано: кто отнимет хлеб у своих детей и бросит его псам! Русские не были псами для державного германца, но какое войско он мог дать Изяславу, коль едва защищал себя самого?

Император не обижал Изяслава. В тоске Изяслав решил поискать счастья в Риме. Святополк поехал в священный город к папе Григорию Седьмому. Не возвратит ли Изяславу Киев и любимое Берестово наместник святого апостола Петра?

Папа принял сына русского короля с еще большей пышностью, чем император принял отца. Перст божий! Громадная Русь, самая большая и самая богатая страна в

Европе, хочет быть и будет излюбленной дочерью Римской Церкви. Забывается обман герцога Гийома, нового короля старой Англии. Забываются германские обиды и дерзости злобного императора Генриха. Папа помолодел. Бывший Гильдебранд, папа Григорий Седьмой торжественно принял Святополка Изяславича. Князья Церкви — кардиналы и князья мира — верные папе южноиталийские и сицилийские норманны осыпали русского наследного принца изъявлениями дружбы. Дарили кольца со своих рук, оружие, лошадей, одежду. Устраивали пиры — здесь умели лучше есть, чем в Германии, но до Руси италийцам было еще далеко.

Русский принц почти не имел чем отдариваться — пляки обобрали изгнанников. Узнав о недостойном поведении своих духовных подданных, папа Григорий велел написать грозные письма. Напоминая польским христианам с святости гостеприимства, папа требовал, чтобы королю Изяславу было возвращено все, что у него выманили способами, достойными язычников. Раскаяние искупает вину. Нераскаянных накажет Церковь в жизни временной, а бог — в вечной. Короля Болеслава папа просил помочь Изяславу вернуться на киевский трон.

Наследный принц — в Риме праву первородства давали важное значение — привез отцовские полномочия, изложенные на пергаменте, с подписью отца, с печатью. Обсуждали, как провести унию Церквей — Русской и Римской. Король Изяслав желал этого. Наследный принц Святополк договаривался об условиях: будем вершить без спеха, богослужение отправлять на русском языке, ибо народ к такому привык. Ставить епископов папа будет по представлению русского короля.

У папы не нашлось войска, чтобы послать его на Русь. Генрих Четвертый и Григорий Седьмой были едва в силе состязаться один с другим. Ни одного копья¹ не увел Святополк Изяславич из прекрасной Италии, страны старых развалин, к которым люди что ни год добавляли новые, страны, густо удобренной павшими в войнах: там произрастал лучший в Европе виноград, а корни его, как известно, обладают особым пристрастьем.

Начальник охраны, данной Святополку Изяславичу от папы, сдружился с русским. Станный человек, наполовину монах, наполовину воин, со странным именем — Элезий, он часами молился в седле, перебирая длинные четки,

¹ К о п ь е — отряд конных латников числом 7—12 бойцов.

оусины которых были выточены из косточек маслин, принесенных палестинскими паломниками. Но там, где место было ровным, удобным для охоты, Элезий сажал на рукавичку сокола и травил любую птицу. Его увлекала травля для травли. В каком-то селеньи жители пожаловались на разбойников и указали ущелье, служившие притоном.

— Развлечемся! — предложил Святополку Элезий.

Не потеряв ни одного из своих, они убили двоих разбойников и схватили пятерых. Элезий приказал повесить их, «как желудей», на дубе, росшем у дороги близ селенья. Солдаты умело и с охотой выполнили приказ, а сбежавшиеся жители били в ладоши, будто на зрелищах. Двоих повесили низко, и мальчишки, цепляясь за ноги, качались на страшных качелях.

— Ты всегда знал, что будешь есть завтра? — спросил Элезий Святополка.

— Как-то я заблудился на охоте... — начал Святополк, но Элезий перебил его:

— Я разумею иное. Ты никогда не горевал над изношенной рубахой! Никогда не ходил по снегу босым! Никогда не слышал, как твоя дочь, сын, сестра, мать просят еды, тебе ж нечего дать им! А эти люди испытали, испытывают подобное. И мне такое знакомо. Не осуждай их за жестокость. Счастливый редко бывает злым. Несчастный никогда не бывает добрым.

— Мой отец, я, мои братья, мы все несчастны, — возразил Святополк.

— А! — отмахнулся Элезий. — Разве это несчастье! Когда ты не будешь знать, что есть, чем прикрыть наготу, когда чужой будет топтать твою совесть, твою честь, только тогда ты познаешь цену несчастья, мой принц.

В Альпийских предгорьях Элезий как-то указал Святополку на груды камней в полуверсте от дороги:

— Там родился я, там могилы отцов, — и перекрестился.

— Мир праху, — сказал Святополк, творя крестное знамение, и спросил: — Как место звали?

— Никак, — ответил Элезий.

— А кто же разрушил?

— Все. Нет народа, который не носил бы в Италию меч.

И замолчал, занявшись до вечера четками и немою молитвой. Наутро посочувствовал Святополку:

— Нет у папы солдат. Из-за Генриха-нечестивца. Не будь того, и я бы пошел на Русь.

— А ты ступай в отцову дружину. Будешь волен и богат, — предложил Святополк.

— Нет! Нет! Нет! — трижды отрекся Элезий, будто искушали его, и объяснил: — Только с нашими пойду. Единство Церкви творить!

Император Генрих не досадовал на короля Изяслава за его договор с папой. Император боролся с этим папой но не с Римской Церковью. Император сделал что мог. Он нарядил в Киев послов, дабы они призвали младшего брата познать свой грех перед старшим. Право первородства священо для всех времен и народов.

В Киеве прошёл слух, что имперские послы, которым князь Святослав показывал свое казнохранилище, осудили князя. Дескать, это золото мертвое, а с хорошей дружиной можно и больше собрать. Такого германцы и не думали: у них, чтобы иметь войско, нужно золото, золото и еще раз золото.

Святослав стал скупенек, и киевские острословы, изощряясь в выдумках, приплели к делу германцев. Императорские послы заметили красивую княжну Евпраксию, дочь князя Всеволода, и начали на свой страх намеки бросать, что, мол, император наш вдов, однако же молод, собой красив и сердце у него верное. Так если бы...

Послам дали понять, что при случае некое дело будет возможным. С тем они и отбыли: с неудачей ходатайства за Изяслава и с завязкой другого дела.

Трудно постичь чужое: незнание речи — стена. Одолвши речь, вязнешь во рву: чужие обычаи. Против них возражаешь и вольно, и нсвольно, ибо свои пристрастья трудно менять на ходу. Путешественники грузят караваны небылицами. Умный оказывается хуже глупых: что не по нсму, того нет, того быть не должно. Остальное натянуто на привезенный из дому аршин.

Императорские послы нашли Русь богатой, людей дерзкими. Простолюдые уступает дорогу по своему удобству. Если сами едут с грузом, то заставляют встречных сворачивать, невзирая на звание. Оружие носят вольно, кто какое захочет, не сообразуясь, кто знатен, кто черен. В этом проявляют невежество общих правил. Вопреки такому разбойников мало, ибо о грабежах послы не слыхали или от них скрыли.

Еда хорошая, съестное дешевле и в два раза, и в три. Перец продают дешевле в четыре раза и более, как и гвоздику, мускатный орех, корицу. За пряностями русские са-

ми ездят через персидскую землю до берега Южного моря, что лежит за арабами.

Русский король живет открыто, у него нет замков ни в городах, ни между городами. Во время смуты королю негде укрыться, негде выждать, пока восставшие не разделятся между собой, а доброхотные вассалы подадут помощь. Присягу на верность подданные не принимают.

Король Святослав трон Изяславу никогда не уступит. Но с недавнего времени он ослабел здоровьем. После него, по русскому обычаю, на трон сядет Всеволод, следующий по рождению сын короля Ярослава. Ныне Всеволод держит герцогство Черниговское размером много больше хотя бы Саксонии. Дочь Всеволода, Евпраксия, красива и образованна, за ней отец даст богатое приданое. Через брак с Евпраксией у императора Генриха и его рода возникнет союз с Русью, выгоды которого трудно предвидеть.

Глава посольства викарный епископ Майнцский советовал императору:

— Даже тень Права в сильной руке при благоприятствии бога может сделаться тяжелее горы, звонче колокола и убедительней меча.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ



ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД ОКЕАНА

Старая Англия саксов и англоv легла в могилу в битве под городом Гастингсом осенью 1066 года. Нормандский герцог Гийом — Вильгельм Завоеватель — стал королем Англии по праву силы. Новый король и его армия говорили на французском языке, и язык обозначал границу между завоеванными и завоевателями. Все англосаксы — без различия сословий — были лишены имущества, сосчитаны, переписаны и поделены между завоевателями. Не поровну, но по достоинству завоевателя. За ничтожными исключениями, каждый англосакс стал податной единицей. И каждый владелец получил право взимать со своего англичанина столько, сколько хотел. Это право называлось «тайж». Слово не переводится на русский язык. Корень

его образует множество слов, обозначающих понятия: строгать, пускать сок, обтачивать, надрезать, гранить, тесать камень... Понятно — тайяж человека возможен, когда он, человек, низведен до положения вещи.

Завоеватели посеяли зубы дракона — во всех городах и при многих селеньях возникли туры. Французское слово «тур», позднее переработанное в английское «тауер», тоже не переводится на русский язык. Слово «замок», так же как старорусские кремль, детинец, обозначало внутреннюю крепость укрепленного города, место, где мог замкнуться гарнизон и жители города для последней обороны. А туры-тауеры были личными крепостями владельцев, местом, где владельцы укрывались от собственных подданных.

Задолго до завоевания Англии Западная Европа усеялась турами, ибо вся она была в те или иные годы завоевана пришлыми. Но на материке сознание национальной розни угасло быстро, ибо завоеванные были культурнее завоевателей. В Англии социальная рознь усугубилась национальной. Не говоривший по-французски был низшим вдвойне. В течение трех столетий английские короли и дворянство говорили по-французски. Вскоре Франция перестала понимать язык английских тауеров, ибо живой французский язык развивался, а язык тауеров стал мертвым, он не был языком народа. Французы смеялись над жаргоном тауеров, но он нес свою службу — отличать высших от низших.

Но необратимость событий стала понятной позже. А в годы, последовавшие за покорением, англосаксы еще надеялись освободиться. Англосаксы отказывались верить в смерть Гарольда в битве под Гастингсом. Нет, израненный, он покинул поле последним и вылечился в тайном убежище. При первой улыбке Судьбы он появится.

Монахи Уолтхемской обители высекли на могильной плите Гарольда четыре латинских слова. Первые три переводятся легко: «Здесь лежит Гарольд». Но четвертое — «Инфеликс» — переводится на русский как «несчастливец» лишь приближенно. Для Рима Фатум — Судьба была силой, превосходившей богов. Славянину это понятие было чуждо. Инфеликс не несчастливец, но человек, против которого встал Фатум — Ужас богов.

Конан, наследственный владетель Бретани, которого французы титуловали графом, а бретонцы на своем языке — брейцаде — называли тьерном или теирном — воз-

дем, был отравлен предателем, которого подкупил сосед — нормандский герцог Гийом-Вильгельм. Иан Гоаннек, ученый актуариус и совстник тьерна, бежал во Фландрию. Многоязычный — так звали бретонцы Гоаннеска за обширность знаний — погрузил на корабль тюки с милыми ему пергаментами, среди которых запрятал золотые монеты, милые всем.

Вскоре руками нормандских французов и других бойцов Завоевателя Судьба воздала саксам и англам за бедствия, некогда причиненные их предками первым населенникам Острова — кельтам-бретонцам. Среди других беглецов из Англии во Фландрию приплыла жена Гарольда Инфеликса с дочерью. Ненависть к Гийому Отравителю побудила Гоаннека протянуть руку помощи кровным Гарольда. Он содержал беглянок, не позволяя ломбардцам и евреям попользоваться драгоценностями из казны английской короны.

Длинные пальцы нормандской руки делали Фландрию небезопасной, и Дания вспомнила о семье Гарольда. Туда вместе с благородными саксонками поплыл и Гоаннек. Его увлекла привязанность: забота открывает сердце покровителя.

В Дании Гоаннек стал учителем Гарольдовой дочери Эдгиты, или Гиты, что по-русски значит Ясная. Латынь, единый язык Церкви и науки Запада, легко дается тому, кто учит ее с голоса и с книг, даже когда эта книга — молитвенник. У Гоаннека было много книг кроме молитвенников. И он умел рассказывать:

— Ты хочешь сказку? Послушай. Это было давно. Однако не так давно, чтобы События еще не имели смысла, а Случай не умел досаждать Порядку. Итак... Будто бы нечаянно споткнувшись о Камень на берегу Озера, Случай выплеснул в него бочку краски и убежал.

«О Несчастье! — воззвало Озеро. — Где мой цвет! Я себя не узнаю!»

И Несчастье злорадствовало:

«Ха-ха-ха-ха!»

И Горное Эхо вторило: «хахахаха!» — пока не надоело всем.

Скромница Вода утешила Озеро:

«Не горюй, с помощью Времени я скрою краску, и ты покажешься прежним».

«А мы все видели, да! — закричали Воспоминания, рожденные Событием. — Мы свидетели, да!»

«Вы? — зашипело беспощадное Время. — Кому вы будете нужны, когда мы с Водой сделаем свое дело? Кто откроет вам дверь? Кто?»

«Увы, увы, — прошептали Воспоминания, — к чему ж тогда нам жить...» — и начали гаснуть.

«Видишь? — сказала Время Озеру. — Эти глупцы исчезнут бесследно. Существует же лишь то, о чем помнят».

В пергаментах учителя нашлись сказания, песни саксов. И кельтов-бретонцев. Предки Гиты обижали, гнали предков ее учителя. Несчастья возвышают людей над злой памятью о взаимных обидах.

— Опасно отравляться злобой, — говорил Гоаннек. — Прошлое непоправимо, и ненависть так же ядовита для души, как сок цикуты для тела. Учивший прощать был мудр.

Учитель и взрослевшая ученица читали Платона, возторгались величию Сократа, который казался им равным святым мученикам во имя Христово.

Время, уведя из жизни мать Гиты, превратило девочку в девушку. Изгнанники жили в замке Эльсиноре, прочном, неприступном. Гита оставалась самой заманчивой наследницей в Европе. И лучшим оружием для укрощения саксов, достанься она в руки нынешнему королю Англии. Она могла дать ему или его сыну наследника — законного короля для совести побежденных.

Датчане чувствовали себя виновными перед старой Англией, которой они не помогли против нормандцев-французов; виновными перед семьей Гарольда, который прозвался бы Феликсом, имей он под Гастингсом кроме саксонских только тысяч датских щитов.

Позволить Нормандцу выкрасть Гиту! После такого будет стыдно именовать датчанином. Дания искала мужа для сироты среди европейских владетелей. Одни были заняты, другие недостойны, третьи слишком слабы, чтобы вместе с женой получить право на английскую корону. Ибо Право без Силы есть опасное, праздное искушение.

Умы датчан обратились к востоку. Правящие роды Скандинавии привыкли родниться с русскими князьями. Однажды придворный живописец приехал в Эльсинор, чтобы нарисовать Гиту для датского короля. Но Гоаннек узнал, что датский посол повезет портрет на Русь. Вместе с эписью приданого. Хитрые датчане порешили и хорошо устроить Гиту, и убрать это яблоко раздора между английским королем Гийомом-Вильгельмом и Данией, которая нуждалась в свободе морей.

Кроме истории Сократа-философа, кроме мудрых мыслей учитель и ученица нашли у Платона увлекательную повесть об Атлантиде. Гоаннек знал нечто о тайнах Западного океана не только от Платона. Он обладал старыми записями на брейцаде о годах, когда император франков Карл огнем и секирой заменял в Британии старую веру кельтов на новую.

— Великие люди нетерпеливы и жестоки, — рассказывал Гоаннек, — утром они убеждают словами, днем прибегают к побоям, вечером как бы нечаянно, как бы невольно наносят глубокие раны. После ночи, полной великих видений, они просыпаются в ярости и убивают непокорных с великой охотой.

Тогда, во времена Карла, почти три века тому назад, беглецы, не желавшие изменить старому, спасались в Океан на кораблях, на плотах. Может быть, они достигли Атлантиды? Никто еще не испытывал глубин Моря Мрака так, чтобы вернуться и рассказать. Впрочем, старые кельты и не собирались возвращаться.

Однако же в Море Мрака есть что-то... Гоаннек располагал свидетельствами разных лет, из разных мест. У берегов Испании, Гиении, Бретани, Англии, Ирландии изредка находили принесенные ветром и теченьями стволы деревьев с листьями, плодами, каких нет в Европе. Приплывали бревна с обрубленными сучьями, связанные канатами из неизвестного волокна. На таких остатках плотов дважды прибрежные жители находили трупы людей неведомых по цвету кожи и чертам лица племен.

Гоаннеку было любо не только наполнять память ученицы, но развивать и ум. Старый ученый и юная девушка устраивали диспуты по правилам старой логики, поочередно утверждая и опровергая что-либо. Земля есть шар, как доказывал эллин Эратосфенос тринадцать веков тому назад. Прав он или правы другие, оспаривающие последователей элина? Для учителя и ученицы, знавших море по опыту, возражавшие были невеждами, а выводы Эратосфеноса — бесспорными. Существование Атлантиды казалось менее очевидным, доводы «за» и «против» были равносильны. Такое Гоаннек называл неустойчивым равновесием. Он говорил:

— В подобных случаях мудрее признать, что нечто существует. Ибо существование чего-либо вероятнее несуществования: ведь жизнь сильнее смерти.

Конечно, сильнее! Для Гиты такое не требовало доказательств — вопреки гибели близких, вопреки вечному за-

точенью выживших родственников в тюрьмах Нормандца, вопреки безысходному рабству ее единоплеменников. И вопреки тяжелым стенам Эльсинора, убежища, но и тюрьмы, как всякое надежное убежище.

Гоаннеку превосходство силы жизни над смертью казалось менее очевидным. Для него это утверждение было скорее обязанностью философа, было делом формальной логики, а не внутренней потребностью. Пусть Море Мрака населено одними рыбами, меньше несчастий, измен, насилия: В таком различии ощущений более всего сказывается разница между старшими и младшими, но старики вынуждены бодриться из любви к молодым. И обязаны. Так как иное следует постигать в зрелости лишь потому, что только с годами человек привыкает жить, умсряя отчаяние.

Однажды Гоаннек дал Гите портрет молодого человека. Русь благосклонно приняла предложенный Данией союз, и опекун Гиты, датский король, выразил свою волю: дочь Гарольда будет женой молодого князя Владимира Мономаха, сына князя Всеволода, сына князя Ярослава. Дочь Ярослава, сестра Всеволода, была матерью Филиппа, короля французов. Мать жениха Гиты была дочерью императора ромеев Константина, а его бабушка — сестрой короля шведов. И далее... Кто может сказать, что Дания обидела дочь Гарольда Саксонского, который был внуком простого земледельца? Никто!

На днях состоится торжество обручения Гиты с русским послом, представляющим князя Владимира, и король-опекун вручит Гиту послу для поездки на Русь.

Русь так же удалена от Дании, как возможная Атлантида, но русские хорошо известны. Далеко только неизвестное.

— Ты поедешь со мной? — спросила Гита учителя.

— Нет, я слишком стар, — возразил Гоаннек.

Но отказался он потому, что у многих старых людей есть в сердце излишнее молодое место. Оно, это место, соблазняет слабовольных на унижительные поступки, а у сильных рождает иронию, непонятную молодым.

— Став ненужным тебе, — объяснил Гоаннек, — я отправлюсь в долгое плавание, поищу Атлантиду. — Это не было иронией.

Такое дело датчане вершили накрепко, оберегая себя не от бога — он видит, — но от людей: бросив слово там, бросив здесь, люди походя губят чужую честь. Липкая грязь клеветы, выливаясь на пергамент, живет вечно. Смотри, когда не знаешь, где, кто и когда очернил в тишине

твое имя. Бойся слова, против него не поможет и папа, наместник Петра.

Можно убить и ограбить родителей, пустив детей голыми на снег. Это война.

Нельзя обобрать сироту, которой дали гостеприимство. Это кража.

В казнохранилище датской короны Хранитель, положив пальцы на распятие, поклялся именем бога.

— Все, мной принятое от моего предшественника, мною сохранено. Вот старая опись, вот новая. Они одинаково верны хранимому.

Король датчан сказал:

— Подтверждаю и утверждаю. Вот имущество Гиты, дочери Гарольда-короля, сына Годвина. А это Дания, любя Гиту, дает ей свадебный подарок! — И вручил перечень даримого послу самодержавного герцога Всеволода, которого русские называют князем Черниговским.

Два дня и две ночи датчане и русские считали, взвешивали, сверяли со списками золотые и серебряные монеты, посуду серебряную, простую, золоченую, бронзовую, медную, стеклянную. Одежду, оружие, ценное качеством твердого железа, ценное украшениями, доспехи, щиты.

Хранитель казны, шатаясь от усталости, сжимал беззубые челюсти, и щетина бороды и усов торчала, как иглы ежа. Жалко, так много уходит. Все лежало спокойно, красиво. Отныне бессмысленно нарушен порядок.

Дорогие ткани греческого, итальянского дела, из шелка, виссона. И самые простые, какие ткнут в Англии из льна, из шерсти. И жалкая утварь — оловянные чашки, миски, ковшики, деревянные блюда и тарелки, выщербленные ножи. В поспешности бегства не разбирают, бросают в кучу попавшее под руку — и прялку, и домотканый кафтан пастуха из сукна немойтой шерсти на пеньковой основе, оплетенной грубым утком. Датчане сохранили и такое, ибо честь и совесть короля общи с пастушескими по своей беззащитности: кто хочет, тот и наступит.

Приданое Гиты Саксонской забили в ящики, обшили просаленной кожей, замкнули печатями Дании и Руси. Остерегаясь глаз, ушей, языков, грузили тайно, ночью. Путь долгий, на морях один закон: горе слабейшему. А жадность, напрягая ум, делает из этого божьего дара оружие дьявола.

Хватило б одного корабля, погрузили на три. И так трижды уже искушали судьбу: на пути из Англии во Фландрию, это раз; во Фландрии держали сокровища в

простом доме, это два; плыли в Данию на купеческом корабле, везя богатства, возбуждавшие жадность королей, это три...

Долго, торжественно, мрачно, как заклиная, епископ служил святую мессу, последнюю для Гиты Саксонской литургию по римскому обряду. Слова священной латыни были тяжки и остры, как клинья.

Возгласив: «Свершено!», епископ обратился к девушке с поученьем. Помянув о страданиях Британии под игом незаконного Гийома Нормандца, клятвopеступного обманщика папы, епископ вызвал слезы не одних женщин, но и многих суровых баронов: умное слово растворяет сердца куда сильнее самого вида мучений, ибо страданье некрасиво и голос смерти хрипл.

Пастырь датских душ вручил Гите ковчежец с освященными облатками для причастия в минуту смертельной опасности: Воля бога неизвестна. Лучше заранее взволновать душу виденьями ужаса, чем лишить ее залога небес.

Молодая королева Дании плакала. Потому что многие плакали. Потому что епископ умел затронуть чувства. Но и потому, что она была невнимательна к Гите. Даже в последние дни. Почему она забыла, что могла и должна была хоть иногда видеться с сиротой, помочь, подготовить к жизни, браку, равно неизбежному и трудному? Королева раскаивалась. Завтра духовник отпустит ей грех небреженья к ближнему, но если бы еще один день, один!

Среди десятков высших, достоинство которых обязывало лично проститься с Гитой, королева нашла время для нескольких слов: «Ты будешь счастлива, не бойся русских».

Взяв кончиками пальцев руку Гиты, русский посол, отныне главнейший, повел к пристани невесту своего князя. Стража шла впереди. Рядом епископ, продолжавший умные наставленья, и король с королевой. За ними — бароны, жены баронов, дочери баронов, сыновья баронов. И другие.

В последние минуты на пристани из рядов других протолкался ученый бретонец Иан Гоаннек. В первый раз и в последний раз наставник, опустившись на одно колено, как рыцарь из Прованса, поцеловал руку ученицы. Ответив поцелуем в лоб, Гита попросила:

— Пиши мне! — И обещала: — Я отвечу.

— Напишу из Атлантиды, — обещал Гоаннек.

Вскоре после отъезда Гиты на Русь узенькие улицы хрепкого города Бордо, морской столицы Гиени — Акви-

тании, приняли Иана Гоаннека. В общине бордоских купцов Гоаннек нашел бывавших в Бретани в годы правления тьерна Конана. Их поручительство и уплата налога дали приезжему права гражданства.

Гоаннек посещал верфи, ходил в море с рыбаками, с купцами, познавал свойства кораблей и искусство кормчих. В последнем он быстро преуспел, так как и раньше умел вычислять пути солнца, луны и звезд лучше, чем мореплаватели.

Нося одежду моряка и усвоив жаргон моря, Гоаннек терпеливо, зернышко к зернышку, нанял полтора десятка моряков, разноплеменных, но соединенных и общностью возраста — он брал зрелых, но не дряхлых, — и опытом моря, и отсутствием якорей на твердой земле, то есть бесfamilных, бездомных. Через полтора года на прочном, широкобоком и устойчивом корабле они спустились по Гаронне к морю. Гоаннек взял продовольствия на год и несколько книг из любимейших. Все остальное он завещал городу Бордо, оставив их в надежных руках своего душеприказчика-епископа, известного жадностью к писаному слову.

Поставив нос корабля на запад, Гоаннек пересек прибрежную морскую дорогу и скрылся в пустых и вольных просторах.

«Ушел неизвестно куда, неизвестно зачем», — говорили о нем. Без корней на твердой земле он никому не был нужен. Таких забывают — пылинки, упавшие в воду. Они исчезают совсем, так как забытое подобно не бывшему. Разницу между тем и другим улавливает философ, а что есть философия? Слова, слова, слова...

Но что мог найти Иан Гоаннек, удайся ему одолеть Море Мрака? То, о чем будет рассказано дальше.

Уэмак перебирал тяжелые кольца, которые надевают на запястье. Кольца были откованы из металла желтого цвета и хранились в ларце, вытесанном из черного камня. Все — не случайно. Металл был связан с Солнцем, Солнце же служило одним из видимых выражений Бога. Цвет камня был так же темен и густ, как кровь, выпитая вокруг жертвенников раскаленным и опасным светилом дня.

Каждое кольцо свидетельствовало об одном из предков. Или — о колене рода. Ведь это одно и то же. Уэмак был последним. Потомства у него не было, все его дети умирали во младенчестве. Самого Уэмака не заботило, что после него не останется ни одного бесспорного потомка людей —

теперь их называют белыми богами, — которые были принесены восточными ветрами на западный берег жаркого Океана Соленой Воды.

Подчиняясь естественной власти вещей и воспоминаний, последний в роде примерял кольцо. Двенадцать поколений тому назад оно принадлежало первому предку, прибывшему сюда. Среди своих нынешних людей Уэмак выделялся ростом и силой. А это кольцо спадало с его руки. Тот, дальний предок, был исполином, с могучим телом на толстых костях. Однако же это его дух и его плоть создали Уэмака. Ибо все имеет начало, и нет никого, кто мог бы появиться первым, без начала. Начало — Бог извечно безначальный. Этого нельзя ни понять, ни доказать. Для ленивого разума человека есть одно свидетельство вечности Безначального — Круг.

На Восточной земле белых людей, на берегах Океана, где вода холоднее, чем здесь, там, откуда отплыл предок и бывшие с ним, великий Круг обозначался камнями. Его изображение повторяли много раз и в разных местах. Это помогало думать и способствовало познанию скрытого. Там же, на просторных и плоских берегах, предки предков Уэмака поставили тысячи камней, малых и громадных, высоких и низких, самых разных, как тысячи тысяч людей и животных, собранных волей Бога. Каменные толпы были столь велики, что между ними можно было заблудиться. А тот, кто долго стоял и глядел, видел нечто великое.

Было так? Или только казалось? К чему сомневаться? Уэмак знал много и о многом. Знал все о своем народе — о людях, среди которых жил. Он, последний в роде, был первым здесь.

Он знал и другую науку. Первый предок, кому принадлежал самое большое и самое тяжелое кольцо для запястья дал закон Памяти. Каждого мужчину — потомка с ранней юности учили знанию того, что было за Океаном, почему предок Уэмака и его спутники покинули Восточную землю и что делается на Океане, который справедливо называют Морем Мрака.

Закон Памяти кончался с Уэмаком: у него не было наследников. С ним кончались дух и плоть, прибывшие с востока. Сыновья его не выжили и более не рождались, хотя Уэмак не был стар. Дочерей не было вообще. К тому же не женщина, а мужчина несет в себе зерно рода. Тому доказательство — сам Уэмак, ни одной чертой лица или тела не похожий на темнокожих людей. И еще доказательство — изваяние одного из предков, высеченное темным

скульптором. Оно будто снято с самого Уэмака, хотя их разделяет шесть поколений, и в каждом из поколений матерью была темнокожая женщина с острым носом и слегка косыми глазами.

Толстые без окон стены и тяжелая крыша охраняли от жары. Дневной свет проходил через нишу двери, глубина которой удерживала снаружи горячий воздух. Черная тень упала на ослепляюще-белую полосу света. Слегка согнувшись, женщина проникла в комнату. Она поставила большое блюдо на низенький стол, а сама, поджав ноги, устроилась на камышовой циновке рядом с Уэмаком. Уэмак легко коснулся головы женщины. Рука его, скользя по жестким волосам, опустилась на плечо. Отвечая на ласку, женщина прижалась плечом к бедру мужчины.

Полдень. Лепешки из маиса, растертого жерновами, нужно есть горячими. Приятен кислый сок плодов. Нежно мясо индейки, самой глупой из всех птиц и единственной, принявшей неволю. Хорошо, когда есть с кем разделить пищу. Здесь был и третий — предок Уэмака с лицом своего потомка. Женщина положила по кусочку мяса и лепешки перед серым камнем изваяния. Могут ли статуи есть? Кто знает, где в этом мире назначена граница между явью и мечтой, душой и телом, прошлым и настоящим, сегодняшним днем и будущим? Одно переходит в другое так же незаметно, как сумерки вчера охватили город Чалан, как они упадут сегодня и как это же чудо завтра совершится для тех, кто доживет до вечера следующего дня.

Оэлло — так Уэмак назвал свою женщину — могла бы назвать счастливыми камни: их никто не ест. Но, может быть, и камню больно, когда его бьют, чтобы добыть из него образы, чтоб сложить стену? Может быть, и камень пьет, когда на него падает дождь или когда на высеченный из камня жертвенник льется кровь? Но еще хуже, если камень не хочет пить, а его заставляют. К чему все это? Без мысли жить нельзя. Уэмак научил Оэлло думать. Ибо счастье и горе всегда идут рядом. О сестры! Душа Ночи и душа Дня, души Света и Темноты... Пусть будет так. Уэмак был богом Оэлло.

Бог дает жизнь... Оэлло помнит себя в тени больших деревьев. На поляне маленькие домики — тогда они казались очень, очень большими — с крышами из толстых, жестких листьев. Трава тоже была жесткая. Оэлло видела, как тяжелая черно-серая змея медленно ползла среди тощей травы. Оттуда, где должен быть хвост змеи, слышался странный треск. Звук прекратился, и змея стала медленно-

медленно поднимать тяжелую голову. Что-то крикнула мать. Плоский камень с острыми краями ударил змеиную голову. Мать умела метать камни.

Змею изжарили на раскаленных камнях очага. У нее было вкусное белое мясо. Из сухих косточек змеиного хвоста сделали омулет против яда. Оэлло носила его, пока не порвался ремешок. Ее больно били в наказание за потерю.

Поляна в лесу была всем миром для Оэлло. В той стороне, где восходило Солнце, лес вскоре кончался. Большие деревья сменялись густой зарослью мелких. Они стояли на кривых голых корнях, цепляясь ими, как пальцами, за твердое дно, покрытое жидкой грязью. А еще дальше начиналась Соленая Вода — Океан. Он то заливал снизу корнерукие деревья, то отступал. Тогда брали все, что попадалось: восьминогих крабов, червей, рыб, ползающих по корням, раковины. Все шло в пищу, все. На поляне среди домиков сажали маис. Траву выпальвали руками, острой палкой из тяжелого дерева делали ямки и в каждую зарывали по два зерна.

Оэлло знала, что, кроме трех десятков семей, живших на поляне, в мире нет других людей. Когда ей минуло, наверное, десять лет, начались дни откровений. Вознося мольбы к богам, мужчина, которого называли старшим, мучил девочку, надрезал ей кожу груди острым ножом из прозрачного камня. Все собирались кругом и молились, произнося слова, смысл которых был темен для Оэлло. Она не кричала. Кровь в ранках запекалась. Шрамы изобразили толстую ящерицу, укус которой смертелен. С этого дня Оэлло называли женщиной. Но ничто не изменилось, и прошло еще много лет, прежде чем она узнала, что значит быть женщиной. А в те дни, когда ранки еще болели, Оэлло внушили, что женщина есть вещь мужчины. Так устроено Богом, и так будет всегда. Но некогда было иначе: женщины управляли мужчинами, дети не знали имен своих отцов. Так длилось, пока боги не решили изменить мир.

И еще Оэлло узнала: только дети считают, что мир людей ограничен лесной поляной вблизи Соленой Воды. Во многих местах живут другие люди. О них говорили со страхом. В лесу, в той стороне, где Солнце стоит всего выше, течет река. Туда нельзя ходить, там могут заметить чужие. Поэтому же нельзя выходить из чаши корнеруких деревьев к Соленой Воде.

Люди поляны не всегда жили здесь. Где-то далеко, за лесом, за болотами, есть великий город-дом с бесконечно

многими комнатами, а в каждой комнате может жить семья. Город-дом был выше самых высоких деревьев? Да, выше. В нем люди кишели, как крабы и черви в корнях, когда отступает Соленая Вода. Потом не стало пищи, люди умирали и разбежались. А что же теперь там? Город-дом был построен из камня. Он остался, наверное, пустой и страшный. В нем живет Голод и скитаются тени бывших богов. Голод был и здесь. Он являлся, невидимый, очень часто, когда было нечего есть.

Шрамы на груди Оэлло уже зажили, когда со стороны реки на поляну пришли чужие. Это было на рассвете. Кто-то нарушил запрет и захотел взглянуть на реку. Оэлло и несколько детей отвели к реке. Здесь всем связали ноги и руки и положили на дно большого челнока. Оэлло увидела за бортами Океан. Солнце дважды опускалось в Соленую Воду и дважды вставало над ней. Пленных не кормили, а победители ели мясо сородичей Оэлло.

В новом месте — то был остров — Оэлло была рабыней, как привезенные с ней, как и доставленные откуда-то еще. Работа была такая же, как на поляне. Сажали зерна маиса, убирали урожай. И все время, без перерыва, искали пищу, любую пищу, собирали все, что можно проглотить. Больше всего давала Соленая Вода. Когда она отступала в глубины своих жилищ, рабыни спешили на отмели хватать крабов, раковины, рыбу, ловить любое живое существо. Приходилось оглядываться на Воду, чтобы она, возвращаясь, не задушила горькой пеной: рабыня тоже боится умереть.

Труд рабыни был не тяжелее, чем у Оэлло на свободе. Потом она поняла, что с утра и до сумерек, когда повелители зажигали костры, она ничего не знала, кроме бесконечной, тупой усталости, будто бы старость уже вцепилась в нее и держалась за нее так же прочно, как раковина держится за свою скорлупу.

Мужчин-пленников повелители держали не долго. Они сразу съедали двуногую добычу, наслаждаясь пищей, лучше которой нет ничего. Если же пленников хватало больше, чем на один день, тем лучше — пиршество длилось, пока не съедали последнего.

Так же как у племени Оэлло, на острове пользовались оружием и орудиями из камня и кости, так же ловко и прочно прикрепляли наконечники из обсидиана к концам деревянных копий, так же усаживали каменными остриями головки тяжелых дубин. Отборные кости шли на гарпуны и остроги, которые служили одинаково на охоте, в бою, на

рыбной ловле. Лесных птиц сбивали стрелами из деревянных луков. Для рыбы плели и сети из волокон растений, вьющихся по деревьям.

На большом острове было мало птиц и много охотников, добыча была трудной и скудной. Лучше ловилась рыба, если бы в сети не попадались большие, страшные рыбы. Зубастые гиганты чаще всего рвали сети раньше, чем удачливым рыбакам удавалось попасть гарпунами в глаза чудовища или оглушить его дубинами. Шкура приносящей несчастье рыбы была слишком крепка для костяных наконечников. Если челнок переворачивался, большая часть рыбаков погибала. Жители побережья почти не умели плавать: из страха перед большими рыбами они не любили Воды.

На острове, так же как и на поляне, где началась жизнь Оэлло, люди были истощены привычным недоеданием. Только мясо утоляло голод. Если слишком долго не было мяса, съедали рабынь. Но это была крайность. Рабыням уготована иная судьба.

Прижимаясь к Уэмаку, Оэлло отдыхала на прохладном полу, у ног своего владыки. Воспоминанья ее не томили. Не было большой разницы между голодным детством и долей голодного подростка-рабыни. Все казалось естественным. Повелители-островитяне, истребившие племя Оэлло, были немногим суровее, чем родное племя, чем отец и мать. Когда разум Оэлло созрел, Уэмак объяснил:

— Над всем властвует голод. Бог, давая людям жизнь, дарит им и волю, и свободу. Тот, кто не умеет защитить себя, кто не может утолить голод, слабеет. Его удел быть вещью и пищей сильнейшего.

Для Оэлло Уэмак был Избавителем. Ее ждала участь других рабынь, определенная законом и обычаями острова. Ее могли съесть в долгие дни голода по мясу. Или она плодила бы детей, не знающих имени отцов. Ее дети должны были бы идти в пищу владыкам. Девочки — по мере случая, который определял судьбы матерей. Мальчики — как сладкая, изысканная пища. Рожденных от рабынь увечили, отнимая будущую мужественность. Потом их откармливали на радость вождей. Маленькие искалеченные существа были самым желанным блюдом.

— Боги не создали людей злыми. Сами люди виновны в своей судьбе, — говорил Уэмак Избавитель. Он, потомок

прибывших из страны Бога Лучей, знал все. Ведь он ничем не похож на других. Он — особенный, единственный.

Оэлло не сознавала, что женщина, отдавшись мужчине всей душой и получив взамен полноту чувств, всегда считает избранника или избравшего ее другим, бóльшим и лучшим, чем все остальные. Женщины ее племени не делились сокровенным. А если и делились, Оэлло была слишком мала, чтобы стать участницей таинственных бесед. Женщины племени Уэмака казались послушными вещами мужчин — вопреки преданью о недавнем времени, когда главенствовала женщина. Ныне в скудости жизни, о которой никто не подозревал, для женщин не было слов, выражавших нечто большее, чем потребности текущего дня. В сущности, и мужчины жили каждый в кругу собственного одиночества. Все знали много имен богов, в толпе которых лишь для немногих скрывался Единый. Знали много названий вещей. И дней. И чисел. И обрядов. И преданий. Но никому не было дела до творимого и творящегося внутри человека. Человек оставался такой же тайной, как и превращение почвы в растение, цветка — в плод...

Уэмак был Вождем Мужчин — тлакатекухтли — по избранию, но на избрание он имел право по происхождению от белых богов. Когда челноки с земли причалили к острову, повелители Оэлло на коленях ждали воли прибывших. В тот день Уэмак, случайно заметив пленницу-рабыню, указал на нее. Этого было достаточно, чтобы исполнилась судьба Оэлло.

Через закрытые веки Оэлло уловила тень. Женщина открыла глаза и опустила голову. Пришел верховный жрец, знаток тайн звезд и времени. Его звание было — Человек Темного Дома. Его боялись. Но он не был так велик, как Вождь Мужчин, и женщина, продолжение плоти Уэмака, могла оставаться.

Годы считались по летним солнцестояниям и по зимним, когда более всего сокращается время пребывания Солнца на видимом небе. В часы ночи видимое выражение Единого движется за Океаном по небу земли предков Уэмака.

Тому минуло триста пять лет, когда белые оставили восточный берег Океана, тот, откуда приходит Солнце.

— Однако же не тогда было начало, — говорил Уэмак.

Его слушали не только Человек Темного Дома. Собрались властвующие. Шахуакоатль — Змея-Самка, бывший главным судьей и помощником Главы Мужчин, ахкакаутины — военачальники родов, образующих племя кальпуле-

ки — родовые вожди. Они сидели и лежали в полутьме и прохладе. Они знали наизусть, что скажет Уэмак. Если он забудет или ошибется, его поправят сразу несколько голосов. Чудесное остается чудесным, пока оно неизменно. Иначе истинное превращается в сказку для развлечения.

— Начало свершилось втайне. Во многих и многих сотнях дней пути на восток от того берега Океана. Это было на земле, где черные были покорены сынами Солнца. После долгих лет покоя сыны покоренных внесли смуту между сынами покорителей. Все разделились. Была война. Одни, изменив Солнцу, подняли багровое знамя восходящей Луны. Другие, верные, собрались под светлым знаменем Лучей. Люди сражались твердым и гибким оружием, какого здесь нет. Змеи сражались ядом и удушьем. Одни звери — таких здесь нет — бились длинными клыками длиной в тело человека. Другие — рогами. Другие — когтями, длинными, как кинжалы, а тела их и сила во много раз превосходили тело и силу оцелота. Потом все сошлись на необозримой долине под горами. Верные Солнцу победители. Но нет конца бремени жизни и войны...

Так было вначале, так было, так было, — повторял Уэмак слова, заученные от отца, который заучил их от деда, слова, принесенные с восточного берега Океана. — После победы предки моих предков, исполняя волю Солнца, пошли вслед ему на запад, на запад, на запад. Всем мы общали волю Солнца. В горах мы строили алтари Солнца из четырех каменных плит, покрытых пятой. А перед ними — круг из камней, глубоко погруженных в землю. Когда весной первый луч Солнца падал с вершины горы на алтарь, мы приносили жертву богу, предлагая ему живое сердце человека. Утвердив истину, мы уходили дальше на запад, на запад, на запад, пока нас не остановил Океан.

— Да, да, — сказал кто-то, зная, что сейчас последует знакомый перерыв в течении знакомого рассказа.

— Там, — Человек Темного Дома указал на север, — Бог сошел с неба в пламени и в тысяче громов. В месте, где он коснулся земли, среди вечнозеленых лесов остался его след такой глубины, что в нем поместятся все люди лесов и все люди степей. Это там, где зимой даже в низинах выпадает снег, как на вершинах гор. Я знаю. Так было!

— Это так, это так, — подтвердили несколько голосов.

И что-то изменилось — случилось, что души этих людей противились власти священной повести: Человек Темного Дома напоминал о чуде, совершенном на земле красных людей и для красных людей. Пусть место прояв-

ления величия Единого и далеко, но оно доступно. Сделав усилие, Уэмак продолжал:

— По дороге к Океану мы просвещали людей, давая им Солнце. Мы владели берегом Океана. Другие люди пробовали теснить нас, но мы отбрасывали всех. И всегда, всегда, всегда берега Океана и острова у берегов принадлежали нам. И только мы умели сообщать другим людям истину познания Солнца. Менялись времена, остывал воздух, долгие годы бывало так холодно, что зимами льды покрывали Океан. Потом шли многие и многие годы, когда Океан теплел. Одно сменяло другое, а мы оставались детьми Солнца. Почти триста поколений мы жили у берегов Океана.

Почувствовав, что души слушателей открылись, Уэмак говорил:

— Затем на нас напали люди, чьим богом был Крест. Мы долго сражались с ними. И когда настала жизнь двести шестьдесят девятого поколения, мой предок и другие решили уплыть по Океану вслед за Солнцем. Это, — Уэмак поднял тяжелое кольцо, — мой предок носил на запястье еще на том берегу Океана.

Мы плыли за Солнцем. Ветры и течения несли нас, но мы всегда стремились видеть заход Солнца перед собой, а утром мы поворачивались назад, чтобы встретить его. Мы плыли. Мы пили дождевую воду, а когда не было дождей, мы сосали сок рыб. По ночам из бездны Океана поднимались чудовища, большие, чем наши челны, и в их глазах, громадных, как жернова, отражался свет звезд. Веревки от парусов и ручки весел врезались в руки, разбухшие от воды, а соль разъедала раны до кости. Размокало дерево челнов, и волны крошили борта. Из кусков сломанных мачт мы связывали новые. Сгнили паруса, мы делали новые из кожи морских рыб. Бывали долгие дни, когда тучи закрывали небо, и мы знали, что солнце не погасло лишь потому, что свет сменялся мраком. Но где было Солнце за тучами, мы не знали, и не знали, куда уносили нас бури.

Челн моего предка остался один. Куда делись девять других, никто не узнал никогда. Мы считали дни и отмечали их на выделанной коже. Кожа сгнила, и мы делали знаки на бортах. Сгнили борта. Но мы знали, что минуло более двух сотен дней, когда кончился Океан. Только двадцать человек из всех, покинувших тот берег, вышли на этот. Из них двое были чужими: наши пленники и наши гонители, знатные люди из жестокого племени, которое гнало нас под знак Креста. Мы построили жертвенник. И

даровали сердца пленников Солнцу. Так поступили мои предки перед вашими предками. И так утвердился союз между ними. Все чтили Солнце. Но ваши предки узнали от моих, какая жертва нужна Солнцу и как совершается обряд...

Солнце готовилось уйти за горы, которые закрывали запад. Весь день ветер уносил туда дым, поднимавшийся из купола самой высокой вершины хребта. Сейчас, в вечернем покое, тяжелая струя, свободно поднимаясь вверх, безвозбранно расширялась в высоту. Уэмак называл эту особенную форму грибом — одним из двух слов, сохранившихся из всех слов, принесенных с того берега. Вторым словом было имя, передававшееся в его роду от отца к сыну. Оно было трудно для произношения и так же не похоже на другие слова этого берега, как лицо и тело Уэмака — на лица и тела красных людей. Иан — таков был звук имени, чуждый самому Уэмаку.

Многое, ускользящее от разума, а потому и ненужное, было изображено знаками-картинками, трудными для понимания, так как изображалось не существующее на этом берегу Океана.

Изгнанники не нашли в земле чего-то, нужного для изготовления оружия. Вскоре камень заменил твердое вещество мечей, топоров, кинжалов. Рисунки-знаки темны, истерты. Иан-Уэмак знает, что действительное для него давно непонятное для других. А понятно ли и для него? Не ветер ли принес его предков с вершин восточных гор? Там, в стране предков, не было гор. Но красные, живущие среди гор, могут понять величие, лишь возвышая известное им. Таковы все люди.

Солнце ушло, оставив землю на волю ночи и сна. Оно было бы единственным выражением Бога, не покидай оно землю. Но оно уходит, позволяя рождаться темным богам-оборотням, искаженным отражениям истины, то есть злым.

Сегодня, как вчера, как всегда, на черном небе расположились созвездия. Чудовищный дымный гриб, заслонив край неба, скрыл часть звезд. Стали видны багровые отблески пламени, которое опять проснулось под землей. Гора дышала огнем. Нужна война, ибо уже давно алтари получали ничтожно мало жертв.

Так было, так будет. И такова мудрость людей, безразлично от того, что служит им истиной.

Только так, именно так... Иан-Уэмак родился уже посвященным в тайну неизбежного, неизменного.

Его предки хотели нечто изменить, и преданье, доверенное ныне почти непонятым знакам-рисункам, донесло тщетность усилий. Пытались совершить — и не совершили. Пытались ли? Наверное, ведь, пока человек не попробует сам, он не верит в тщету усилий. Преданья утешили Уэмака. Правда открывалась в перечислении того, что существовало на том берегу Океана и чего не было здесь. Особое вещество, из которого изготовляли оружие и орудия, давало силу людям. Там были животные, покорные воле людей, как пальцы рук: на своих спинах они переносили людей. Запряженные в плуги, послушные звери рыхлили поля, где росла обильная пища, которой здесь нет. Другие прирученные звери и птицы давали столько мяса, сколько хотел человек. Леса и степи были полны диких животных, и вместо войны люди охотились со спин послушных животных и возвращались с мясом. Не нужно было брать пленников и убивать их.

Там глубокие реки кишели робкой рыбой. Там всё не так, как здесь. Здесь нет стад животных, здесь леса и реки полны врагов человека, острые зубы и яд ждут под каждым кустом и на каждой пяди заросших речных берегов. Глупая пестрая птица на высоких ногах, разучившаяся летать, и маленькая безголосая собака — только два ручных животных есть здесь. Чтобы облегчить себя, человек должен взвалить ношу на спину другого человека.

Далеко на севере, где-то вблизи места проявления Бога, о чем поминал Человек Темного Дома, бродят громадные вольные стада рогатых зверей. Люди охотятся за ними. Но ручных зверей нет нигде. Предки Уэмака чего-то искали, что-то пробовали изменить. Об этом рассказывают древние, понятные лишь Уэмаку рисунки; другие их смысл ныне толкуют по-иному. К чему думать, о чем в действительности хотели рассказать создатели записей? Нужно ждать завершения жизни. Усилие бесполезно, все совершится неотвратимой силой Бога.

Женщина, тень мужчины, тенью появилась рядом с Уэмаком. Город-дом, ступенчатый улей, казался бы уже мертвым, если бы кое-где не мерцали смутными, но все же живыми пятнами угли в общих очагах. Над плоскими крышами в трех местах поднимались тупые вершины многоступенчатых пирамид — жилищ Бога и богов..

Колоссальные, подавляющие, они казались такими же неразрушимыми, как жертвенники из каменных плит, возводимые предками Уэмака на пути с востока на запад. И такими же вечными, как собрания камней на том берегу Океана. На макушках пирамид светились неугасимые огни.

Ночью, когда темнота скрадывает подробности и расстояния, возведенное людьми выглядело таким же величественным, как горы, созданные творцом всех вещей. Мрак возвышал дело людей, не унижая дело Бога.

«Бог ревнив, — думал Уэмак, — его день слишком ярок, слишком очевидно величие Солнца... Ночью власть Бога ослабевает».

Оэлло обняла Уэмака, смело и сильно. Да, ночью храбрость женщины превосходит храбрость мужчины — ей помогают звезды. Глаза Оэлло блестели, отражая лучи звездного света. Ее волосы пахли странно и ново. Женщины умеют, собрав цветы, добыть их ароматы с помощью каменного пресса.

Летучие мыши чертили небо. Трепеща крыльями, в воздухе беззвучно остановилась сова. Что-то привлекло владычицу тьмы. Уэмак различал громадные глаза ночной птицы. Она висела в двух локтях над изголовьем низкой кровати из кожи, натянутой на раму черного дерева.

Оэлло приподнялась. Опираясь на локти, женщина заслонила своей головой вестницу несчастья.

На западе небо осветило красным — там гора дохнула огнем. Так здесь часто бывает. Как обычно, послышался глухой гул. Чуть дрогнула земля, изгибаясь над насилием огня, чуть дрогнул полный людьми глиняный улей, колыхнуло пол. Все непрочно, все случайно... И все это было привычным, будничным, таким знакомым.

— Шочи, шочи, — шепнул мужчина женщине.

«Шочи» — цветок на языке земли, которой принадлежали оба.

Шли кучками. Прятались в тени. На открытых местах крались согнувшись. Но многим уже надоело: ведь трудно три дня подряд делать одно и то же. Первые два дня похода войско-толпа находилось на своих землях. Однако же порядок соблюдался лучше. Мечтали об успехе. Остерегались встречи с лазутчиками: говорили, что где-то и кем-то были замечены чужие.

На третий день сказалась усталость. Появились больные, так как сырая мука из маиса плохо переваривается

Угнетала тяжесть оружия. У каждого был лук, согнутый из упругого дерева. Жильная тетива делала опасной стрелу по меньшей мере на сто шагов. Длинные мечи были изготовлены из жесткого дерева, с лезвиями из осколков камня. Из такого же дерева были палицы с острыми кусками обсидиана, вделанными в головки, напоминавшие сжатый кулак. Топоры из тяжелого каменного клина, насаженного на прямое топориче, тащили на перевязи за спиной. Короткие ножи делались из прямого куска обсидиана, привязанного ремнями к деревянной рукоятке. Надежным оружием были копья длиной в два человеческих роста.

Уже в первый день слабейшие открыто освобождали себя от непосильного груза, складывая ненужное в приметных местах. В середине третьего дня войско было остановлено в лесу, за которым скрывался враг, обреченный в добычу. Вожди знали дорогу, вели лазутчики: в них превращались торговцы, знатоки расстояний и тропинок, причудливой сетью покрывавших всю землю от неприступных гор и до берега Океана.

Отдых был необходим. Все переутомились. Обремененные оружием, люди были не в силах нести на себе много пищи. И хотя каждый получил столько же, сколько все, у многих запасы кончились еще вчера. Так было обычно. Привыкли к тому, что не приходится требовать многого. Кажущаяся беспечность была результатом слабости. Однако же неудача грозила тем, что иные не найдут сил, чтобы вернуться.

Медленно продираясь в колючем подлеске, люди шумели по необходимости, чтобы спугнуть ядовитых гадюк, владеющих лесом. Для безопасности расчищали полянки от травы и устраивались на долгий отдых. Нападение будет произведено в конце ночи, как везде и всегда.

В общем беспорядке был свой порядок. Город-дом образовывался единством трех родов, из которых каждый, однако, имел свою храмовую пирамиду и своего вождя, звавшегося Старшим Братом — ахкакаутином. Уэмаку, Главе Мужчин, подчинялись все три ахкакаутина.

Вожди совершили свое. Бог войны Уицтлипочтли — Владыка Ночи — задобрен обещаньем жертв. Войско приведено в нужное место и вовремя.

Привычка жить вместе в громадах домов, слитых из комнат без дверей, служивших отдельным жилищем для мужа, жены и детей, привычка совершать все на глазах у всех, привычка считать своим лишь несколько вещей из домашнего обихода и одежды — все объединяло мужчин.

нынешних воинов. Они сбивались кучками, как жили, считаясь ближним и дальним родством крови, шли вместе — три-четыре десятка, — вместе устроились на отдых. Но те, у кого осталась пища, не думали делиться с тем, кто сам себя обездолил. Дележ был бы вопиющей несправедливостью: каждый получил свое на время прхода.

Уэмак и Старшие Братья расположились в тылу войска. Захват вождя не просто означает победу. Потеряв вождя, войско разбегается. Бог и боги покинули его. Охрана разместилась тут же как придется. Приблизительно две сотни. Как и всегда, строй не существовал, и никто не думал счесть людей и указать им какое-то место.

Тезоатл наблюдал, как рабы служивали Уэмаку: вожди были единственными, кто не был обязан сам нести оружие и припасы. Тезоатл был почти сыт. Он сумел сохранить две маисовые лепешки для последней трапезы. Это не мешало ему с жадностью следить, как насыщались старшие. У него были свои счета с Уэмаком. Глава Мужчин четыре года тому назад наказал Тезоатла. За леность и непослушание. Как будто бы только один Тезоатл «забыл» копье и меч на обратном пути от Теско, от того самого города, на который нападут завтра. Тогда, четыре года тому назад, поход был неудачен. Был избран более далский путь, кто-то предупредил тескуанцев. Потеряв преимущества внезапности, войско два дня простояло у Теско и пошло вназад, умирая от голода.

Тезоатл считал себя ничуть не хуже Уэмака, в его жилах тоже текла кровь белых богов. Так говорили. Но все предание, вся власть, весь почет издавна принадлежали только роду Уэмака. Остальным же досталась участь быть потомственной стражей вождей. Тезоатл вспомнил слова Человека Темного Дома: все может измениться. Этот вождь, не то что Уэмак, был милостив к Тезоатлу. Что изменится? Ничто... Тезоатл отвернулся, чтобы не раздражать себя зрелищем недоступного, и вскоре крепко заснул.

Солнце шло над вершинами леса, наполненного спящими. Медлительные, как сытая змея, неизбежные, как смерть, ползли последние часы шестого дня осеннего месяца. День назывался микстли, а месяц — тепелиуитл. Все дни были сосчитаны и названы. Все месяцы и годы — тоже. Все было известно о прошлом. Не было тайн и в будущем.

Мир был стар, стар, также стар, как камни, как Океан, как пламя в животах огнедышащих гор.

В начале начал бесконечно далекий и бесконечно безразличный ко всему наивысший из всех богов — Солнце есть низшее его выражение — по имени Тлоке-Науаке создал все. Наступило первое время, называемое Солнцем Вод. Это было господством Воды, оно длилось четыре тысячи и восемь лет, закончилось великим потопом, и люди превратились в рыб. За ним наступило второе время — Солнце Земли. Оно истекло через четыре тысячи и десять лет. Земля тогда скорчилась от землетрясений. Гигантских людей поглотили трещины и пропасти. Наступило третье время — Солнце Ветра. Оно завершилось ураганами невиданной силы. Немногие люди из оставшихся в живых были превращены в обезьян.

Ныне длится четвертое время — Солнце Огня. Оно закончится через тысячу лет от сегодня. Через тысячу лет Великий Огонь сожжет всех людей. Так будет, это не подлежит сомнению. Трижды погибали люди, переобременив собой землю, погибнут в четвертый.

Через тысячу лет! От живущих сегодня великий пожар удален на десятки поколений. К чему бояться событий, которые совершатся тогда, когда даже кости мои исчезнут без следа! Тезоатл хотел жить так, как жили до него, как будут жить после него. Человек Темного Дома сказал: «Я позабочусь о тебе, если ты будешь послушным».

Смерть держит каждого в невидимых, неосязаемых объятиях. Легкое сжатие — и тебя нет. Тезоатл, как все, свьется с видом смерти, с кровью, со священным насидием над жертвой с той минуты, когда его глаза открылись для жизни. Быть, как все. Не бояться смерти — ее не боится никто.

Исчислив по звездам начало второй половины ночи, вожди разбудили воинов своей охраны. Охрана разбрелась по лесу, будя остальных.

Надевали длинные рубахи, толсто простеганные хлопком и пропитанные солью. Эта жесткая и прочная одежда хорошо защищала тело не только от укулов стрел, но и от ударов мечей и копий. Головы прикрывались причудливыми и устрашающими шлемами в виде голов ягуаров, красных волков, медведей, орлов или фантастических животных. Деревянные каркасы шлемов были обтянуты звериной шкурой или змеиной кожей. Лица людей смотрели из разинутых пастей, будто готовые скрыться в глотке чудовища. Маленькие круглые щиты, украшенные перьями, довершали защиту.

Накапливаясь в крошечной тьме леса, с трудом пробираясь через заросли, воины выбрались на опушку. Едва серело. Утренняя звезда мерцала и струилась зелеными лучами. Вися в глубине седлистого ущелья, владыка последнего часа ночи одноглазо взирал на спящий мир. Две острые вершинки по бокам звезды казались крыльями вампира.

Войско-толпа напозало на обреченный город Теско. Шли по полям, покрытым плодородным илом, который в период дождей приносился благодетельными потоками. Маис был убран. Коленчатые стебли, освобожденные от обильных плодов, дрябло хрустели под ногами.

Оросительные каналы, как обычно, запущенные после уборки урожая, смердели гнилью. Заросшие водолюбивыми травами, каналы местами были засыпаны, чтобы сделать переходы для переноса урожая. Между земляными мостиками образовались узкие болотца, кишасшие личинками и гадами.

Светало с быстротой, которая удивила бы жителя севера. Все заторопились. На земляных перемышках теснились. Крайних сталкивали в мутную воду. Змеи чертили темную поверхность, высоко поднимая плоские головы и сразу пряча их. Заросли водяных трав раздвигались под напором толстых тел перепуганных обладателей яда.

Подъем от полей на террасу, где стоял Теско, преодолели бегом. Скорее к стенам города, которые были также и задними стенами жилищ. Грозная издали, вблизи преграда не была неодолимой. Во многих местах стены, сложенные из сырого кирпича, выкрошились, образуя подобие лестниц. Узкие тропы-дороги, служившие людям, не имевшим повозки или вьючных животных, заканчивались у стен не слишком надежными дверями.

Теско легко защитился четыре года тому назад, но сейчас город проспал свою жизнь и свободу. В десятках мест нападающие залезли на крыши, было выломано много дверей, и чаланское войско наводняло Теско, когда его жители очнулись. Они выскакивали без оружия, почти не одетые или совсем голые. Нападавшие в своих разнообразнейших боевых одеждах резко отличались от жителей Теско.

Наслаждаясь властью вооруженного над безоружным, Тезоатл размахнулся мечом. Острые камни разорвали спину старухи, которая с воплем выскочила из ниши. Опьяненный удачей, Тезоатл перепрыгнул через бьющееся тело. Откуда она выскочила? Пригнувшись. Тезоатл

ворвался в темную комнату. Темнота испугала воина и охладила порыв. Прижавшись спиной к стене, Тезоатл закрылся круглым щитом. Защищаясь, он вслепую махал мечом перед собой, пока его глаза не привыкли к полутьме. В дальнем углу из-под травяных циновок торчали ноги.

— Выходи, или убью! — приказал Тезоатл. Он устал и вряд ли мог найти силы для настоящего удара. Из-под циновок робко вылезли побежденные. Четверо!

Тезоатл связал руки и ноги побежденных крепкими веревками из агавы. Мужчина, женщина, двое подростков отдались, как тела, уже лишённые жизни. Пленники. Победа! Теперь нужно поискать другую добычу.

Такой же легкой победой закончилась война для первых ворвавшихся в Теско. Задние спешили выше, карабкаясь по ступеням крыш. Каждый обыскивал темные комнатки, каждый искал, искал, и движение замедлилось. Верхние кварталы Теско, устроенные на горных террасах, еще не были захвачены. Жившие там и успевшие бежать снизу начали оказывать сопротивление. Склады оружия — дома стрел, находившиеся близ площади с храмом Теско, снабдили жителей. Крики нападающих и крики жертв сливались в безобразный невообразимый шум.

Уэмак и родовые вожди — ахкакаутины — через торговцев разведали силу Теско и могли взвесить способность тескуанцев к сопротивлению. Войско Чалана пользовалось великими преимуществами внезапного нападения. Дальнейшее не зависело от вождей. Целью войны был захват пленников и грабеж побежденных. Однако еще никто не умел сначала подавить сопротивление, а потом пользоваться победой.

Нижняя часть города Теско была захвачена. Все, кто успел бежать, кишели, кричали, метались наверху, на последних ступенях образованных крышами домов, на площади, в середине которой поднималась пирамида, похожая на пирамиды Чалана.

На плоской вершине пирамиды, увенчанной храмом, жрецы пытались вызвать чудо. Для этого следовало умоливать богов. На каменном алтаре поспешно растягивалась жертва, привычные руки разрывали каменным ножом грудь. Облитый кровью жрец спешил в святилище, чтобы сжечь перед образом Бога драгоценный кусок мяса. И следующая жертва ждала своей участи.

Угождай богам, чтобы тебе было хорошо. Корми богов. Они едят сердца людей, а тела оставляют верным. Несчастье и смерть ждут повсюду — как змеи, свернувшиеся

в траве, невидимые и настоженные, подобно западне, подобно натянутой тетиве лука. На случайное, безвредное прикосновение они отвечают убийственным укусом. Священная скульптура повсюду изображала змею — выражение божественной силы, беспощадной, неумолимой. Так было всегда, и каждый привык, и каждый не замечал, не понимал всеобъемлющей власти страха.

Но к голоду тела нельзя привыкнуть. Нельзя научиться не слышать беспокойного зова желудка. Правду легко обманывают хитросплетением слов, тело не слушает убеждений.

Благословенный маис был так же бессилён, как бессильна среди богов его скромная богиня, похожая на смертную женщину.

Мяса, мяса и мяса — это требование могло бы оказаться сильнее страха перед Богом, но сам Бог способствовал его удовлетворению.

В сломленном Теско перед богами города поспешно сжигали сердца растерзанных жертв. Тянуло горелым мясом, и этот запах пьянил сильнее, чем перебродивший сок агавы. Тянуло также и вареным мясом. Тела жертв Бог даровал верным. И тескуанцы спешили насытиться, прежде чем сами они сделаются жертвами и пищей.

Тезоатл с проснувшейся яростью затянул узы своих пленников и метнулся вверх, на приступ и к трапезе. Бжжали другие. Теснясь, спеша, нападающие цеплялись за выступы в стенках. Забивали узкие лестницы. Мешали один другому, но в общем порыве рвались наверх: пора кончать.

Еще усилие. И еще. Само Солнце спешило. С начала приступа истекли мгновенья, но Солнце вознеслось высоко-высоко, и палящий жар изливался на бойню.

Выше, выше. Кто-то из дорвавшихся первым падал под ударами защитников. Удары были неверны, оружие падало из рук. Попытка сопротивления не могла остановить порывы нападающих.

Отгнав защитников, победители овладели котлами. Дележ произошел мгновенно. Мясо поглощали с жадностью голодающих. Обглаживали кости, дробили их, рылись в черепках, выскребая мозг.

Несмотря на высеченные в плитах стоки, верх храмовой пирамиды был залит свежей кровью. Святилище богов Теско открывалось узкой нишей двери. Внутри было темно. Из темноты вырывались пронзительные взвизги, молитвы, крики. Священнослужители гневно упрекали богов.

Разве мало было жертв! Разве вся жизнь народа не обременена обрядами, как спина раба!

Темны пути людей. Непроницаемы изгибы человеческой воли, и непонятны причины возникновения ненависти и любви. Как же судить о намерениях Бога? Кто поймет, что делается в таинственном бытии высших сил!

Солнце сушило храмовую площадку, и свежая кровь смердела вместе со старой кровью. Затащив наверх лестницы, десятка два победителей забрались на плоскую крышу. Трудно было начало. Затем вслед за первой сброшенной плитой кровли разрушение пошло легко. Кровля рушилась, обнажая прокопченные дочерна балки. Умолкли призывы победенных жрецов. Внутренность храма осветилась.

Открылось тайное, но зримое, так как оно было создано рукой человека. Чудовищные изображения, безразлично покоряясь насилию, выставляли напоказ черты, полные значения.

Мать богов Коатликуэ стояла на толстых ногах с когтями вместо пальцев. Прижав локти к бокам, она раскрывала перед сморщенной грудью громадные лапы. А на зобастой шее была не голова, а курносый череп: мать богов была также Богиней Земли, то есть и Смертью.

Койолшауки, сестра Бога войны, была изображена стоя, но мертвой. С закрытыми глазами на толстом, откешшем лице, с обвисшей нижней губой. А сам Бог войны обладал двумя лицами — в устрашающей смеси черт человека и ягуара, — окруженными лучами: каждый луч был стрелой.

Рядом с ними толпились другие, сидя, стоя, согнувшись. На стенах были высечены рисунки из жизни богов и людей, покровителями которых они были. Жертвоприношения, победы, жатва маиса, и еще жертвоприношения, и еще победы. Ярко раскрашенные изображения были понятны своим, кто умел находить глубокий смысл в устоявшихся символах. Но чужой взгляд увидел бы только изощрение ужаса перед бытием и страх творца перед своим твореньем.

Это были не более чем видимые атрибуты невидимого. Но в них — и желание служить высшему, чем сам человек, и его жалкая судьба. Ступени, по которым поднималась мольба человека о милости, о добре. Милость к одному значила немилость к другому, и добро для первого было гибелью, злом для второго.

Священные изображения в Теско были очень похожи на изображения в Чалане. Почти двойники. Через них —

посредников — желания тескуанцев возносились к тем же богам, к которым обращались чаланцы. Святылище победенных подлежало уничтожению. Это было не святотатство, но расчетливое действие победителя.

Рушились стены. Преодолевая мертвое сопротивление камня, в проломы выталкивали статуи. Еще усилие, еще. Кренясь, боги падали, дробя ступени и разбиваясь сами. Торжествующие крики победителей, сливаясь с воплями побежденных, поднимались и падали, как океанский прибой.

Потом пришла очередь другой святыни. В глубоком бассейне с отвесными стенами жили ядовитые змеи. Откармливаемые внутренностями жертв, живые посредницы между человеком и вечностью благоденствовали в сытом локое. Почти бессмертные, здесь они, год за годом сбрасывали старую шкуру, вырастали до невиданных размеров. Иногда между ними возникали ссоры. Происходили битвы, голстые тела пестрили кровью. Жрецы проникновенно толковали смысл пророческих сражений. В них бывали отступления и победы, но почти никогда смерть не вмешивалась в змеиные войны: наглядно доказывая свое преимущество над людьми, эти бойцы не умирали от яда подобных себе.

Никто не решился бы спуститься вниз. Чаланцы избивали священных змей камнями. Затем развели рядом костры и сбросили вниз рдеющие массы угля.

Так была завершена победа над плотью и духом тескуанцев. Победители не стремились к уничтожению победенных. Чалану не были нужны ни город победенных, ни его обработанные поля, ни его земли, еще не занятые посевом. Чалан смирил Теско, иной цели не было и не бывало. Оба старших вождя были взяты в плен. Их судьба — лечь избранными жертвами на жертвенниках Чалана. Остальные вожди были освобождены. Неразумно уничтожать всех имеющих власть. Это вызовет смуту, и некому будет принять предписание о дани, которую ныне и навеки обязаны платить тескуанцы.

Отличившиеся воины, первыми захватившие пленников, были награждены знаками из перьев. Для благодарственной жертвы были отобраны дважды двадцать по двадцать — восемьсот пленников. Остальные были оставлены в Теско, чтобы возделывать землю и заниматься ремеслами, извлекая из земли и из труда дань для Чалана.

Война окончилась. Войско отдыхало, сытое мясом, насилием и сознанием своего превосходства: боги будут сыты и милостивы.

Квинатцин полировал кусок обсидиана, чудесного твердого камня, глыбы которого находят около огнедышащих гор. Движения руки были терпеливы, медленны и точны, как движения птицы, зверя. Или еще более точны, но их не с чем было сравнить в мире людей, не знавших колеса и гончарного круга.

Кусок обсидиана уже был обколот и отшлифован песком, с одной стороны — плоский, с другой — выпуклый. После полировки камень делается почти прозрачным. Лучи света, уйдя внутрь, отразятся от мутной плоской стороны, и камень засверкает. Он перестанет быть камнем и превратится в глаз. И ляжет в орбиту змеиной головы, уже совсем готовой, чтобы украсить угол храма.

Голова лежала тут же, громадная, с оскаленной пастью, с вздутыми ноздрями, с рядами чудовищных зубов.

У настоящих змей, у обычных, головы куда проще, у них только два зуба в верхней челюсти. Змеи не оскаливаются, как ягуары в ярости и люди в злобе. Но ведь эта голова была пусть несовершенным, но все же выражением божественного, большего и превосходящего все, что живет во временной плоти. Каменная голова — знак!

Очень важно снабдить скульптуру глазами. При бедности гладких форм живой змее маленькие глаза дают жизнь, дают значение. Змея с выколотыми глазами — ничто, это червь. Квинатцин знает, он делал опыты, он вглядывался, он думал и постигал.

Он и сейчас думал, думал и думал, отдыхая за работой, которую мог бы делать любой начинающий. Он тер и тер выпуклость куском кожи, в одну и ту же сторону, справа налево, справа налево: так, как Солнце движется по небу.

Квинатцин держал камень — уже почти глаз — на левой ладони, цепко охватив его изуродованными пальцами. Не было ни одного из пяти пальцев, который не страдал бы, и не один раз. Такова участь скульпторов. Пока правая рука не научится владеть молотком, достается пальцам. Базальтовый молоток срывается. Или раскалывается каменное долото-рубило. Опыт приходит только с годами: внутри нечто предупреждает работника, и он успевает в последний миг ослабить удар, отдернуть руку.

Скульптору несравненно тяжело. Но Квинатцин не поменялся бы местом даже с Вождем Мужчин, белокожим Уэмаком, происходящим, как говорят жрецы и люди, от богов. Молча, без похвалы Квинатцин считал себя выше всех. Через него Бог находил свое многообразное обличье, через него мысли Бога и желания Бога делались видимыми. Бог оплодотворял Квинатцина, и Квинатцин рождал.

В Чалане было больше чем трижды по двадцать скульпторов. Помощников и учеников, пригодных для грубой работы, было во много раз больше, чем скульпторов. Но как работали скульпторы? Либо по старым образцам, либо копируя новое, созданное Квинатцином. Да, творил только он один. Глава скульпторов, Квинатцин был устрашающе жесток. Он изобретал мучительные наказания. И сам приводил в исполнение приговоры. Он ненавидел помощников за их необходимость. Он хотел все сделать сам и вымещал неисполнимость желанья на неудачливых и несправедливых.

Квинатцин полировал глаз змеи грубой, жесткой шкуркой. Это была кожа громадной рыбы, привезенная с берега Океана. Квинатцин не видел и не хотел видеть Великой Воды, что ему до рыбы, созданной для полировки камня. Второй день он трудился над глазом. Он сказал, что не хочет поручать дело грубым рукам глупцов. Они испортят глаз. Погибнет труд многих людей и многих дней. Квинатцин не торопился. Ни он, ни его соплеменники не умели спешить. И без того жизнь шла слишком быстро.

Руки Квинатцина работали сами собой, а он мечтал о новом, грезящемся ему воплощении Бога войны. Поход на Теско закончился великой победой. Город Чако, сосед Теско, напуган и изъявил покорность. Власть Чалана возрастает. В Чако посланы сборщики дани. Они распорядятся людьми, укрощенными страхом, и скоро вернуться с носильщиками, которые принесут первую дань и лягут жертвами перед богами Чалана.

Страх — могущественный владыка, величие — в том, чтобы внушать ужас. Ужасающий других делается сытым, богатым. Самое лучшее для Квинатцина выражение могущества высшего воплощалось в Уитципочтли — Боге войны.

Отложив полировальную кожу, Квинатцин ласкал глаз быстрыми прикосновениями мягкой шкурки оленя, присыпанной мелом. Дело пришло к завершению. Квинатцин осматривал глаз, держа его против света. Глаз был гладок и ясен, как око ребенка. В середине ощущался маленький

бугорок, который нарушал правильность формы. Нужно попробовать.

Квинатцин встал, потянулся. Никакое усилие не могло бы расправить сутулую спину, выпятить впалую грудь. Неловко переступая кривыми ногами, Квинатцин выбрался из тени к змеиной голове.

Скульптора изуродовала работа, но он не думал о своем уродстве, не знал его, как не знали его и другие. Это тело с тяжелой головой, с мощными руками, неловко подвешенными к покатым плечам, сутулая, почти горбатая спина, искривленные ноги — все было в какой-то соизмеримости с твореньями искусства чаланцев. Все — чудовищное, все — преувеличенное. И во все вложен особенный, подавляющий и ужасающий намек.

Квинатцин присел, вложил глаз на место и отступил от змеиной головы, прикрывая ладонью глаза. Да, пустая орбита ожила!

Он вглядывался, восхищенный. Кажется, еще раз произошло то, на что он только что понадеялся: может быть, та самая небольшая неправильность формы, только что замеченная, и придала такую жизнь глазу. Чудесная особенность творчества — будто бы ошибка на самом деле и дает божественное ощущение законченности. Скульптор обязан ждать чуда, его руками управляет Бог.

Квинатцин отступил на несколько шагов и опустился на колени. Вторая орбита, еще пустая, скрылась и голова змеи показалась завершенной. Теперь увиденное Квинатцином обнаружило свое великолепие. Это — искусство! Оно несравненно выше жизни, прекраснее самых прекрасных форм, живущих на земле. Творец есть посредник между Богом и людьми.

Не было рядом людей, чтобы Квинатцин мог подавить их величием своего гения. Склонившись, он коснулся лбом земли. Он первым боготворил Великую Змею. Она создавалась сама через тех, кто вырубал камень, кто тащил его сюда, кто отесывал его. Оно завершилось, творенье, через Квинатцина. Без него не было бы ничего! О Красота!

Квинатцин беззвучно молился. Перед внутренним взором скульптора неясные прежде образы принимали четкость. Он видел Уитцлипочтли в новом воплощении, которое предстоит через руки Квинатцина.

Побеждающая Красота! Ему вспомнились слова индеец, которые столько-то лет назад пришли откуда-то с юга. Родившиеся в далекой стране. грубое, неблагозвучное название которой Квинатцин тогда же забыл, они шли на

север. Бог повелел им найти какое-то место, где растут цветы, обладающие особенной силой. Им позволили идти, так как они были искателями, так как их было лишь трое и они казались безобидными. Они понимали в искусстве ваяния и восхищались Квинатцином. Уходя, один из них сказал Квинатцину: «Нужно остерегаться людей, из рук которых выходят уроды. Ибо уроды выражают не красоту, а злобу души творца».

Квинатцин согласился с иноземцем: бывают истины столь очевидные, что их принимают без размышленья. Через много дней явились сомнения: не оскорбил ли чужеземец богов Чалана? Было поздно гнаться за преступниками.

Сейчас Квинатцин хотел, чтобы чужеземец был рядом. Он не слеп, он постиг бы, как прекрасна Змея.

— Но где же все, почему нет ни одного скульптора, куда все ушли? Густой рев священного храмового барабана заставил Квинатцину очнуться. Сегодня день праздника победы над Теско! Желудок напомнил о себе. Квинатцин забыл поесть. Он резко поднялся. И замер, пошатываясь в борьбе с головокруженьем.

Для Квинатцины все были равны в толпе, все одинаковы. Всегда невнимательный, всегда видящий нечто большее, чем лицо человека, он никого не узнавал, а его знали все. Грубо расталкивая людей сильными руками, Квинатцин пробился вперед.

Храмовый барабан гасил все звуки, безраздельно владея вселенной. Вверх по пирамиде к площадке на вершине и там к невидимому снизу алтарю тянулась живая цепь. Звено — трое: два чаланца и между ними обреченный тескуанец. Высокие ступени достигали половины бедра, но все легко преодолевали подъем. Не выпуская связанных рук пленника, чаланцы разом вспрыгивали на ступень, поворачивались и вздергивали жертву. Движенья подчинялись своему ритму, цепь не рвалась, каждая ступень была занята. Иногда по какому-то знаку сверху цепь ненадолго останавливалась. Затем вновь и вновь люди, как в танце, возносились со ступени на ступень.

Не один из пленников не сопротивлялся. Многие облегчали усилия помощников храма, прыгая сами.

Везде жизнь была одинакова, везде ее не ценили. Соплеменники Квинатцины, попадая в плен, с такой же готовностью шли к алтарям победителей.

Быть принесенным в жертву? Эта участь не страшила. Души жертв вступали в особенную обитель неба. Их загробное бытие несравненно превосходило долю тех, кто

умирал от болезни, от укуса змеи, от когтей зверя или от редко достижимой старости. Бог был един для всех и любил тех, чьи сердца кормили его изображения.

Познание смысла жизни начиналось в бесконечном удалении веков и поколений и длилось не изменяясь. Оно подтверждалось и укреплялось неизменностью скудного труда, голодом и голодной тоской по мясу. Его утверждал ужас перед зыбкостью бытия, выраженный не словами, а более сильно — образами божеств и настойчивой жесткостью культа.

Так понимал и так воспринимал жизнь и Квинатцин. Все, все было ясно, все было известно. Не было ни одной загадки, ни одного сомнения. Квинатцин знал, что нужно выразить, зачем и для чего. Как выразить, какими совершенствами формы? Какие новые черты обязан найти воплотитель? Мечтой о совершенстве формы и опьянялся Квинатцин. В совершенстве формы и есть правда, а правда — это красота. Квинатцин создавал красоту, вдохновляясь творчеством, преклоняясь перед делом своего познания и тайной рук.

Заглушаемое священным барабаном таинство совершалось как бы бесшумно. Темная кровь жертв, переполнив пробитые для нее стоки, растекалась, копилась на верхних ступенях и, преобразованная лучами Солнца, посветлев, стекала ниже.

Медленно, медленно Квинатцин перебрался на западную сторону. Сюда сбрасывали тела жертв, здесь их подбирали, укладывали. Служение богам началось недавно, но ряды тел были уже длинными. Квинатцин вспоминал, сколько пленников привели из Чалана. Дважды двадцать по двадцать. Будут сыты и боги, и чтущие их люди.

Квинатцин издали смотрел на трупы. Тело живого человека слишком гладко, слишком убого, закруглено. Оно — скучно. Ничто не подчеркнуто, взгляд наполненных мягким веществом орбит невыразителен, бессмыслен.

Рядом была еще пирамида, малая — из черепов жертв. Сколько их? Без счета. Двадцать раз по двадцать, повторенное очень много раз по двадцать. Не только снаружи, вся пирамида сложена из черепов. После трапезы вываренные, пустые, вылизанные черепа возвращались сюда. И здесь они, освобожденные от плоти, оживали. В глубинах орбит возникали тени взоров, полные значения. Квинатцин изготавливал маски в виде черепов и разукрашивал настоящие черепа. Красотой его работы восхищались самые грубые умы.

Квинатцин глядел, отдаваясь тайне созерцания. Он ощущал в себе глубину, особенную, прозрачную, в ней копились образы. Он был в мире красоты, владел ею, и она владела им.

С усилием вырвав себя, Квинатцин вплотную подошел к телам жертв. Казалось, он был уже полон. Нет, нашлись новые глубины, новая жадность восприятия. Перед ним были тела, освобожденные от сердец, грубо и мощно разорванные от низа живота до ребер. Выпученные внутренности, разинутые рты, глаза, готовые вырваться из орбит, скорченные члены. Это не было безличным скопищем живых. Торжествовала красота смерти, победившая пустыню жизни.

Квинатцин искал, запоминал. Прикасаясь к телам, хватая их, он сам ощущал чьи-то прикосновения, его знобило, и волосы шевелились на голове. Освещенное солнцем выглядело уже другим, когда падала тень. Тайна прекрасного была в чередовании света и тени, в их сочетании, таком же глубоком, как тайна, соединяющая двух, дабы породить третьего.

Наступало насыщение, глаза и мысль полны. Довольно и — пора! Квинатцина звала глина, обреченная послушно принять первый отблеск мечты. Он ломился через толпу, грубо отбрасывая окровавленными руками неловких, не успевавших уступить дорогу. Он не видел этих ничтожных, случайно живых. Он не слышал, как они выли, раздирая себе уши и лица, пронзая длинными шипами языки, чтобы своей мукой и своей кровью еще более скрепить союз с богами, ибо лишь боги могут дать человеку хоть крупицу безопасности в этом бушующем бедствиями мире.

Квинатцин не нуждался в самоистязаниях, чтобы добиться полета души. Он творец, вознесенный над всеми создатель красоты. Повинуясь желанию, сильнейшему, чем голод, страх перед смертью или продолжение рода, Квинатцин спешил к своим резцам и лопаточкам, к своему великому делу.

Истощенный великолепием праздника, пресыщенный зрелищем, в котором все были участниками, наладившись жертвенным мясом, Чалан успокоился еще до сумерек.

Разбредясь по клетушкам, комнатам и комнаткам громадных общих домов, чаланцы засыпали в прохладе каменных клеток. С наступлением темноты они наполовину

очнутся, чтобы выбраться во дворики, на плоские крыши. где легче дышится, где лучше спится.

Город был беззащитен. Беззащитным он будет и утром следующего дня, как в утро каждого дня. Чалан беспомощен против внезапного нападения, так же как был и остался ограбленный, поработанный Теско. Как все другие города и жилища, как все поселения племен, где безгранично властвуют страшные боги.

Все боялись, и никто не боялся. Все свыклись со страхом, так свыклись, что никто не умел заставить себя и принудить других хотя бы на ночь выставлять стражу. Каждый уходил в блаженство сна, как в глубочайшую и безопасную обитель.

Во сне прекращалось одиночество, на которое был осужден каждый и всегда. Слов для выражения внутренней жизни личности не существовало. Ощущенья, мысли — движенья души были скованы невозможностью общения с другими и, естественно, превращались в тяжкую обузу, которая мешала жить, которая заставляла не любить жизнь. В полусне, в образах, то явственных, то смутных, Уэмак всегда переживал одно и то же: свое отчуждение и свою тоску.

Его считали чудом. Его светлые волосы слегка вились. Кожа его была светлой в местах, где одежда закрывала от солнца. Ростом он был выше других мужчин племени, а лицо его было таким, будто бы древнее изваяние из серого камня было снято с него.

Им гордились. Совсем молодым он был избран Вождем Мужчин, и лишь смерть могла лишить его высшего звания. Его предки возвышали свое прошлое над настоящим, как все, кто пришел на чужбину. Им поклонялись, как высшим, их будто бы слушались. Но их сила осталась на бесконечно удаленном востоке.

Уэмак сознавал себя чужим среди своего племени — он ощущал в себе душу предка. И не одного — такова была его тайна. Он чувствовал себя множеством, в нем жило, как он считал, много душ. Поэтому, когда он рассказывал другим переданное ему по наследству, он вновь и вновь переживал бывшее с ним самим.

Для племени Уэмака это прошлое мнилось настоящим — тем, что сейчас происходит в обители богов. Красные люди знали собственное прошлое и собственный мир, не отделенный от них непреодолимым Океаном.

Во многих десятках дней пути к северу от Чалана, в лесах и на краю лесов, в стране больших озер, жили люди

охотой и рыболовством. Они строили себе деревянные дома со многими комнатами, с общими очагами. Комнаты занимали женщины с детьми, а мужчина жил с женщиной, если она этого хотела. Все принадлежало всем, но дети были с женщинами, так как женщины рождали их, а не мужчины. Дети не знали своих отцов, считаясь родством по братьям и сестрам матерей. Род нападал на род, и пленников мучили до смерти во славу Бога войны.

Южнее лесов и ближе к Чалану, в степях и в между-речьях больших рек, жили охотники на тонконогих широколобых быков. Одни из них знали своих отцов, как чаланцы, другие — лишь матерей, как люди лесов. Но и здесь одни, нападая на других, служили Богу войны. Только сила управляет миром, и только силу чтут боги, которые пребывают всегда на стороне сильнейшего.

Очнувшись, Уэмак продолжал грезить наяву. По кругу, по кругу, как животное в клетке. Выхода нет.

Все повторяется, все. Так же творится под землей не нужная никому пламенная тайна. Так же о ней свидетельствуют багровые отсветы на дыме, который ползет над горами. Вот и подземный толчок, едва ощутимый. Уэмак не почувствовал бы ничего, если бы спал, как Оэлло.

Позднее время, глубокая ночь. Чуть ущербная луна встала вровень с ложем. Голова Оэлло лежала на руке Уэмака. Он, ожидая прихода сна, смотрел и смотрел на луну. Вот на ее диске явилась толстая черта. Что это? Знак? Уэмак вглядывался, запоминал форму и место. Что предвещает луна? Уэмак обсудит знамение с мудрым Человеком Темного Дома. Невольно Уэмак затаил дыханье.

Нечто переместилось, и Уэмак понял, что на луне нет ничего. Это было здесь, рядом, близко. Голова змеи поднималась на фоне луны над Оэлло.

Змея казалась черной, но Уэмак узнал ее. Пестрый гондо, злобный, ужасающий не одним ядом, но и яростью беспричинного нападения. Среди храмовых змей, перебитых в Теско, были и гондо. Этот явился мстить.

Уэмак неподвижно следил за змеей, а змея следила за ним. Ничего не шевелилось — ни змея, ни луна. И Уэмаку опять мнился знак на луне, и опять он видел змею.

Он закрыл глаза и тут же открыл их. Голова змеи поднялась: гондо воспользовался кратким мигом освобождения от гнета человеческого взгляда.

Так они боролись, вечно боролись под светом остановившейся луны. Для Уэмака не стало времени. А для гон-

до, воплощения извечно задабриваемого и неумолимого зла, никогда не было времени.

Добро — это победа, много чужих сердец, сожженных перед твоими богами, много мяса жертв в котлах, много дани с побежденных. Зло — это твое поражение, твоё сердце на жертвеннике в чужом храме, твое мясо, съеденное врагом. Сила же божественна, и ей все равно, кто победит.

Гондо медлил. Остановленный взглядом Уэмака, он то приподнимался, замирая в напряжении, то опять ослабляя тело, готовое, казалось, для удара.

Вдруг время ожило. Луна поднялась, голова гондо посерела, а глаза заблестели. Оэлло вздохнула во сне, и встревоженный гондо начал вырастать, раздуваясь.

Уэмак ждал неизбежного. Сейчас Оэлло повернется на бок, и ее рука коснется Уэмака.

Уэмак напряг мускулы. И, вместо того чтобы отскочить в миг, когда Оэлло вынудит гондо убить ее, Уэмак размахнулся, ловя гондо за шею.

Он не мог бежать, бросив женщину. Не потому, что он любил ее. Он позволял ей любить себя, не больше. Он починался зову предков, потомки которых всегда защищали даже безнадежное дело из чувства чести свободных людей.

Изогнувшись над клещами пальцев, дробивших его позвонки, гондо укусил в запястье Уэмака, пронзив зубами вену. А потом в предсмертной ярости впился в шею Оэлло, судорожно изливая остатки яда.

Когда все свершилось, двое людей, неслышно скользя босыми ступнями, приблизились, чтобы убедиться.

Убедившись, они ушли: Человек Темного Дома и Тезоатл.

Уэмак был не стар, он мог прожить еще долго. Он мешал. Он был слишком мягок. Он препятствовал войнам. И — он был чужим. Богам и потомкам богов не место на земле.

Будут избирать нового Вождя Мужчин. Им станет Человек Темного Дома. Тогда Тезоатл получит награду за ловкость, с которой он поймал гондо и сумел выпустить его в нужном месте и в нужное время.

Море Мрака ощипало палубу, скосило мачты, но корпус корабля оставался на плаву, так как балластный песок вытек из дыр днища, изъеденного хищными червями, каких нет в северных водах. Теченья тащили глубоко осевшие останки судна вдоль немобезлюдных берегов Атлантиды, и чудовищно размножившиеся черви спешили

насытиться, но не насыщались, и гнусная грязь, неутомимо извергаемая их отвратительными телами, плыла темным облаком в чистой воде, и стаи рыб сновали, как в приваде, и одни пожирали других.

И день, и час стали безразличны Гоаннеку, освобожденному от голода, от жажды, и тело не обременяло его, и дверь в иное открылась. Исполняя обещанье, он рассказывал Гите — не нужно бояться, нет страха, нет. Суэта — земля, суэта — океаны, Атлантида. Наши знанья величия ложны. Истинна вечная жизнь без времени, небесная жизнь — любовь без печали, без вожелений, тайна без тайны.

Он хотел уйти туда, и шел, и шел, и на последнем шагу его задержал звук непонятных слов. Он оглянулся, увидел темнокожего атланта-колосса с маской ужаса на остроносом лице, сказал: «Не надо бояться» — и ушел.

Наблюдавшие за сбором дани, платимой Чалану покосными племенами берега Соленой Воды, прислали нарисованное на ткани донесение об особенной находке. Были изображены несколько непонятных, ненужных вещей и три мертвых тела людей неизвестного племени. Лицо одного из них напоминало новому Вождю Мужчин, бывшему Человеку Темного Дома, черты его предшественника Уэмака. Богам и Чалану нужны живые. Кусок рисованной ткани был выброшен с безразличием.

Новый Вождь Мужчин не рассказывал преданье. Этим занялись другие, кто помнил слова Уэмака. Преданье рассыпалось, возникли противоречия, рассказы сокращались, ибо трудно говорить и скучно слушать о непонятном. Вскоре осталось немного, но главное — ожидание белых богов, которые придут с востока.

Литературно-художественное издание

ИВАНОВ Валентин Дмитриевич

РУСЬ ВЕЛИКАЯ

Роман

Книга I

Редактор С. В. Долгов
Художник А. В. Соловьев
Техн. редактор Т. И. Лескина
Корректор Л. В. Поводырева

Сдано в набор 17.06.93. Подписано в печать 21.07.93.
Формат 84x108/32. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 16,9.
Тираж 75000. Заказ 1534.

Издательство «Вектор Бук Лимитед».
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81.
Акционерное общество «Слово Тюмени».
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81.

Серия „ГЛАВА РОССИИ,,

1. В. Иванов. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
(в 2-х томах)
2. В. Иванов. РУСЬ ВЕЛИКАЯ
(в 2-х т.)
3. А. Югов. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
4. С. Бородин. ДМИТРИЙ ДОН-
СКОЙ
5. В. Костылев. ИВАН ГРОЗНЫЙ
(в 3-х т.)
6. Артем Веселый. ГУЛЯЙ, ВОЛГА
Н. Загоскин. ЮРИЙ МИЛОСЛАВ-
СКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612
ГОДУ
7. А. Чапыгин. РАЗИН СТЕПАН
(в 2-х т.)
8. А. Толстой. ПЕТР I (в 2-х т.)
9. А. Лажечников. ЛЕДЯНОЙ ДОМ
10. Г. Данилевский. ПОТЕМКИН НА
ДУНАЕ
Е. Салиас. МИЛЛИОН
11. Д. Мордовцев. ДВЕНАДЦАТЫЙ
ГОД
12. С. Сергеев-Ценский. СЕВАСТО-
ПОЛЬСКАЯ СТРАДА (в 4-х т.)
13. А. Степанов. ПОРТ-АРТУР
(в 3-х т.)
14. К. Седых. ДАУРИЯ (в 2-х т.)

